ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

Василий Аксенов
ВОЛЬТЕРЬЯНЦЫ
и ВОЛЬТЕРЬЯНКИ

Андрей Геласимов
ЗИГАНШИН-БУГИ

Борис Хазанов
ДОЛОЙ ИСТОРИЮ,
или О ТОМ, О СЕМ

письма
Ариадны Эфрон

2 2004

2 2004
ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2 2004

В НОМЕРЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Василий АКСЕНОВ.
Вольтерьянцы и вольтерьянки. *Старинный роман* 3

Галерея

Облискурация Аксенова. Беседа Ирины БАРМЕТОВОЙ с Василием АКСЕНОВЫМ **124**

Владимир САЛИМОН.
Настоящим жить приходится. *Стихи* **135**

Андрей ГЕЛАСИМОВ.
Зиганшин-буги. *Рассказ* **139**

Дмитрий ВЕДЕНЯПИН.
Озарение Саид-Бабы. *Стихотворение* **152**

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Борис ХАЗАНОВ.
Долой историю, или О том, о сем **154**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей СОЛОУХ.
Коллеги **164**

Русское поле

Рубрику ведет Павел БАСИНСКИЙ **173**

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

«...быть дочерью трудной матери». *Письма Ариадны Эфрон Маргарите Алигер. Вступление, публикация и комментарии Натальи Громовой* **177**

Главный редактор
Ирина БАРМЕТОВА

Редколлегия:

Алексей АНДРЕЕВ — *зам. гл. редактора*
Инесса НАЗАРОВА — *отв. секретарь*
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ — *зав. отделом критики*
Афанасий МАМЕДОВ — *исполнительный директор*

Павел БЕЛИЦКИЙ — *отдел прозы*
Инга КУЗНЕЦОВА — *отдел прозы*

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Сергей Юрский.

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации выкупает для библиотек России 420 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125040, Москва, А–40, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214–62–05, заместитель гл. редактора – 214–63–64, ответственный секретарь – 214–34–44, отдел прозы – 214–51–68, отдел поэзии – 214–62–05, отдел критики – 214–71–34, отдел публицистики – 214–60–24, приемная редакции – 214–31–23.

© «Октябрь», 2004. Электронная версия журнала http://magazines.russ.ru.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель – трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Компьютерная верстка – Лидия Синицына.

Подписано к печати 23.01.04. Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Учетно-изд. л. 21,6.
Тираж 4000 экз. Заказ № 217. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»,
105005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46

Василий АКСЕНОВ

Вольтерьянцы и вольтерьянки

СТАРИННЫЙ РОМАН

Глава седьмая,

неожиданно открывающая нам некоторые секреты Прусского государства, а также пристрастие короля Фридриха Великого к тщательному разжевыванию марципанов

Естьли уж при слове «Пруссия» немедля всплывает слово «орднунг», то при слове «орднунг» тут же выскакивает крепость Шюрстин, что высится на бранденбургских холмах в полусотне верст от Берлина; вот уж орднунг так орднунг, даже пролетающий гусь не сбросит пары капель, тут же будет подстрелен. Ну а уж ежели заговорили мы о крепости Шюрстин, должно будет заметить, что ея восточное крыло, находящееся под властью самой секретной личности государства, фельдмаршала фон Курасса, зиждется над всей крепостью как юберорднунг, то есть сверхпорядок.

Взять, к примеру, крупнейшую в цивилизованном мире картотеку важнейших секретов и досье государственных преступников; не всякая мышь обежит ее за год! Все двадцать этажей специально построенного каземата – десять вверх над землею, десять вниз под землю – заполнены тут стеллажами с ячейками, расположенными в строжайшем алфавитно-арифметическом порядке. Сложнейшая система рычажков и блоков соединяет каждую ячейку с гигантскими дубовыми стенами кабинета фельдмаршала. Едва лишь хозяин кабинета начинает тянуть на себя нужный рычажок, как в затребованной ячейке звонит колокольчик, что способствует скорейшей доставке заказанных бумаг на письменный стол прусского властителя дум (в прямом смысле).

Сему процессу способствует и уникальная подъемная машина, движущаяся в сердцевине каземата. Клеть сей машины способна курсировать по всем этажам, как над землею, так и под оной, и останавливаться на любом по заказу. На плоской крыше каземата главное поднимающее колесо машины вращают четыре отборных мерина ломовецкой породы. В подземелье четыре таких же мерина вращают колесо, удерживающее клеть от падения при спуске.

Верхнюю команду возглавляет мускулистый до гротескных размеров битюг по имени Ослябя Смарк. Он очень доволен своей участью. Крутить поднимающее колесо под лучезарной попоной прусского неба! Получать артиллерийскую смесь овса с горохом! Посылать цум тойфель смутные блики в тыльной половине головы, напоминающие о кобылах детства! Наслаждаться с крыши видами родины при равномерном повторении кругов: марширующие батальоны, выдвигающиеся на стрельбы

О к о н ч а н и е. Начало см. «Октябрь» № 1 с.г.

пушки, все трудовики наших нив, занятые выращиванием овса и гороха! Радоваться каждую минуту, что взяли из подвала, где мерины не видят ничего, кроме каменных стен, и постепенно слепнут! Нет, Смарк, безусловно, был счастлив и знал, что чувства его разделяют все три пристяжных, Марк, Арк и Рк.

В тот день, о коем пойдет речь, колесо пребывало в почти непрерывном движении. По всем этажам дребезжали колокольцы, слышались топоты проворных ног (за непроворность тут секретных канцеляристов, случалось, наказывали фухтелями по пяткам), скрипела, вздымаясь, и с тяжким стоном ухала вниз чугунная клеть, предназначенная для группенадъюнктов, а то и для чинов повыше. Все говорило о том, что в кабинете Отца (так тут за глаза называли фельдмаршала) идет серьезная работа с папирами, и лошадиные сердца преисполнялись чувством высокого долга, что выражалось в титаническом усилении перистальтики и в громовых выпусках гороховых газов.

Йохан фон Курасс тем временем сидел за своим столом, дубовой отделкой напоминающим похоронные дроги первого разряда, размерами же – ладью Нибелунгов. Три адъюнкта из лучших юнкерских семейств, выполняя все детали служебного протокола, а именно маршировку от дверей в середину огромного помещения, щелканье каблуками и мгновенную окаменелость с полной демонстрацией поднятого в сторону начальства лица, вносили и располагали вдоль западного края стола затребованные папки: действующие государственные договоры, недействующие государственные договоры, а также договоры, подлежащие расторжению в связи с невыплатой талеров за поставку батальонов всякой мелкой псевдонезависимой сволочи, которую давно надо было бы подчинить, к вящему удовольствию их населения, путем прямого действия непобедимой прусской армии.

Прошедшей ночью фельдмаршал добыл в Берлине «летучку», дававшую знать, что сегодня возможен внезапный приезд того, кому был только что адресован немой упрек, а именно Его Величества короля Фридриха Второго, столь неаккуратно прозванного досужим Вольтером Фридрихом Великим. Явившись в крепость, король должен был увидеть папки важнейших дел и сразу понять, что его ждали. Таким образом будет достигнуто несколько целей: а) король будет впечатлен четкой работой секретного ведомства, в) отметит, как скрупулезно классифицированы важнейшие секреты, и наконец самое главное, с) поймет, что и у него самого не может быть от сего ведомства секретов и что не нужно устраивать подобных стремительных наездов; никакой расхлябанности он здесь не застанет.

Довольный всеми этими своими перезвонами и скрипами по всему объему каземата фон Курасс временами поднимался из-за стола и побрякивал подкованными подошвами по каменным плитам. Один его вид вызвал бы озноб у непосвященного человека, тем больший озноб он вызывал у человека посвященного и подчиненного. Он был очень велик, мосласт и беспредельно сух лицом, что придавало ему сходство с бесстрастным скелетом из Академии Наук. Руки его свисали ниже колен, ежели не были взяты в любимую позу «акимбо», то есть если не лежали в страшной готовности на дугах подвздошных костей. Ноги его в излюбленных черных ботфортах, кои фельдмаршал ненавидел менять на туфли с пряжками, а посему никогда не посещал суарэ в потсдамском дворце Сан-Суси, могущественно, словно два чугунных ствола крепостной артиллерии, поддерживали весь костяк, а посему еще раз представьте себе длину рук.

Армия помнила еще те дни, когда эти руки, еще более удлиненные тяжелой фузеей, становились главной пробивной силой в багинетном бою. Ветераны еще не забыли, что юнкер фон Курасс был взят отцом Фридриха Второго королем-созидателем Фридрихом-Вильямом Первым (вот уж

кто натюрлих был достоин звания «Великий»!) в первую роту знаменитых прусских гигантов. Так бы этому юбервояке и оставаться в строю, если бы он однажды, в начале сороковых, не поразил молодого короля своим даром проникать в сердцевину секретов.

Случилось это в самом начале европейской безобразной неразберихи, ныне уже зачисленной в исторические анналы (отнюдь не «анналы Клио») под названием «война за австрийское наследство». Однажды батальон, где командиром был тогдашний майор фон Курасс, получил приказ срочно прибыть в Потсдам и построиться там на плацу.

Весь день маршировали из Берлина, да так, что под мерными взмахами тысячи ног крошились торцы дорог и площадей, прогибались мосты, лопались зазевавшиеся гуси и всяческий швайн, отпадало в канавы и нерасторопное мужичье.

Молодое Его Величество соизволило выйти к подразделению уже под вечер. Был четверг или в крайнем случае среда. Ветер норд-ост колыхал горделивые стяги. Пахло картофельным супом. Клюквенный закат предвещал грандиозный поход на зюйд. Комбат с палашом на плече прошагал к королю. Строй грянул «зиг хайль!»

Король молчал. Он хлопал себя перчатками по сгибу руки. Глаза его были устремлены поверх киверов и штыков в пространства Южной Европы. Так простояли в молчанье адское время. И вдруг он вздохнул: «Если бы знать сейчас, о чем говорят вокруг Марии Терезии!» И тут армейский майор как бы по наитию попросил у короля пять дней для деликатной, как он изрек, разведки; есть, дескать, некие частные связи при венском дворе. Взяв офицера за темляк, король прошествовал во дворец, а батальон отправил в кантину, шницелей всем приказав подать со своего стола.

Через запрошенный и дарованный срок фон Курасс явился с докладом о всех визитерах императрицы, о всех совещаниях и тайных раскройках карты Европы. Теперь уже Фридрих доподлинно знал, куда направить удар, что он и сделал при Чотузице, обескуражив австрийского полководца принца Карла Александра Лотарингского.

Не все подробности этого дела нам известны (как неизвестны они, боюсь, никому), однако дошли слухи, что перед битвой сей венский двор был в сущей облискурации (если и тут употребить словечко генерала Афсиомского). Все эти дни по дворцу расползались всяческие шептуны и скрыпы, мелкие какие-то пламеньки начинали свой перепляс то среди люстр в торжественных залах и в сугубых по секретности кабинетах, а то и в интимнейших альковах промеж фарфоровых горшков, если не внутри оных. Однажды Ея Величество императрица Мария Терезия даже воскликнула вполне женским голосом «Ой!». Сей возглас исторгнут был мгновенным отпечатком на гобелене среди буколических персонажей некоего скелетоподобного посланца мрака, не иначе как магистра черной магии по имени Сорокапуст.

Проникнув таким своеобразным способом в сердцевину австрийской стратегии, майор фон Курасс и сам стал величайшим секретом прусского королевства, то есть частично как бы прекратил существование. Мало кто знал, что пропавший майор немедленно получил чин генерала, а потом и фельдмаршала и стал главой таинственного ведомства, сосредоточенного за тремя линиями защиты в крепости Шюрстин; не знал даже ближайший друг короля Вольтер. Лишь однажды Фридрих чуть было не проговорился, сказав своему кумиру, что перед принятием важных решений он всегда советуется со «своим чудовищем». Вольтер с его острейшим складом ума тут же осведомился, правильно ли он понял августейшего друга. Говоря «чудовище», Ваше Величество, имеете ли вы в виду некое alter ego, то есть нечто глубоко запрятанное в вашей собственной душе? Нечто в этом роде, усмёхнулся король, и тема сия больше не поднималась.

Фридрих, друг Вольтера и сам «один из нас», то есть философ-энциклопедист, вступал тогда в пору зрелости и быстро освобождался от своего гамлетианства и анти-макиавеллизма. Ради блага в с е х граждан мы должны крепить наше государство, говорил он «своему чудовищу»; не так ли, мой фон Курасс? Всецело разделяю взгляды Вашего Величества, ответствовал гигант, поигрывая своими четками в виде крошечных черепов.

Известно ли тебе, мой фон Курасс, с кем в Париже встречается великий Вольтер перед поездками ко мне в Берлин? Ваше Величество, великий Вольтер перед каждой поездкой в Берлин получает ориентиры от кардинала Флёри. Король хохотал. Я так и знал! Таков наш век: поэту трудно удержаться от соблазнов шпионажа.

С годами Фридрих Второй Великий стал замечать, что и в его собственных покоях поселилась какая-то нечисть. То шмыгнет по ковру странная мышь со слегка увеличенным ухом, то вдруг ночью в буфетной произойдет какой-то как бы осмысленный перезвон хрусталя, заглянешь туда, а оттуда смотрит на тебя сотня заинтересованных глазков, то вдруг дверь в будуар откроет не привычный слуга, а некто совсем не привычный, коего не опишешь никак, скажешь лишь, что глянул тебе прямо в плешь и пропал без единого звука.

Подобные промельки, следует сказать, учащались в те редкие вечера, когда король позволял себе полностью расслабиться и приглашал после ужина в кабинет кого-нибудь из своих красивых адъютантов для дуэта на флейтах. Будучи философом века науки, он не верил в чертовщину и относил «промельки» за счет некоторой усталости органов зрения, связанной с чрезмерным чтением государственных бумаг. Заказал себе в Саксонии дюжину драгоценных очков и по вечерам иногда украшал переносицу великолепнейшей стрекозою, что вызывало сущий восторг у принцесс Двора: Ваше Величество, вы неотразимы!

Помогло: промельки почти прекратились, непривычный слуга больше не открывал дверь кабинета, только изредка висел за окном глазищами вниз. Зная за собой привычку проговаривать крупную мысль вслух, король стал в такие моменты совать себе в рот яичко из марципана. Мысль проговаривалась, но искажалась жеванием. Словом и в замке Сан-Суси за годы правления немало пробурлило забот, как пустяковых, так и весьма удручающих, если вспомнить те времена, когда любезный друг Вольтер там подвизался в звании Шамберлена Двора.

В тот день, о котором сейчас идет рассказ, король приближался к крепости Шюрстин, скача во главе своего конвоя. Его карета катила сзади на тот случай, если понадобится записать несколько пришедших в голову поэтических строк. Путь был не так уж далек, а король был еще достаточно бодр для седла, несмотря на скопившиеся в седалище пятьдесят два года жизни.

Солнце стояло уже в зените, когда открылась обширная долина, западные склоны коей венчались холмами, на чьих склонах построила свои бастионы крепость Шюрстин. Флаги Святой Римской Империи Германской Нации, королевства Пруссии и местного пфальца реяли над нею, а над крышею секретного каземата помахивал рыжий хвостище знакомого королю битюга, ведавшего здесь подъемной клетью, кою король называл на французский манер «асансёром».

В тот же момент и Ослябя Смарк заметил сверху караван короля, то есть человека, которого он не знал по имени, но от появления которого всякий раз взбухали мускулы: хотелось что-нибудь еще взять на грудь ради персоны, пред коей вытягивалось могущественное племя двуногих и бесхвостых. Вот если бы этот великий когда-нибудь запряг меня в фургон и отправился в поле! Так и тянул бы его за собой бесконечное время!

«Я вижу, мой фон Курасс, вы уже во всеоружии», сказал король при виде разложенных на столе папок с наиважнейшими делами. «Вас, мой дорогой, врасплох не застанешь». Он усмехнулся и, сделав усилие, посмотрел прямо в мертвоватые глаза фельдмаршала. Фон Курасс с леденящей серьезностью выдержал этот взгляд. «Это чистая случайность, Ваше Величество. Мы просто проводим ревизию важнейших документов. Какой из них в данный момент интересует Ваше Величество?»

Завтрак по традиции был сервирован на другом конце государственного стола. Король никогда от трапезы в этом доме не отказывался. Здесь почему-то подавали удивительно вкусные заливные поросячьи ножки поэльзасски. Да и вино было вполне порядочное, «Божоле».

«Ценю вашу расторопность, фельдмаршал. Передайте мою благодарность группен-адъюнктам и каждому по десять марок от меня лично. Однако вовсе не ради документов я приехал сюда сейчас. Вы догадываетесь, ради чего?»

Еще раз над стаканом вина король пробуравил взглядом иссохшие черты своего Торквемады. Дошла ли до того вчерашняя мысль, зажеванная двумя марципанами? Фельдмаршал склонил главу с выпирающими буграми преступных качеств и даже ладонь приложил ко лбу, скрывая глаза. «По всей вероятности, Ваше Величество прибыли ради новостей с исконного нашего острова Оттец, где ныне под эгидой цвейганштальтского курфюрста проходит страннейшая встреча Вольтера с посланником русской царицы».

Король не скрыл улыбки: марципаны все-таки сработали, хоть и частично. В этих пределах можно позволить «чудовищу» читать королевские мысли. «Послушайте, Йохан, давайте всерьез. Я догадываюсь, что вы не совсем тот, кем вы числитесь в штатных реестрах...»

Фельдмаршал рывком приложил ко лбу верхнюю часть безупречной салфетки, глухо промолвил, не разжимая уста, будто желудком: «Ваше Величество, разве давал я когда-либо вам какие-либо основания, чтобы...»

Король отмахнулся веселым жестом. «Нет, не давал! Сомнений в вашей преданности государству и мне как первому слуге сего государства – нет! А посему давайте говорить о простых вещах, а именно о политике. Я догадываюсь, для чего моя племянница послала к Вольтеру своего нового фаворита. Честолюбивая дама хочет прогреметь на всю Европу в качестве величайшего либерала. Она готовит отмену крепостного права и жаждет получить на это благословение своего кумира. Учредила даже премию в тысячу червонцев за лучшее сочинение об отмене рабства. Экая наивность! Она думает, что судьба российских рабов заботит нашего поэта хоть на минуту больше, чем комиссионные от гильдии швейцарских часовщиков или вознаграждение от изобретателей каких-то несусветных боевых колесниц, которые он старается всучить екатерининским генералам. Разумеется, он благословит ея великий манифест, лишь бы вслед за этим приплыл великий вексель в «Банк Амстердама!»

Оставив недокушенными заливные ножки, король уже разгуливал нервной походкой по пространствам кабинета. Последнюю фразу он едва ли не прокричал из-под свисающей со стены башки чудовищного вепря в дальнем углу. Теперь стоял там, заложив большой палец за обшлаг армейского сюртука без знаков отличия, и ждал, что скажет фон Курасс.

«Прошу прощенья, Ваше Величество», проговорил тот, «однако подлежит ли сей филозоф столь суровой дер критик? Ведь наряду с некоторой алчностью, не ускользнувшей от внимания Вашего Величества, господин де Вольтер иной раз изумляет общество нежданными щедротами».

«Ценю вашу галантность», рассмеялся король; он-то знал, что нет у фельдмаршала более ненавистного человека, чем этот «новый Гомер», «однако вернемся к политическим аспектам дела. Что последует за отменой крепостного права в России? Есть несколько вариантов. Тамошние латифундисты, все эти бояре, сторонники до-петровской старины, устраива-

ют дворцовый переворот, убирают царицу-немку и, допустим, возвращают на престол законного императора Ивана Шестого. Как сообщают наши агенты, Иван после двадцатитрехлетнего содержания в тюрьме пребывает в состоянии слабоумного ребенка, и, стало быть, власть окажется на долгие годы в руках жестокой клики бояр, настроенной враждебно ко всем европейским новшествам, а самое главное, ко всем соседям России, включая Пруссию, в которой они будут видеть реального, то есть главного врага. Будет создана огромная армия как бы для обороны, а на самом деле для разрушения Польши, Швеции, а также ряда северо-германских государств, включая...»

Королю не удалось завершить фразы. Фельдмаршал не в силах был услышать сей гипотезы: слишком сильно он любил родную страну. В ярости он ударил обоими убойными кулаками в стену, да так, что дрогнули все развешенные там охотничьи трофеи, включая даже бивни и хобот неизвестно какими судьбами забредшего в XVIII век косматого слона, сиречь мамонта.

«Вот тут-то им и придет конец!» взревел фон Курасс, теперь уже потрясая в воздухе своими, тоже в достаточной степени доисторическими конечностями. «Ни одна варварская армия не выдержит контрудара райхсвера!»

Король с улыбкой смотрел на него. Какой король останется равнодушен к столь убедительной демонстрации патриотизма! «Не преувеличивайте, Йохан», мягко сказал он. «Нельзя забывать, что Австрия никогда не упустит такого шанса, чтобы вернуть Силезию. Почти уверен, что в эту кашу влезет и чертова Оттоманская Порта. Как поведут себя Франция и Британия? У меня нет никаких иллюзий на этот счет. В наше время невозможно сколотить коалицию цивилизованных стран».

Задумавшись, король мерял шагами гигантскую квадратуру. Поднял с пола упавшую от удара сову и мягко пристроил ее на плечо вернувшегося в свое стуло фон Курасса. Тот повернул к усевшейся голову и в ужасе отшатнулся, как будто и сам не путешествовал в этих перьях над богемской границей. Король остановился, взяв себя пальцами за подбородок. Мышка, как столбик, стояла в дальнем углу, навострив окаянное ушко. Быстро король засунул за щеку сладкого друга, промямлил что-то зернистое не для шпионства. «Тшрт, то есть тойфель, мндыгагадал рдитсса в Прссии с ддушшимммунд талатантом», услышал фельдмаршал внутри своей головы. Король разжевал и глотнул.

«Возьмем теперь другой вариант», продолжил он уже чистым ртом свою презентацию. «Реформа удалась. Сорок миллионов русских крестьян получили свободу. Представляете, какая водопадная энергия высвободится, какие закрутит колеса под благодетельным оком просвещенной государыни? В краткие сроки будут развиты всяческие ремесла, пойдет полным ходом торговля, возникнет новое коммерческое сословие. Европа будет завалена русским зерном, рудой, высококачественной сталью, а потом и промышленными изделиями. Мы, европейцы, помогли им создать Академию наук, но после отмены крепостного права они превзойдут нас всех. Вот уж кто растопит северные моря: не Пикте и всякие прочие вольтеровские проходимцы, а сами русские. Там возникнет новый климат, мой фельдмаршал, вы это понимаете? Вы хотя бы слышали о ее «Наказе», экселенц?»

«Не только слышал, но и читал, Ваше Величество», сумрачно ответствовал фон Курасс.

«А почему же я еще не читал?» Король уперся руками в край стола и с неменьшей сумрачностью вперился взглядом в самую мутную суть хозяина замка. Так ему казалось, во всяком случае.

«Сей документ только что подготовлен для вашего величества». Рука фон Курасса описала дугу и взяла с противоположного края стола кожаный бювар с тисненой прусской короной. Спохватившись, он зиркнул

взглядом на короля: заметил ли тот, как удлиннилась рука? Нет, кажется, не заметил.

Король открыл бювар, бросил взгляд на первую страницу, хохотнул и положил документ на стол. «Пойдемте, подышим воздухом».

Фельдмаршал позволил себе оскорбиться. Фридрих явно читал этот «Наказ». Почто Государь играет со мной в кошки?.. Он запнулся в мыслях: ни слова о мышках! Почто он блефует со мною? Разве не доказал я своей преданности? Избыток прозорливости неизбежно навлекает хоть косвенные, но подозрения. Так он обиженно хитрил сам с собой.

Вдвоем они чеканили шаг по нижнему этажу каземата. Когда идешь в ногу, всегда сближаешься; косвенные подозренья улетучиваются. Полки с бесчисленными государственными делами обоих настроили на нужный деловой лад; ведь ныне, возможно, свершится большой исторический Дер Эрайлнис! В проходах адъюнкты и группен-адъюнкты вытягивались в струнку, демонстрировали лица, полные чувства долга.

«На крышу!» скомандовал король, и все восемнадцать персон вошли в подъемную клеть. Фон Курасс про себя улыбнулся: ни разу еще Государь не упустил шанса повидать своего любимца. Вот они, странности великих!

Пока с чудовищным скрипом ползли вверх, король демонстративно понюхивал табачок, посматривал на часы, похлопывал по задкам кое-кого из смазливых адъюнктов. Ему не нравилась сия машина. Всякий раз внутри оной казалось ему, что вот-вот рухнет вниз, в тартарары, то есть в царство Тартара. Нельзя, однако, было показать никакого сомненья в прогрессе.

И вот наконец прибываем не вниз, а наверх, в царство Борея. Ветер веет по крыше, щелкает флагами, колышет плюмажи стражи, вздымает хвосты и гривы четырех трудовых коней. Первый из них, любимец Его Величества, рыжий в белых яблоках ломовецкий великан приплясывает на копытах, коленом трогает бок короля, мягкой губищей принимает подарок, бомбочку марципана, косит антрацитовым глазом: дескать, не ради сласти так рад, а ради огромнейшей преданности вам, человече, не знаю как звать.

Король его треплет по холке, оглаживает мускулатуру. Ну что за зверь! Вот он, символ трудящейся Пруссии, же круа! Бросить бы все заботы, расстаться с великим саном, упаковать все книги, впрячь великана в фургон и медленно двигаться в никуда, тихо стихи сочиняя, тихо играя на флейте.

Чудовищный фон Курасс тут вмешался в идиллию с подобьем улыбки: «Ежели не секрет, Государь, отчего присовокупили вы к Смарку имя Ослябя?»

«Да просто так получилось», засмеялся король. «Чисто фонетическая игра. Ослябя Смарк – славное созвучие, не правда ль? Ведь я о нем пишу поэму. Вы знаете, откуда взялось сие имя, Йохан? Ослябей звали русского монаха-воина, что положил немало супостатов на Куликовом поле».

Интересно, кто из нас сумасшедший, подумал тут оборотень, однако с вежливостью вопросил: «Как совместить , Майастат, ваше расположение к монаху Ослябе с вашим вполне справедливым нерасположением к России?»

Король высокомерно посмотрел на фельдмаршала. При разнице в росте далеко не в его пользу все-таки получалось, что смотрел свысока. «Вам что-то не то нашептали ваши мышки. Я очень люблю Россию».

Фон Курасс отвернулся, чтобы скрыть пугающие изменения лица. Упоминание мышек можно понять как аллегорию, а можно и как прямое разоблачение.

«Ну хорошо, продолжим наш разговор», сказал король, покидая коня. Вдвоем они отошли к краю крыши, и все вокруг как-то преобразилось в гравюру Дюрера: два государственных человека, воители века, а в глуби-

не композиции огромные кони и мощная свита юнцов с разнообразьем оружья.

«Ну так вот», заговорил король, «недаром Версаль запретил перевод екатерининского «Наказа» во Франции. Она провозглашает свободу всех религий, то есть подрывает кое-как установившийся мир после вековой резни. Однако на этом сия либеральная дама явно не остановится. В угоду любимым энциклопедистам она и дальше начнет расширять свой свод реформ. Вплоть до отмены феодальных привилегий, включая крепостное право. В этом заключается наибольшая опасность для Европы и особенно для Пруссии. Вы понимаете меня, фон Курасс?»

Фельдмаршал стоял, опустив морщинистые длинные веки. Лишь щелки остались для глаз, но каким полыхали жаром! «Прошу вас, Ваше Величество, расширить этот ваш тезис», проскрипел он.

Тут и король вспыхнул. «Какой, к чертям, тезис! Я просто чувствую всей своей шкурой надвигающуюся опасность! Я сам пришел к власти, вдохновленный, опьяненный или, может быть, одурманенный всем этим вольтерьянством! Антимакиавеллизм! Государство, основанное на высшей морали! Только через несколько лет на троне я понял тщетность всех этих мечтаний. Уж вы-то, фон Курасс, знаете, на какой грязи замешана наша глина, как воздвигалась наша крепость, как мы удержали нашу армию и экономику. Король-филозоф не смог даже отменить наш германский вариант крепостного права».

Он прервал монолог, очевидно, ожидая реплики своего «чудовища», и она не замедлила последовать. «Государь, я много думал над этой проблемой и пришел к выводу, что нам нужно взять Польшу». Длань фельдмаршала медлительно описала дугу в восточном направлении, словно даруя Востоку долгожданное благо.

«Для чего?!» вскинулся король. «Чтобы шляхта наконец объединилась для столетней войны с нами? Зачем нам к своим, я имею в виду к германским, проблемам прибавлять еще и польские?»

«Взяв Польшу, мы распределим земли и крестьян между нашими юнкерами и тогда сможем отменить крепостные законы в собственно прусских землях», пояснил фон Курасс.

Король неожиданно улыбнулся. «Неплохая идея, мой фон Курасс, однако не очень-то годится для нынешней ситуации. Если ваша рука, фельдмаршал, имеет свойство удлиняться, это еще не значит, что она может заграбастать все, что ей заблагорассудится».

Значит, все-таки заметил, с досадой подумал монстр. Значит, придется расстаться. Жаль, жаль. Фон Курасс уже привык к этому человечку за все сии годы мнимой службы. К тому же он еще не знал, кем его заменить так, чтобы не потревожить родину-мать, включающую и исконное болото под Кёнигсбергом.

Король похлопал его по плечу и сделал вид, что не заметил, когда под перчаткой нежданно-негаданно оказался стальной наплечник. «Понимаете, если мы войдем в Польшу, она обернется за помощью к России, то есть к новой России, свободной от рабства, к России женского века, так сказать. Там к тому же ея амант на троне, сей петиметр Станислас Понятовский. Благодетельная сильная баба со скипетром – это, может быть, как раз то, о чем Россия мечтала веками, вам не кажется? Польша может оказаться пробным камнем для всей Европы. Там могут столкнуться две основных силы. Либеральная женская империя с неограниченными богатствами недр и наш железный пфальц, скованный дисциплиной, неограниченным послушанием, а также и тем, что в примитивной мифологии именуется нечистой силой; уж вы не обижайтесь, Йохан. При всей моей симпатии к той маленькой принцессе из Цербста, о которой даже болтают, что она моя дочь...»

«Нет, она не ваша дочь», без церемоний бросил через плечо фельдмаршал. Он теперь стоял, почти отвернувшись от короля, и смотрел во

внутренний двор крепости, где шли последние приготовления к церемонии: стража оцепляла помост, Крейчер примерял маску, Бруннер прокручивал точильный станок.

«Вам лучше знать», усмехнулся король. «Словом, при всей моей симпатии к Екатерине нам нужно приводить в действие наш адский план «Петр Третий». Даже если мы не вернем престол законному царю, в России должна запылать большая междуусобица, это сорвет все вольтеровские бредни. В лучшем случае империя развалится на несколько Россий. Мы будем контролировать ее западную часть с Ригой и Петербургом. До всего остального нам нет дела, пусть сами делят. Я приехал сюда, чтобы увидеть обоих кандидатов. Прикажите поднять сюда Эмиля».

Фон Курасс повернулся к королю и встал подбоченясь, то есть «акимбо». Губы его были плотно сжаты, но слова явственно доносились то ли из ноздрей, то ли из глаз. «Эмиля здесь нет уже неделю. Он загулял, так, кажется, говорят в этой вашей России. Собрал шайку дезертиров и пьяниц и бесчинствует на дорогах. Сначала напал на поезд Вольтера в Мекленбурге, но был отогнан российскими агентами. Третьего дня с какими-то пиратами пытался высадиться на острове Оттец и захватить замок Ди Доттер Унд Муттер, где, как вам известно, находится сейчас Вольтер, но опять потерпел фиаско. Не понимаю, что его тянет к этому господину, кумиру мыслящей Европы! Уж не собирается ли взять его в залог и потребовать с Петербурга миллионный выкуп?»

Потрясенный новостью король все-таки успел заметить и перемену тона. Чудовище перестало обращаться к нему как к государю. Он бросил взгляд на стоящую в отдалении толпу стражи и вдруг заметил, что кое-кто там смотрит на него с насмешливостью убийц. Скользнул пальцами по поле своего кафтана, чтобы почувствовать там безотказный бельгийский пистоль, к а р м а н н о е оружие, чудо нашего века, бьющее на сто пятьдесят шагов. Шагнул к фон Курассу.

«Вы что, с ума сошли, фельдмаршал? Что в вашем ведомстве происходит? Без моей санкции спустили с цепи Казака? Требую немедленных объяснений!» Он приблизился к страже, перчатками хлестнул по щеке одного из убийц. «Все убирайтесь с крыши!» Ослабя Смарк подтвердил приказ могущественным ржанием. Не получив указаний Отца, стража отступила спинами вперед. По опустевшей крыше прокатился и исчез странный енот неадекватных размеров. Монстр рассмеялся. «Эх, майастат, я всегда вас ценил как политического провидца, а сейчас вы близки к трагической ошибке. Вы не понимаете того, что происходит в Германии да и во всей Европе. Происходят события, которые идут не по вашим часам. Вам кажется, что проходят дни, а в этих событиях проходят месяцы и годы, если в них вообще тикают часики. Похоже на то, что мы проходим через усиленную фазу Сатурна, но вы этого, конечно, не понимаете. В замке Доттеринк-Моттеринк идут куртуазные дискуссии, а между тем в пространстве между временем и не-временем вспыхивают и накатываются одна на другую вольтеровские войны междуусобных свар».

«Вольтеровская война? Что за бред?» воскликнул король.

«Войны в плюрале», продолжал чревовещательствовать фон Курасс. «Первая вольтеровская война и вторая вольтеровская война, а сейчас на них катит и третья, быть может, самая страшная вольтеровская война!»

Король поистине взъярился. «Черт бы вас побрал, фон Курасс, и он вас, конечно, возьмет, если он уже вас не побрал, если вы не сами являетесь воплощеньем вашего болотного кошубского Мефисто! Вы вместе с вашем чертом, то есть сами с собой, и вместе с вашим братом по имени Сорокапуст – я знаю людей, которые были на защите его диссертации в Кёнигсберге и видели вас там! – вы, кажется, стараетесь втянуть меня в ваше болотистое безумие, да еще и шельмуете этим злополучным Вольтером, делая из него какого-то демонического демиурга, то ли творца, то ли разрушителя времени, а между тем он просто-напросто сочинитель, рас-

путник, интриган и плут! Уж кто-кто, а я-то знаю ему цену! Я был много лет под обаянием его несусветного таланта, я хотел вместе с ним сокрушить L'Infame, я предоставил ему защиту от всех этих французских церковных лицемеров, а чем он мне отплатил?! Устроил злодейскую аферу с еврейским банкиром, спекулировал этими чертовыми саксонскими сертификатами, а потом сам и хватал того за горло, велел арестовать, и все это в моем дворце, в безмятежном Сан-Суси! Он пишет о поисках Бога в природе, а сам устраивает пиратские издания моих стихов, провоцирует побоище компроматов, черт его дери! Сравнивает мои стихи с грязным бельем, которое он, видите ли, вынужден стирать, а потом на коленях просит у меня прощенья, целует руку, клянется в верности и любви! А как он травил несчастного Мопертюи только за то, что тот, а не он, был избран президентом Берлинской академии! Чахоточный уже харкает кровью, а тот все рассылает повсюду своего «Доктора Акакия», все продолжает издеваться над проектом прокопать землю до середины, над проектом разборки египетской пирамиды, над забавнейшим проектом создания города, где все говорят на латыни! Вот почему я отобрал у него золотой ключ Шамберлена! И все-таки, когда он пришел ко мне сущим скелетом со всеми своими кожными болезнями, дизентерией и жабой вкупе с горячкой, я его пожалел и оставил при дворе! Чем отвечает этот гений на мое милосердие? Он бежит из Германии со своей распутной племянницей и с моими стихами! И вот теперь, фон Курасс, черт бы вас побрал, вы делаете из него какого-то могучего демиурга, именем коего называются какие-то несуществующие войны в несуществующем времени; что за вздор?!»

Фон Курасс внимал этому взрыву прислонившись к балюстраде крыши и созерцая водосточную трубу. Хотелось всунуть ноги в такие железные трубы и зашагать к горизонту. Он понимал, что король так петушился в адрес Вольтера лишь для отвода глаз. Он просто хочет выиграть время и отвести мое внимание от того простого факта, что я, да и весь наш брудершафт, находимся на грани разоблачения. Знает ли он, что Сорокапуст не брат мой, а я сам? Знает ли он, кто таков Казак Эмиль? Знает ли он других? Понимает ли он, что с этой крыши он уйдет только головой вниз?

Король опустил руку в карман и взял в ладонь рукоять пистолета. С этим он приблизился к чудовищу, которое если и напоминало еще человеческое существо, то лишь весьма отдаленным образом.

«Словом, Курасс, невзирая на все эти ваши мифологические войны немедленно арестуйте Казака Эмиля и доставьте его ко мне. Он будет предан военному суду за разбой. Вместо него мы теперь будем работать с Петером Холштайн-Готторном, то есть с настоящим царем».

«Это невозможно», прохрипело что-то в глубине фельдмаршала, или лучше, сказать уже бывшего фельдмаршала, а ныне противоборствующего королю властелина. «У него произошла деформация лица».

«Какого черта!» вскричал король. «Какая еще деформация лица возможна в вашем ведомстве, где искажены все формы?!»

«Заткнитесь, Фриц!» взвыл в ответ монстр. «Прекратите без конца чертыхаться, упоминать это имя всуе! Прекратите принимать эти ваши величественные позы! Выньте руку из кармана! Вы не у себя в Сан-Суси! У вашего поклонника просто-напросто вырос второй нос!»

После этих воплей на крыше вновь появилась толпа вооруженных людей, и Фридрих Второй Великий понял наконец, что все потеряно: трон, родина, жизнь. Порыв великолепного вдохновения подхватил его и бросил к краю крыши, туда, где сидел фон Курасс. Рыцари Пруссии, монархи просвещенного абсолютизма должны погибать в схватке! Нечего мешкать, запусти ему пулю под жабры! Вдруг что-то остановило его. Он бросил взгляд вниз, на внутреннюю площадь крепости, и увидел, что там началась какая-то до боли знакомая церемония.

По площади к помосту отряд алебардистов вел двух молодых людей с завязанными за спиной руками. На помосте возле плахи ждали их два при-

земистых палача. В своих длинных фартуках и перчатках они напоминали забойщиков в мясном хозяйстве, однако маски на ряшках придавали им, да и всей сцене, что-то игриво карнавальное.

Король не мог оторвать взгляда от лиц двух юношей. Один был явно потрясен тем, что немыслимое должно вот-вот произойти. Он спотыкался, голова его – то есть то, что сейчас будет отделено от него, или, наоборот, отделено от него будет стройное тело? – голова его, очевидно, кружилась. Второй пытался подставить ему плечо, что-то гневное произносил, однажды даже вызывающе захохотал, показывая подбородком на палачей. Ветер сверху струйками долетал до дна внутризамковой площади и начинал трепать длинные волосы обреченных на казнь, потом угасал. Король содрогнулся от пронзительного дежавю. Молодые люди были похожи на друзей его юности, капитана Катте и лейтенанта Кейта. В 1732 году они втроем пытались убежать в Англию от короля-изверга, его отца. Все трое вольнодумцев были схвачены. Кейту все-таки удалось сбежать из-под стражи, а принц Фридрих и капитан Катте были привезены в крепость. Здесь оба были осуждены на смерть и посажены в одиночки. Через несколько дней в камеру принца вошел король-отец. По его приказу Фридриха подвели к окну и заставили смотреть на экзекуцию Катте. Каждый шаг молодого красавца к плахе запечатлелся в его памяти на всю жизнь. Звук этих шагов до сих пор временами звучит в его голове как своего рода метроном неотвратимости. Через несколько дней король вновь посетил его камеру, и принц упал перед ним на колени. Неумолимый старик разрыдался и поднял сына. Вскоре его женили на «безмятежной принцессе» Элизабете-Кристине, что была похожа на отборную гусыню.

Теперь шаги идущих под топор сливались в голове короля с тем «метрономом» тридцатидвухлетней давности. «Кто это?!» вскричал он. «Кого вы тут собираетесь казнить без моего ведома, презренный Курасс?» Владыка замка наслаждался. Вот хотя бы ради этих минут стоило выдержать все долголетние унижения королевской службы. Он рассмеялся. «Да это даже и не казнь. Мальчишки были схвачены при попытке похищения одной весьма важной персоны с небольшой деформацией лица. На допросе назвались французами де Буало и де Террано, но мы подозреваем, что это агенты российской службы, явившиеся с острова Оттец. Сейчас мы произведем небольшой следственный экспериментум. Одному из них отсекут голову, и тогда второй станет более разговорчивым. Ты ведь знаешь, как это бывает, мой маленький Фриц, ты ведь прекрасно помнишь, как это бывает, не правда ли? Одному, более гордому, удаляют копф, а второй падает на колени».

Внизу церемония развивалась. Протрубили трубачи. Отгрохотал барабан. Одного из пленников повалили на плаху. Палач Бруннер поднял топор.

Наверху король Фридрих Второй Великий вынул из кармана свою гордость, сработанный непревзойденными бельгийскими оружейниками по его собственным чертежам двухствольный пистолет. Грянул первый выстрел.

Бруннер нелепо упал на толстый бок. Топор скользя проехался по помосту и влетел в самую гущу алебардистов. Миша вскочил и ногою, которая была не последним его оружием, ударил в промежность палача Крейчера. Тот полетел вместе со своим неострозаточенным оружием юриспруденции с помоста и завершил разрушенье отряда.

Пулю вторую (и последнюю) король послал туда, где подразумевалась голова чудовища. Оно, не успев на лету оную пулю расплавить, рухнуло с крыши во двор.

Удар от падения был столь ужасен, что лопнули все веревки за спинами у ребят. Мгновенственно вооружившись, сии кавалеры подняли стрельбу и уколы металлом. Остатки чудовища ползали в разных местах, разруху и взрывы в своем же гнезде учиняя. Коля швырнул пакли горящей кусок в башню пороховую. Последствия не опишешь.

На крыше тем временем все битюги, Смарк, Марк, Арк и Рк, порвав упряжу, стражу топтали. С грохотом жутким рухнула вниз клеть асансёра. Кони полуслепые, громя все вокруг, вырвались из подвала. Рушилась картотека. «Ах ты, Ослябя мой славный», бормотал монарх, на огромную спину взлезая. «Рушатся символы нашей державы, но новые тут же взмывают нам на подмогу. Я не уверен, найдется ли место в мире подлунном для чистого символизма. И все-таки мир метафизики нас поглощает и тянет гекзаметра нить от Гомера к Вольтеру».

Опомнившись после очередного разрыва осколочного ядра, Николя и Мишель побежали к опушке леса. Перметте-муа ву деманде, месье, си ву не па мор анкор, нес-па? первый спросил на бегу. Мерси, месье, ответствовал второй. Иль ме самбль, же суи виван. Э ву? И оба почти казненных, едва ли не истребленных, закувыркались в поле с присущей юности дурью.

Отхохотавшись, уноши лихо помочились в сторону пылающей твердыни. Струи были устойчивые, крутые, лишь изредка в них мелькали рубиновые пятнышки, следствие вчерашнего допроса с пристрастием. «Эльсистророцитаты», так квалифицировал их прирожденный медикус Михайло Земсков. Лесков Никола снова от сего словечка покатился, а отсмеявшись, серьезно сказал полубрату: «Ну, Мишка, похоже, опять мы выбираемся с тобой из ненашей не-жизни». Полубрат обнял его за плечи и внимательно заглянул в глаза: «Значит, и ты, Коленька мой родной, понимаешь про сии вольтеровские войны?» Тот смущенно пробормотал: «Ведь все же делим мы с тобою, Мишанечка мой любезнейший». Два полубрата еще крепче прижались друг к другу и обратились на миг в одного брата. Потом, разъяв объятие, пошли вольным шагом дальше к лесу и посвистали своих коней. Тпру и Ну не заставили себя ждать. Тут же вымахали из орешника, где скрывались после неудачной засады целый день, оказавшийся для их всадников месяцами застенка. Уноши радостно обратали сии родственные души в лошадиных формах и заботливо ощупали их суставы, поджилки и подсумки. Все было в порядке, включая и подсумки с пистолями и пороховым запасом, а также и с бутылками отменной «Аква виты».

Еще раз окинем взглядом всю огромную панораму бранденбургских холмов, всю пронизанную довольно щедрым солнечным сиянием, и не скажем почти ни слова о том, что в левом верхнем углу ея уже загнулся один уголок, за коим виднелось подлинное время рассказа: ночь.

В середине панорамы двигался мерными взмахами четырех великанских копыт рыжий в белых яблоках ломовецкий битюг Ослябя Смарк. На неоседланной его спине восседал, хоть и вихлялся из стороны в сторону из-за непомерной ширины оной спины, король прусской страны Фридрих Второй, удирающий из своей собственной секретной цитадели. Вслед ему с горящего бастиона кто-то из еще уцелевших пушкарей наводил коронаду; Шюрстин пробовал последний шанс достать короля.

Намотав на кулаки мощные пряди смарковой гривы и ничего не боясь, король катил по родной земле и сочинял стихи. Экое счастье: медлительно, но неудержимо катить на верном коне из одной строфы в другую! Вот эти стихи в любезном переводе придворного Ея Императорского Величества виршеписца Семирамидского.

Где ты, вселенная Ньютона,
Скрываешь свой священный смысл?
Пошто созвездий многотонных
Не знаем мы природных числ?

Нам дан весьма солидный разум,
Но почему нам невдомек,
Что кроется в красотах розы
И в таинствах священных мекк?

О человек, червяк прелестный,
Чему ты куришь фимиам?
Пошто, слагая стих и песни,
Не можешь ты сразить L'INFAME?

Дерзает вдохновенно молодь,
Но не проник до черных дыр
Ни сумрачный германский желудь,
Ни галльский острый мухомор.

Балы, концерты, котильоны,
Войны кровавый карнавал...
Ты вопрошаешь воспаленно:
Что тянет жизни караван?

В чем наших дней угар и пафос?
Пошто Ньютон лежит в гробу?
Не спрашивай! Поймешь сей фокус
И тут же вылетишь в трубу!

Пушка грянула. Ядро пошло. Но тут же кто-то потянул уголок панорамы, и король проскочил под раму. И выстрел пропал втуне.

Начинался уже медлительный июльский закат. Жители, завершив труды и помолившись, усаживались на балкончиках и крышах, чтобы полюбоваться редкостным и красочным зрелищем саморазрушения таинственной крепости Шюрстин. Раскинувшееся на нескольких холмах сооружение с неприступными бастионами и беспрекословными башнями уже несколько часов удивляло пространство перемежающимися внутренними взрывами, обвалами архитектуры и поднимающимися из глубин клубящимися огненными грибами. «Эва как рушится!» удивлялись бюргерство и крестьянство. «Так, глядишь, скоро все позабудут об этой твердыне!»

Так, между прочим, и получилось. За ночь все выгорело. Утром найдено было лишь пепелище. К осени его на зиму распахали. Весною засеяли смесью овса с горохом. Летом скосили. Ну и так далее.

Вскоре забыли, что там было из постороннего. Страничку истории будто нечистая сила какая слизнула без всякой реверберации. Да что там история: шесть тысяч каких-то вращений вокруг светила проходят – и не заметишь.

Лишь в поле гукает некое идло болотистого свойства, но это не диво для тех, кто работал когда-либо в тех краях с косою либо с фузеей.

Глава восьмая,

в коей Вольтер знакомит барона Фон-Фигина и генерала Афсиомского со своими взглядами на российские вотчины, равно как и на черных рабов в Америке. Между тем над готикой Балтики пролетают голуби из древнего рода сарымхадуров, а также гремит не вполне реальная битва, в кою среди прочих сторон вовлечено цвейг-анштальт-бреговинское войско во главе с курфюрстом Магнусом Пятым

Очередная беседа «Остзейского кумпанейства» – как стали уже именовать сию встречу в замке и в окрестностях – была проведена в самом тесном кругу, естьли так льзя высказаться о треугольнике. А пошто и не льзя? Равнобедренный треугольник за милую душу вписывается в круг при помощи сиркьюля, не правда ль? Словом, всякому известно, что угольная геометрия завсегда жаждет круга. Так и здесь получилось: три персоны, барон Фон-Фигин, генерал Афсиомский и всемирный филозоф де Вольтер, засели в библиотеке замка за четырехугольным столом мореного дуба.

Каждый из них занимал свою сторону стола, четвертая же сторона осталась свободной.

Подчеркивая сугубую дискретность встречи, барон извлек из модной муфты свой личный, едва ли не сокровенный набор для письма: серебряную чернильницу, серебряную вставку для перьев, изячнейший кинжалец для очинки оных и серебряный же пенал с полудюжиной ослепительно белых и почти невесомых сиих предметов, при виде коих всяк будет горазд восклинуть, переиначивая римскую поговорку: «Воистине, гуси спасли словесность!»

«А равно и политический протокол!» не приминет тут добавить какой-нибудь любитель уточнений.

Как видим, не было здесь ни Лоншана, ни Ваньера, ни Дрожжинина, ни Зодиакова; также отсутствовали и гвардейские унтеры Марфушин и Упрямцев, тем более что последние не знали (или делали вид, что не знают) по-французски.

Афсиомского барон загодя попросил принести с собой стопку бумаги, что тот и сделал скрепя сердце, заведомо сердясь, что будет использован на заседании как простой писарь. Увидев, однако, что барон собирается писать сам, граф Рязанский просиял душою; кто не возрадуется приглашению стать равнобедренным вершителем Истории?

Вольтер улыбался, оглядывая стены. На полках были собраны, почитай, все его издания, включая даже и самые скандальные, пиратские, со всей Европы. Присутствовали и его возлюбленная «История д-ра Акакии», что сотворила в свое время столько «шороху» (по бытовавшему тогда в литературных кругах выражению) на всех этажах Прусской Академии.

По всему помещению библио́теки в излишнем даже обилии были расставлены античные бюсты: Гомер, Софокл, Эсхил, Эврипид, Платон, Аристотель (последний упомянутый внимательно смотрел на первого). Вольтер подмигнул «своему Ксено», ему понравились сии «афсиомовские машкерады».

Вообще Вольтер был в неплохой кондиции. После недавней ночи, то ли реальной, то ли приснившейся, во всяком случае, толь волшебно завершившей его блистательный монолог о любви, он как-то удивительно взбодрился, и даже вечная его мучительница, мысль о жизни как умирании, перестала докучать. Попивая по утрам отвар отменнейшего какао, доставленного с борта «NULLI ME TANGERE», где капитаном был к удовольствию англофила настоящий, хоть и российский, англичанин, и строча свои бесконечные письма (позднее было подсчитано, что сей славный муж за отведенное ему время «накатал», как тогда выражались, не менее 50000 штук эпистолярного жанра), он наслаждался и нежным июльским бризом и нежнейшим вниманием со стороны личного посланника Ея Мадамства, и хрустящими булочками в виде полумесяца, кои он никак не мог назвать иначе, чем les croissants, а также и мыслями о возможном повторении волшебного блуда, сего вящего свидетельства несовершенства человеческой природы. С этим было как-то легче преодолеть то, что все-таки слегка подсасывало внутри, в районе селезенки, где как раз и проявляется дефицит йодических атомов, намекая, что где-то поблизости, в неких пространствах безвременья, словно репетиция к злодеяниям будущего, жестоко грохочут и разрушают церкви одновременно три войны, названных толь неправдиво его именем.

«Господа, сегодняшнее наше собрание имеет первостатейное значение», очень серьезно, без обычной его лукавинки в очах произнес Фон-Фигин. «Ея Императорское Величество ласкается , что Ея беседа со светочем ума и знания – речь идет о тебе, мой Вольтер, – пусть и непрямая, однако сугубо доверительная, поможет Ей принять наиважнейшее для нашего государства решение».

«Держу пари, что ведаю уже, о чем пойдет речь». Лицо Вольтера заиграло хитрющими морщинками, как у некоего человекоподобного лиса. «Ксено не даст соврать старому пройдохе. Еще в Париже на следующий день после сокрушительного успеха «Семирамиды», когда ты, мой Ксено, передал мне приглашение Государыни, я сказал тебе, что мне ведома основная причина сей встречи. Ты ночевал тогда в моем доме, и мы столкнулись под утро в коридоре, помнишь? Уже тогда я знал, что речь пойдет об отмене крепостного права в России. Подтверждаете, генерал?»

Ксенопонт Петропавлович с важностию кивнул, хотя ничего подобного и не помнил. Кажется, и в самом деле наткнулся на хозяина, когда бродил там в поисках ночного горшка, был вроде бы какой-то вольтеровский намек на его исключительную прозорливость, однако о крепостном праве как будто так и не разговорились. Тем не менее кивнул еще раз: как не помнить столь важный исторический моментум! Фон-Фигин после этих кивков внимательно посмотрел на генерала, однако ничего не сказал.

«Так что же, мой Фодор, прав я или нет? Угадал ли я глубинную истину?» вопросил философ.

Посланник улыбнулся. «И да, и нет, мой Вольтер. Все темы наших бесед имеют для Императрицы первостатейное значение. Философия природы или, скажем, иерархия искусств не менее важны, чем политическая злоба дня, к примеру, вопрос о распространении императорского «Наказа» или проблемы престолонаследия. Государыня ласкается, что ее не зря причисляют к плеяде энциклопедистов. Беру на себя смелость изречь, что среди великих Ея мечтаний наивеличайшим является мечтание сделать развитие России вкладом в человеческое просвещение. Вот почему все беседы наши для Нее в равной мере важны и тема крепостного права неотделима от всех прочих. Другое дело, что тема сия, быть может, сложнее других, поелику вовлекает в некую пучину великое многомиллионство телес и душ человеческих.

Так уж получилось в нашей обширной державе, что в отличие от Европы крепостное право у нас не только не увяло за последние сто лет, но окрепло. Ежели во Франции, в италийских государствах и во многих землях Германии, не говоря уж тем паче об Англии и особливо об ея североамериканских колониях, все эти исконные формы общества, сеньории и маноры, рассматриваются как пережитки прошлого, то в России никто под вопрос оные сеньории не ставит».

«Вы имеете в виду «вотчины», мой друг?» поинтересовался Вольтер. (Он произнес «ле вотшэн».)

Фон-Фигин удивленно поднял свои великолепные брови. «Какая осведомленность, браво, мой Вольтер! Вот именно вотчины, все наши княжеские, дворянские и монастырские поместья. Какими они сложились после Соборного уложения 1649 года, таковыми и пребывают».

«Прости, мой Фодор, но я должен внести поправку в твои размышления», проговорил Вольтер. «Североамериканские колонии Англии при всей их склонности к свободе пока что негожи для примера: там существует рабство».

«Так ведь это же привезенные из Африки негры», заметил тут граф Рязанский.

«Ксено, Фодор!» горячо воскликнул Вольтер. «Я не открою вам великой тайны, если скажу, что негры – это такие же люди, как мы все!» Он помрачнел, прикрыл лицо руками и тихо добавил: «А может быть, и выше нас в силу перенесенных ими страданий».

«Как неожиданно! Как гениально!» вскричал потрясенный Фон-Фигин. «Вольтер, ты действительно совесть человечества! А ведь наши крестьяне, по сути дела, ничем не отличаются от черных рабов. Страданиям их несть числа! Даже век просвещения не принес им поблажки. Напротив, нужда в рабочей силе для строительства флота, крепостей и городов только укрепила крепостничество. Великий Петр гонял несметные тол-

пы крестьян, как скот. Века идут, а древние вотчины, а бесконечная кабала незыблемы. Пришла ли пора покончить с этим позором раз и навсегда?»

Вольтер смотрел на столь неожиданно воспламенившегося вельможу и думал: чем он больше потрясен, уравнением ли негров со всеми человеческими особями, возвышающим ли пафосом их страданий или сравнением российского низшего сословия, всего этого б е л о г о, но безжалостно забитого многомиллионства с черными рабами Америки? Ведь у него и у самого, небось, немалое число душ, ведь не деньгами, а числом крепостных мужиков они там измеряют свои богатства.

Барон продолжал: «Быть может, назрела пора для великого всероссийского указа? Быть может, нежданностью мы как раз и замостим дорогу к успеху? У нас созрело нынче молодое общество, жаждующее перемен, не так ли? Во главе нашего войска стоят молодые военачальники, что два года назад привели к власти молодую и просвещенную государыню, среди них немало и вчерашних иностранцев. Пошто мы будем ждать еще сто лет?»

В ожидании ответа Вольтера барон быстро заскрипел пером по отменной, чуточку бугристой бумаге, на кою неплохо бы легла и какая-нибудь элегия. Интересно, чего там больше у него получается: восклицательных или вопросительных знаков, подумал Вольтер.

«Я вижу, господа, вы там задумали сущую революцию», произнес он с умиротворяющей улыбкой. «Не опасно ли сие столь радикальное благомыслие? Не произойдет ли взрыв? Не преувеличиваете ли вы, мой Фодор, и вы, отсутствующая, но столь безгранично почитаемая Государыня, распространение либеральных идей в ваших «ле вотшэн»? Будь любезен, мой друг: сослагательное наклонение и три вопросительных знака».

Барон умерил свой пыл и тоже улыбнулся. «Эти вопросительные знаки уже превратили мои заметки в стаю лебедей. Ежели так пойдет, можно будет ничего не писать, а нарисовать одну большую загогулину. И все-таки, можно ли упускать историческую возможность восклицания?»

«Здесь опять вопросительный», ввернул Вольтер. «Подумали ли вы о том, что скажут бояре, владельцы многих тысяч душ? Пусть они одеты по последней моде улицы Сен-Онорэ, ездят в дорогих каретах швейцарской работы, едят на севрском фарфоре, мало того, выписывают для своих детей гувернантов с дипломами Сорбонны, целые библиотеки книг, включая нашу «Энциклопедию», однако откажутся ли они так внезапно от своего векового владычества, от привычки покупать и продавать людей, сегодня устраивать в поместье театр, разыгрывать со своими крепостными «Федру», а завтра подвергать сих актеров позорной и даже смертельной порке, а то и травле собаками, как я слышал; иными словами, оставшись без всех подобных средневековых прав и привилегий, не потянутся ли они к дедовской сабле?»

Несколько минут прошло в молчании, чтобы дать высокопоставленному «писцу» возможность записать многоколенный вопрос Вольтера. Закончив сей труд, барон отложил перо, с кончика коего тут же упала капля чернил и расползлась по бумаге в виде какого-то малого глазика. Поглощенные историческими мыслями собеседники посмотрели на сие странноватое проявление невтонической природы, но не придали ему никакого значения.

«Как всегда, мой Вольтер, ты копнул из самой сердцевины вопрошения», проговорил Фон-Фигин. «Поймут ли наши вельможи благородные дерзания Государыни, не ополчатся ли супротив Нее, а также супротив всего нашего поколения? Вот ты, наш верный друг», он неожиданно повернулся к застывшему в весьма благородной позиции графу Рязанскому (взгляд, устремленный к Платону, подбородок в лоне надежной длани), «вот ты, Ксенопонт Петропавлович, с твоим гигантическим опытом государственной службы и с близостью твоей к славолюбским кругам нашего дворянства, к сторонникам старого патриархата, что ты можешь сказать о настроениях на сием Олимпе?»

Афсиомский встрепенулся всей своей чувствительной сутью. «Помилуй, Федор Августович, ваша светлость, да откуда ж взялась подобная моя близость к сторонникам старого уклада? Ведь, почитай, вся Европа знает меня как завзятого вольтерьянца! Да и в отечестве ходит за мной такая же слава! Ведь любой из моих мужичков на Рязанщине подтвердит, что старинну-то барщину давно уж оброком я легчайшим заменил. Да разве ж Государыня наша доверила бы мне остров Оттец для устройства сего толь важнейшего кумпанейства, буде я заскорузлым патриархатчиком?!»

Вольтер, дабы успокоить взволновавшегося генерала, протянул ему через стол свою руку, как бы выпрыгнувшую из пены кружев. Афсиомский ответил схожим жестом ладонью вверх. Ладонь филозофа с привычной писательской мозолью на указательном пальце хлопнула по всецело жесткой ладони солдата. Сия демонстративная близость старых друзей пришлась по душе высокопоставленному посланнику, однако не согнала с его лица многосмысленной политической улыбки.

«Напрасно ты толь разволновался, Ксенопонт, ведь ничего злокозненного Государыня не видит в ваших литературных связях, о коих с почтением говорят при Дворе». Увещевая верного слугу Престола и Отечества, он то и дело перескакивал с «ты» на «вы», строил ему успокаивающие мины, подмаргивал красивым оком. «Просто хотелось бы подробнее знать, что говорят о возможной отмене Соборного уложения в обществе таких достойнейших персон, как Херасков Михаил Михайлович, Чулков да Левшин, князья Львов и Щербатов, не говоря уж о таком великолепнейшем сочинителе, как Сумароков Александр Петрович...»

Не без удивления он увидел, что при упоминании последнего генерал прям-таки радостно подскочил в своем кресле.

«Петрович!» вскричал он. «Петрович! Петрович! Отнюдь не! Отнюдь не Исаевич!» Теперь он знал, как перейти с этим мыслителем к иному фасону обращений: «Дражайший и любезнейший мой Александр Петрович!» Не Исаевич!

«Иса Эвиш?» поднял бровь Вольтер. «Звучит знакомо. Это что, из Монтенегро?»

«Нет-нет, Вольтер, это из другой оперы. Нет-нет, никакого отношения к сералям оттоманского султана сей господарь не имеет», заметил Фон-Фигин. На благо все трое располагали вельми шутливой складкой ума и потому похохотали со вкусом. Момент напряженности испарился.

«Так вот», продолжил барон, «такая существует при Дворе анекдотка. Сей Александр Не-Исаевич-а-Петрович недавно приглашен был к Государыне на чашку чаю. В разговоре Ея Величество как бы мимоходом вопросила, как бы он отнесся к отмене крепостного права. Сумароков был полностью ошело́млен, си-ву-перметтэ-муа-се-мо. Позвольте, Ваше Величество, воскликнул пиит, но, ежели мы лишимся крепостных, где ж мы тогда будем брать услужающих?!

Существует однако ж сурьезный аспект сиих настроений. Все упомянутые вельможи пишут романы в стиле Вольтера, но с антивольтеровским пафо́сом. Я речь веду сейчас о «Щастливом обществе» и о «Хоре к превратному свету» того самого Сумарокова, о «Непостоянной фортуне» Федора Емина, о «Нуме, или Процветающем Риме» Хераскова, а также и о других различных утопических «Путешествиях в страны Офирские» выше упомянутых персон. Любопытственно, что едва ль не в каждом подобном сочинении с ядовитой сатирою изображаются подобия западных стран под оскорбительными именами Игноранция либо Скотиния, а рядом с оными возводятся панегирики патриархальным утопиям, Светонии или Разумнии,сходным с Россией. Герой неизменно попадает в блаженные земли, где царствует мудрая Правительница, оберегающая старые порядки и единственную истинную религию, сиречь Православие. Жители сиих райских земель, именуемые «славами», прилежно трудятся на своих хозяев и на Правительницу, отождествляемую с Отчизной. Все они

решительно отрицают низменные соблазны иноземцев как посягновение на свое натуральное щастие.

Интересно, что все сии объемистые сочинения немедля после составления оных отправляются для прочтения Государыне, как будто авторы видят в ней своего основного читателя. Не видится ли вам, любезные господа, в этом факте любопытный замысел? Не пытаются ли вельможи-сочинители повлиять на умонастроение Императрицы? Не кроется ли в оном предприятии серьезной опаски, не тревожатся ли сии почтенные мужи за свои исконные вотчины, не опасаются ли внезапного императорского указа об отмене крепостной зависимости?»

Выслушав барона, Вольтер подумал, что подобные почтенные мужи хотят и из Петербургской академии сотворить свою вотчину. Иначе к чему надо было в прошлом году всерьез обсуждать антивольтеровскую фальшивку, писанное якобы самим филозофом дурацкое послание, да еще и засылать копию протокола прямиком в «божественные ручки» Императрицы?

«Иными словами, Фодор, вы усматриваете в таковых настроениях опасность для предначертаний Государыни?» спросил Вольтер. Он смотрел теперь только на Фон-Фигина, как будто третьего собеседника и не существовало. Приближался решительный момент, содержавший весь смысл задуманного Екатериной диалога. Перед этим моментом он должен забыть всю свою лирику и мизантропию, все свои эпиграммы, кощунственные драмы и театральные безумства Парижа, все свои дерзостные аферы в поисках «филозофского камня нашего века», равно как и фривольности своих полудремотных мечтаний, забыть свою старость, не говоря уж о младости, ошеломительные скачки данной персоны, именуемой Франсуа Аруэ де Вольтер, забыть себя и как Кандида и как Панглоса, вообще между прочим забыть весь свой ненаглядный «процесс умирания» и выступить в единственно возможном в данный момент качестве – в качестве серьезного историка и политика, от точки зрения которого могут зависеть судьбы весьма туманно им представляемого российского многомиллионства.

Не говоря ни слова, посланник барон Фон-Фигин сделал приглашающий жест правой рукою, а точнее, кистью этой упертой локтем в полированную поверхность стола руки. Внешность его, как и внутреннее состояние его собеседника, преобразилась. Исчезла нередкая в его облике игривистая смазливость, некий не вполне сурьезный секрет сродни венецианскому маскараду. На Вольтера смотрел суровый солдат-вождь, готовый к любому повороту судьбы. Так, быть может, перед началом похода смотрел на Аристотеля его достойный ученик Александр Македонский.

«Ну что ж», приступил к своему монологу Вольтер. «Перед погрузкой на челны войско должно представлять себе хотя бы часть ожидающих опасностей, все остальные, а имя им легион, будут нападать внезапно. Настроения сеньоров, конечно, весьма сурьезная опасность, но еще более сурьезная может возникнуть сразу по началу реформы в настроениях барщинных крестьян. Поколениями привыкшие к жестокой опеке дворян, они могут не понять благих намерений Государыни и почувствовать себя брошенными и обманутыми. Возникнет пародоксальный момент восстания рабов против своей свободы, защиты исконно российских вотчин от иноземцев. С другой стороны, указ об освобождении может вызвать дикий порыв к неограниченной воле. Смешавшись с массой свободных крестьян, то есть казаков, невежественные массы ринутся на усадьбы дворян и на монастыри, а опьянев от крови, уже нелегко остановиться. В государстве возникнут ужасающие смуты, пред коими поблекнет и смута междуцарствия, что разыгралась в начале прошлого века. Впрочем, как и все подобные смуты, они будут проходить по близким парадигмам. Появятся самозванцы, претендующие на престол, то есть многократные копии, то есть все более и более не узнаваемые копии царей Иоанна Шестого и Петра Третьего. Иными словами, мой Тодор и мой Ксено», Вольтер перевел

дух, пощупал свой пульс, постучал костяшками пальцев по краю стола, посмотрел на свободную от книжных полок стену библиотеки, завешенную гобеленом с изображением триумфального шествия богов и героев, и только засим завершил фразу: «еще по крайней мере двадцать лет в России нельзя отменять крепостного права».

Генерал Афсиомский при этих словах едва не воскликнул «Браво!», но воздержался и произнес лишь одну, но достаточно туманную фразу: «Вот так же считает и Ксенофонт Василиск».

Барон Фон-Фигин встал из-за стола и отошел к дальнему восточному окну, за коим в рамке бордовых штор катилось море, по коему при милости богов можно за неделю добежать до дому. Признаться, он был уязвлен за все свое поколение: что же – постареть посредь рабства? Что греха таить, двойственные чувства волновали вельможу: с одной стороны, вольтеровский вердикт обескураживал целое поколение просвещенной российской младости, жаждущей громыхнуть своей революцией на всю Европу, с другой же стороны, он испытал облегчение, понеже вместе с филозофом видел всю малость сей молодой группы посредь укоренившегося варварства.

Вольтер решил развить перемену, то есть разрушение мизансцены, и отошел в глубину кабинета, дабы покрутить стоявшие там медные сферы Плутарха.

«Каковы же будут твои рекомандасии, уважаемый мэтр?» спросил, не оборачиваясь Фон-Фигин.

Покручивая сферы Плутарха, Вольтер начал уверенно развивать свой план. «Отмену крепостного права надобно решительно, но не поспешно готовить. Главное состоит в изменении сознания как дворянина, так и пейзанина, так и купца. Люди должны видеть, что держава на их стороне, что от нее идет не ужесточение, а смягчение жизни. К этому в России имеются хоть и малозаметные со стороны, а на деле вельми сурьезные условия. Взять хотя бы большую массу государственных крестьян, то есть крепостных Ея Величества. Сии поселения должны стать модой будущей свободы. Там следует в как можно более поспешный срок упразднить все крепостнические злостные употребления. За ними будут поспешать и казенные заводы, где используется труд как государственного, так и вотчинного люда. В свой черед вотчинная промышленность и крепостные мануфактуры будут льстить себя надеждой в близком будущем уподобиться казенным заводам и поселениям.

В посессионное право на земли, недра и леса, а главное, на людей надобно ввести строгие судебные циркуляры, дабы устранить всякие злостные употребления и прежде всего куплю-продажу людей. В этой связи обратите внимание на важность судебной реформы. Дабы устранить возможность тулузского лицемерного магистрата, о коем вы уже слышали мою печальную повесть, надобно заменять сословные, а тем более вотчинные, суды судами выборными из разных сословий.

Год за годом надобно будет укреплять на германский и скандинавский манер разного рода «марки», то есть общины, как родовые, так и соседские. Сбор податей в общинах надобно проводить не по числу душ, а по величине дохода. Семейства с большим детством должны получать поблажки. Все сословия должны постепенно получать уравнения в правах, разумеется, с учетом образовательного квалитета. Увеличение общедоступных школ должно давать даже самым темным хотя бы умозрительную фигуру будущего равенства.

Образованному же сословию надобно предоставить больше прав для расширения и квалитетного развития путем учреждения университетов, академий и литературных обществ, а также путем образования частных типографий.

Категорическим указом следует воспретить всякого рода телесные наказания, не говоря уж о пытках в судебных дознавательствах. Слышал я,

что Государыня словесно воспретила бить ливрейных слуг, «никогда и ничем». Сие благое начинание надобно закрепить документом на бумаге с печатью и с ангелом в правом верхнем углу, несущим из-за облака благую весть.

Рекрутированию в армию нужно придать законные и гуманитарные формы, и срок службы должен быть сокращен вполовину, за исключением, конечно, тех, кто возжелает сделать воинство своей профессией.

Постепенно, вместе с развитием равноправия, надобно внедрять в умы и мысль о свободе передвижения. Человек должен жить там, где ему дышится вольно и где горизонты возвышают его дух. Надобно искоренить из российской жизни понятие «беглый», не вылавливать путешественников и новоселов, не привязывать их к вотчинной барщине.

По мере возможностей нужно приглашать в ваши бескрайние поля иноземных колонистов, предпочтительно немцев и голландцев (с французами поосторожней, господа!). Оные колонисты самим устройством своей «марки» будут давать пример российской общине.

Все это дела не одного дня и не одного года. Не надобно сразу рушить веками устоявшийся быт. Сия громовершительная весть, конечно, принесет Екатерине всемирную славу, однако последующая деструкция обернет сию славу в бесчестие. Не след нам уподобляться медведю иль вепрю, прущему напролом через чащу. Скорее уж следует подражать строителям-бобрам, сооружающим плотину для вольного плаванья.

Вот еще вопрос наиважнейшей важности. Ни в коем случае не надобно на пути к освобождению крестьян вооружать против реформы аристократию. Напротив, аристократия как самое развитое и самое рафинированное сословие империи должна стать первейшей союзницей Екатерины. Именно в салонах аристократии будут рождаться идеи развития. Проявляйте терпимость и к оппонентам, таким, скажем, как названные тобой, мой Фодор, утопические романисты, и они, став вашими лояльными дискуссантами, может быть, иной раз больше пользы принесут, чем какой-нибудь ревностный прогрессист с горящим взором. Даже этот ваш черногорский господарь Иша Эвич в споре скорее поймет, что слуг необязательно брать из крепостных, а можно за деньги нанять из вольных.

Поощряйте знатных дам к общественной пользительности. Недавно в Ферне привозили ко мне русскую гостью, графиню Дашкову, особу исключительной юности, коя вкупе с едва ль не фантастической премудростью делает ее сущим феноменом Икс-Виктория-Три-Палки...»

Только в этом моменте барон Фон-Фигин, который в течение всей речи Вольтера строчил на зависть Лоншану и Ваньеру, споткнулся.

«Это еще что такое, Вольтер?»

Филозоф хохотнул. «Да ведь это же номер нашего века римскими цифрами: X – неизвестность, V – победа над неизвестностью, III – ободряющие знаки для наших дам. Пусть и в России появятся свои мадам де Помпадур и мадам де Шатёру! О, кому как не мне знать влиятельные эманации парижских блистательных дам и их бесконечную приверженность главному лозунгу эпохи: «Покончим с лицемерием!»

«Удивительно!» воскликнул барон, поставил точку и метнул славно потрудившееся перо в гобелен. Остро очиненный сей предмет, утяжеленный к тому же серебряной вставкою, описал дугу и вонзился в драгоценную ткань. Послышался слабенький писк, как будто острие попало прямо в какой-то почти не различимый в своей миниатюрности глазик. Никто этого писка даже и не заметил, кроме читателей сей нувели. «Я просто поражен, мой Вольтер, откуда ты набрал толь много подробностей российского застоялого быта?!»

Вольтер, чрезвычайно довольный, прогуливался победительно по паркетам и коврам, галантно раскланивался со своим отражением в зеркалах. Ему явно нравился сей гибкий старик, казалось, забывший в эти минуты о

вечных своих бурлениях ниже пояса и о докучливых ломотах в костях и суставах.

«Господа, единственная моя настоящая профессия – это исторические изыскания!» бравировал он. «Все остальное – стихи, драмы, трактаты и фельетоны, физические и химические опыты, которые мы ставили вместе с покойной Эмили (а ведь мы едва не открыли научную суть огня!), – все это относится просто к ренессансной природе моего организмуса. Библиотека, даже фальшивая, мой Ксено, немедля стимулирует мою профессиональную сноровку. Недаром ведь я некоторое время занимал официальную должность королевского историка в Версале. Король и кардинал Флёри лучше других поняли, в чем моя ценность!»

Афсиомский подошел к нему с поздравительными объятиями. «Вольтер, да ведь даже я, путешественник и солдат, готов подписаться под всеми твоими тезами. Более того, готов их даже чем-то и расширить. Вот, например, размышляя вместе с Ксенофонтом Василиском, пришли мы к некоторой идее о пользительности морганатических связей между высшим и низшим сословиями. Потомству же, приобретенному от сих совокуплений, надобно предоставлять предпочтительные права для подъема в высшие сферы. Вот таким образом будет возникать подлинный межсословный эквилибриум!»

«Вот это уж совсем недюжинная идея!» воскликнул изумленный Вольтер.

«А кто ж это такой – широконатурный и недюжинный Ксенофонт Василиск?» вопросил, едва удерживаясь от щастливых скачков молодой веселости, посланник барон Фон-Фигин.

Генерал оправил свое жабо с исключительной значительностью. «Се, ваша светлость, крупная фигура старинного византийского происхождения. Сия фигура как раз является зачинателем обширного генеалогического древа, соединяющего знатные рода с тружениками нив и ремесел. Увы, пока что еще не занесен в наши знатные рубрики».

«И в какую же книгу у нас включен сей Ксенофонт Василиск, ежели отсутствует в «Бархатной»?» не без игривости вопросил барон.

«В книгу провидческого характера, каковая вскорости будет представлена Государыне для многозначительного прочтения!» ответствовал генерал.

«Как это любезно с вашей строны, граф и генерал! Государыня как раз вчиталась в сей новый жанр просветительных утопий!» продолжал весело ёрничать Фон-Фигин.

«Не забудь и старого графоманьяка!» подхватил этот тон Вольтер. «Вторая копия – мне!»

Как и вся просвещенная Европа, оба, конечно, знали о сочинительской мании сего умудренного жизненным опытом покорителя пространств.

Все трое снова уселись за стол, позвонили в колоколец, имеющий форму языческого шутилы с внушительным язычком, и заказали кофе. Вторая часть беседы, начавшаяся с веселого разговора о византийских корнях российского государства, вскоре приняла весьма сурьезные звучания, могущие в конце концов привести к громоподобным столкновениям народов и армий.

Смысл ея зижделся на давнишней идее Вольтера о сущей необходимости сокрушить Оттоманскую Порту и водрузить крест на Святую Софию. Не будучи, мягко говоря, особенно пристрастным христианином, он видел в кресте не власть церкви, а символ победы созидателей-европейцев над разрушителями-мусульманами.

Кто может возглавить сей поход, кроме просвещенной Екатерины? Кто может восстановить древний град императора Константина? Государыня приглашает мыслителя на постоянное жительство в Петербург. Мыслитель жаждет на остаток своих лет припасть к ея ногам, увы, мыслитель сей уже

развил в себе значительный человеческий недуг, именуемый старостью, и проживание на шестидесятом градусе северной широты не сулит ему бодрых лет на благо великих задумок Государыни. Так почему бы не перенести столицу на тридцать градусов южнее, к берегам теплых морей, где произрастают оливы и ливанские кедры, где и старость не всегда в тягость, где и кончина соединит европейских мыслителей с мудрецами античного мира?

В этом прожекте есть историческая логика, так полагали участники «кумпанейства». Российское царство сотворено Византией. Без греческих монахов не рождена была бы и наша азбука, а церковь наша есть византийская церковь. Так почему бы нам не освободить греков – да и самих турок, между прочим – от жестокого тирана Мустафы, не образовать новую российско-греческую Византию, в коей соединились бы исторические христианские традиции с европейским просвещением? В сем возрожденном Константинополе всем религиям была б обеспечена свобода совести, включая и мусульманство. Нет-нет, господа гипотетические оппоненты, сей прожект – не утопия, отнюдь нет! Он опирается на историческую диспозицию века. Оттоманская Порта вступает в пору упадка. Мусульманский мир не производит промышленного продукта. В нем все держится на средневековых укладах. Армия Порты огромна, однако визири ее не владеют тактикой битв. Один прусский дивизион достиг бы Стамбула, как нож достигает сердцевины арбуза. Если б Фридрих Второй захотел, но он не хочет. Флот Порты малоподвижен. Эскадра британских фрегатов учинила бы полный разгром армадам Гасан-паши, если б британский парламент соизволил, но он подобной воли не изъявляет. У России есть гренадеры, что не уступят пруссакам, а также и моряки под стать бриттам. Стало быть, что мы имеем в итоге сиих размышлений? Во внутренних наших делах мы продвигаемся к постепенному освобождению крестьян. На внешних просторах истории мы на всех парусах движемся к Византии.

При упоминании «движения на всех парусах» в библиотеку вошел коммодор Фома Андреевич Вертиго, как будто за дверью дожидался сей навигаторской фразы. На самом деле он пришел по срочному делу и двигался так быстро, что эхо его шагов отстало от перемещения тела и долетело до библиотеки только через семь секунд после коммодоровского прибытия.

Он хотел было сразу подойти к посланнику, чтобы сообщить тому чрезвычайную новость, однако все трое участников «кумпанейства» одновременно бросились к нему и даже как-то затормошили в изъявлении дружелюбных и самолюбезнейших чувств. «Дражайший Фома Андреевич, вы как нельзя кстати!» «Таков наш капитан, он всегда кстати!» «Май диа коммодор, ю кэйм он э райт тайм ин э райт плэйс!» приветствовал его Вольтер по-английски.

Его усадили в кресло. Афсиомский потянул какую-то щеколду. Часть полок с сафьяновыми корешками книг отодвинулась в сторону, открыв небольшой буфет с увлекательными напитками. Вертиго с поклоном польстил великому старику: «А я и не знал, мэтр Вольтер, что вы так хорошо говорите по-аглицки!»

Вольтер был явно в ударе. «Ах, этот английский! Джентльмены, вы не поверите, но однажды из-за сего чужого языка я чуть не лишился своего собственного. Моя Эмили при всем величии ее ума была завзятой картежницей. Всякий раз проигрывала бешеные суммы моего «философского камня», но на нее я не скупился. В ту ночь в отеле Камюль я заметил, что против нее играет целая шайка аристократических шулеров. Я стал говорить ей по-английски (мы с ней часто переходили на этот язык, когда не хотели быть поняты окружающими), что ее хотят гет бамбуззэлд, то есть хотят ее «отвезти», как тогда выражались в кругах картежников. Она мне отвечала сердито тоже по-английски, дескать, не лезь не в свое дело, как вдруг один из этих негодяев вмешался в наш разговор. Оказалось, что он

три года просидел в лондонской тюрьме, а ведь всем известно, что нет лучшей школы для изучения языков, чем тюрьма. «Эти мошенники, хитрый Вольтер и его «леди всех достоинств», хотят нас отвезти в Страну Дураков», завопил сей тип. «Филозоф ходит вокруг и заглядывает в карты! Ну-ка давайте посчитаемся с ними!» Я схватил тогда тяжелый подсвечник и бросил в них. На шум снизу прибежали все наши, Эльвесьё, Дидро, Д'Аламбер, Дольба; все со шпагами в руках. Ну вот, господа, я вижу, вы не очень-то верите старому правдолюбцу! Придется мне пожаловаться Государыне!»

Отсмеявшись, все вновь приняли сурьезные экспрессионы лиц. Посланник Фон-Фигин поинтересовался у моряка, что бы тот предпринял для взятия Костантинополя с моря. Вертиго, всячески скрывая полнейшее изумление под аглицким, то есть бесстрастным, выражением лица, сказал, что это дело «не пикник». Внезапной атаки не получится, поскольку турецкий флот повсеместно присутствует по всем бассейнам Средиземноморья. Стало быть, нам прежде всего надобно будет устранить сие препятствие, а для этого следует проводить морские операции с обоих основных направлений, то есть не токмо с севера, равно и с юга. Потребуются вельми сурьезные многолетние операции. В Черном море нужно будет создать флотилии галер для перевозки сухопутных войск, а также отряды быстроходных фрегатов для эскорта и перехватов. Основные эскадры пушечных кораблей должны придвинуться с юга, по пути разгромив главные морские силы Порты. Для того чтобы скопить достаточные эскадры, нужно передвинуть часть Балтийского флота в Южное Средиземноморье и создать на полпути – лучше всего на каком-нибудь острове с христианским населением – на Корфу или на Крите – сурьезную базу-крепость для снабжения и починки. Вот так мне представляется сия историческая авантюра, несмотря на всю неожиданность запроса. Дело вполне реальное для жизни одного поколения. Как говорили в старину, «начать и кончить».

Советник Фон-Фигин поблагодарил коммодора за столь блестящую, хоть и вынужденно-молниеносную морскую диспозицию. Не удивлюсь, Фома Андреевич, если вскорости мы увидим в вашем лице главного командующего Средиземноморским флотом. Весьма любезно, но опять же без излишка эмоций, поблагодарив барона за столь щедрое пожелание, Вертиго встал и сказал, что обстоятельства самого срочного и конфиденциального характера вынуждают его попросить у посланника незамедлительной тет-а-тет аудиенции. На этом очередное заседание «кумпанейства» было прервано. Быть может, следует еще добавить, что по огромному пространству гобелена после этого заявления промелькнуло несколько крошечных вспышечек, на кои никто из присутствующих не обратил никакого внимания.

Дробно, не без нервозности, стуча каблуками, Фон-Фигин и Вертиго прошли по коридору в собственный кабинет посланника. Что-то мокрющее и липучее влачилось вслед за ними вдоль кирпичной стены, пока они шли, однако за явным нехватком сил оно отстало и опало, обратившись в несущественное пятно плесени.

В кабинете коммодор пристукнул каблуком по паркету и произвел формальный салют ладонью под треуголку.

«Ваше сиятельство, час назад прибыл Егор. Насколько я понимаю, в столице жаждут вашего возвращения». С этими словами он протянул барону маленькую капсулу спешной связи. Сняв с нее крышечку, тот вытащил тонкую полоску непромокаемого пергамента. На ней специальной иглой была начертана одна-единственная фраза по-французски: «Дорогой друг! В далеких краях не забывайте тех, кто вас преданно любит. Академия».

«Где находится Егор?» резко спросил советник.

«Отдыхает на корабле», ответствовал капитан.

«Немедленно отправимся туда!» скомандовал Фон-Фигин. «Я должен его видеть».

Надежнейший гонец секретной службы Двора Ея Величества по имени Егор прибыл вот уже час назад, но все еще не мог собраться с силами. Последнее колено его миссии оказалось сложнее, чем он предполагал. Переночевав вчера в Гданьске на крыше ратуши, он пустился в путь с первым лучом солнца, предвещавшим, казалось бы, безмятежное скольжение среди июльских любезных струй, однако по прошествии двух часов впереди по курсу, то есть на северо-западе, поднялась гряда штормовых туч, задул порывами сильнейший ветер, всякий раз напоминавший Егору о каверзах нечистых сил, затрудняющих циркуляцию императорских мессажей. В атмосфере проливных потоков дождя и шквалистых насилий Егору приходилось маневрировать, ложиться то на одно крыло, то на другое, иногда складывать оба крыла и как бы падать, чтобы обвести вокруг пальца дьяволов урагана, как бы погибать, а на самом деле искать подходящую струю, набирать скорость, чтобы в нужный момент всему раскрыться и взмыть поверх туч. Там, на высоте, сложновато было дышать. Впрочем, терпимо. Как говорится: хорошего мало, но привыкнуть можно. Можно привыкнуть, можно, можно. Так или иначе он шел по курсу и в конечном счете увидел нужный корабль, стоящий на якоре посреди спокойной бухты, снизился и влетел в окно на корме, кое постоянно пребывало открытым в ожидании небесных почтарей.

Читатель, конечно, уже понял, что Егор был голубем редчайшей монгольской породы, потомком тех, что сопровождали еще полчища Чингисхана, когда оные, одержимые какой-то неясной мистической идеей, скрываемой под видом роевого инстинкта, месяцами и годами неслись на запад, оставляя за собой пустую землю, заваленную лишь конским калом.

Позволим себе небольшое отступление, связанное с той непобедимой монгольской конницей. Откуда она взялась в таком числе, ежели пришла из пустыни? Быть может, в те времена была какая-то другая, многолюдная Монголия, способная вооружить и погнать на запад те приснопамятные «тьмы»? Так мы вообще-то когда-то и полагали, пока однажды в Будапеште не познакомились с кружком просвещенных монголов, которые совсем иным путем объяснили эту загадку.

Монголия и в те далекие времена была не ахти какой многолюдной. Собственно говоря, ее население не превышало нынешнего числа. Создание непобедимой конной армии объясняется только полководческим гением Чингисхана. В пресловутой «тьме» было не больше тысячи бойцов, однако каждого всадника сопровождал табун в сто лошадей. Вся эта масса на одной скорости неслась по полям, вселяя ужас в жалкие крепостцы старых русичей, вятичей, курян, исторгая заряды стрел, дымя факелами, визжа и грохоча привязанными к ногам лошадей бычьими пузырями с костями и окаменевшими жабами сибирских болот; вот вам и пресловутые «гремушки»! Так создавалась «устрашающая атака» Чингисана. После захвата городов начиналась пропаганда жестокостью. Одни только слухи о чудовищной резне, учиненной «поганью», то есть «паганами», язычниками, повергали население еще не тронутых городов в паническое бегство.

Внутри армии царила беспрекословная дисциплина. На всем протяжении непомерного пути поддерживалась связь с отчизной Монголией. Для этой цели была разработана непростая, но, как оказалось, весьма надежная система голубиной почты. Она улучшалась на протяжении веков монгольских воинских достижений как путем устройства голубиных станций, так и в результате тщательного отбора в выводках летучих почтарей. Так образовалась эта порода, названная тайным словом «сарымхадур», главным смыслом существования которой стали перелеты с одной станции на другую и обратно. Птицы этой породы отличались даже от венценосных

голубей, не говоря уже о сизарях, увеличенным размахом крыльев, крепостью клюва и когтей, осмысленным взглядом правого ока, а также особой хохлатостью затылка. Известно было, что иные представители сарымхадуров для подкрепления сил во время перелетов не гнушались пожиранием воробьев и других малых птах, однако и они никогда не отклонялись от курса. В Будапеште монгольские интеллектуалы говорили нам, что весть о какой-нибудь великой победе в Европе – скажем, о взятии того же Будапешта – достигала Монголии всего за семь дней, и у нас нет никаких оснований им не верить. Можно себе представить радостные пиры монгольской знати с поеданием бараньих голов, с выпиванием котлов перебродившего кобыльего молока и с последующей отправкой поздравлений Батыю на крыльях все тех же сарымхадуров!

С развалом Золотой Орды сошла на нет и великая голубиная почта Монголии. В Российской империи о ней никто и понятия не имел, пока знатный путешественник генерал Афсиомский в начале елизаветинской эпохи не посетил с инспекцией крепость Тобольск. Там в одном казачьем укреплении показали ему уцелевшую семью сарымхадуров, всего не более ста хохлов, и рассказали об удивительных свойствах этих птиц. Вельможа, надо отдать ему должное, тут же сообразил, какую великую пользу сии существа могут оказать секретной службе империи, закупил весь клан по рублю за холку и перевез его в Петербург, не потеряв и десятой доли.

Так и возник наисекретнейший сверхсекрет российской спешной связи. Поговаривали, что именно за это нововведение Афсиомский и получил титул графа Рязанского, однако Ксенопонт Петропавлович не любил распространяться на эту тему.

Немалого труда стоило отучить голубей летать в Тобольск, однако и это оказалось по плечу «витязям незримых поприщ». Неясно только, кто кого научил устройству спешной связи: то ли чины тайной канцелярии птиц, то ли, наоборот, сами чины были научены наследственной памятью пернатых. Так или иначе, открыв для себя сладкую Европу, сарымхадуры позабыли о сибирской кислятине. Новое поколение птиц на службе Ея Величества быстро освоило небесные пунктиры, ведущие к чердакам российских посольств, а также к кораблям флота. Соответствующие органы европейских держав не могли взять в толк, каким образом толь отдаленный петербургский Двор толь быстро становился сведущ в австрийских, скажем, делах и как умудрялся он за дни доставлять своим жуликам циркуляры на Амстердамскую, предположим, биржу. Думали, не замешаны ли в этом деле пресловутые шарлатаны черной и цветной магии, не перекупила ли царица графа Сен-Жермена или Калиостро, и лишь ныне пропавшее черт знает куда прусское ведомство фон Курасса вроде бы смекнуло, что опасность нисходит с якобы безмятежных небес. Именно оттуда, из Пруссии, стали теперь иной раз подыматься тройками основательно вышколенные ястребки-перехватчики. Однако поди отыщи почтаря в бескрайнем небе!

Только вот недавно, в прошлый четверг или, вернее, в среду, подобная тройка узрела вдруг подлетающего к Данцигу ди гроссе фогель. Большой голубь спокойно снижался из весьма отдаленных высот к готическому граду и делал вид, что не замечает пристраивающихся ему в хвост ястребков. И, лишь когда те завершили свой маневр и подготовились к атаке, Егор резко взмыл, пропустил перехватчиков под себя, а потом рухнул на одного из них и в мгновение ока превратил идеального хищника в жалкую кучку перьев и отчаянно разваливающихся внутренних органов. Двум пруссакам удалось бежать, после чего главный сарымхадур приземлился на крышу магистратуры, где нашел заботливо приготовленный корм и надежный чердак.

Всю ночь он там преисполнялся чувством исполненного долга. Надо сказать, что сие было отличительной чертой сарымхадуров: после каждой

удачной операции они преисполнялись чувством исполненного долга, раздувались чуть ли не вдвое от своих и без того внушительных размеров, топотали и гукали. Руководство бывшей тайной канцелярии, ныне тайной экспедиции, высоко ценило своих пернатых агентов. Ходили слухи, что птицам даже присваивались воинские звания с соответствующим начислением средств для выхода в отставку. В частности, о Егоре в общине незримых поприщ иной раз говаривали как о «полковнике», что можно, впрочем, отнести и к доброму юмору, столь распространенному в этой среде.

Когда Фон-Фигин и Вертиго вошли в каюту, Егор как раз преисполнялся чувством исполненного долга, топотал и гукал на письменном столе капитана. Большущий и крупноглазый, он в этот момент напоминал даже и не голубя, а некоего мыслящего гамаюна. При виде барона он тут же прекратил топотание и замер как бы по стойке «смирно». В глазах его читалось нечто сродни обожанию.

«Поздравляю с прибытием, полковник», сказал ему Фон-Фигин. «Спасибо за службу! Сарым ялши баскунча!» Он сел в кресло, и Егор тут же перепрыгнул со стола к нему на колено.

Коммодор не верил своим глазам. Гордый Егор, который с большим недоверием позволил ему открыть почтовый мешочек на своей правой ноге, теперь доверительно и даже слегка ласкательно располагался на колене императорского посланника. Он поднял левую ногу и как бы указал на нее клювом. Фон-Фигин запустил руку в нижние перья и извлек на свет Божий еще один, по всей вероятности, наисекретнейший из секретных почтовых мешочков. Егор разразился торжествующей руладой. Фон-Фигин уверенно, словно это было для него самое привычное дело, вытащил из мешочка пилюлю, а из нее полоску основного мессажа, как предполагал Вертиго, от генерал-аншефа Никиты Панина.

С нелегким предчувствием барон Федор Августович Фон-Фигин держал в руках полоску пергамента. На нее надо было капнуть специальной химией из перстня на указательном пальце левой руки. Произошло что-то чрезвычайное, иначе не был бы послан сам Егор. Проявилось предательское ощущение сродни тому, что иной раз возникает, когда идешь в одиночку в предвечерний час по полутемным анфиладам дворца. В дальнем конце на пол-окна светит медный с неясной чеканкой невский закат. Неподвижные складки штор.

Он развернул полоску и нажал правым указательным на рубин. Полоска гласила: «Дорогой друг! Дебаты по равновесию стихий в самом разгаре. Академия». Он повернулся к капитану и сказал с преувеличенным спокойствием: «Вы оказались правы, Фома Андреевич. Пора возвращаться. Сколько времени вам нужно, чтобы подготовиться к походу?»

«Два дня», тут же ответствовал коммодор. «Мы сможем поднять паруса в последнюю ночь июля».

Какое чудо, думал Вертиго. Барон почесывает почтарю его гордый хохол. Суровый Егор ластится к барону, словно ко мне мой кот Шарлеман.

Между тем, а, может быть, и не между тем, а прямо по теме, невзирая ни на какие наши дела прямого повествования, в косвенном повествовании неподалеку от славного порта Свиное Мундо разыгрывалась одна из баталий одной из «вольтеровских войн», то ли первой, то ли второй, но скорее всего третьей.

Трехтысячная армия цвейганштальтского герцогства отбивала атаку польских крылатых гусар, соединившихся для сего действа с двумя полками мекленбургской пехоты и с заблудившейся батареей прусской артиллерии.

Любезнейший фатер наших очаровательных двойняшек-курфюрстиночек Магнус Пятый Великолепно-Самоотверженный лично командовал сражением. Битва сия могла бы стать славной страницей в истории его

пфальца, равно как и в летописи его личных деяний, не будь он до чрезвычайности озабочен финансовой стороной дела. На снаряжение армии ушла половина суммы, кою откатил ему (так тогда говорили в той части Европы) граф де Рязань за пользование островом Оттец. Каждый залп двух передовых батальонов обходился в 250 флоринов. За взятых напрокат в Шлезвиг-Гольштейне лошадей кавалерийского резерва приходилось в сутки платить... давайте подсчитаем: три с половиной экю с головы, умножить на 500 штук, получается 16406 в перерасчете на талеры. За каждую убитую тварь требуют 12 луидоров. Человеческие потери оцениваются в 45 гиней 16 марок поштучно. При таких расходах нет уверенности в том, что из российских щедрот удастся выкроить на наряды девочкам для сезона осенних балов. Новый для собственной персоны плащ с подкладкой и капюшоном, о коем так мечталось, придется вообще исключить из расходов.

Так рассуждал полководец, стоя на очень удачно выбранном холме, и приходил к выводу, что самым экономным в данном случае вариантом будет отступление. Между тем боевая ситуация складывалась решительно в его пользу. Польским гусарам пообломали крылья. Из прусской артиллерии две пушки позорно скособочились. Мекленбургская пехота смешалась. Осталось только вывести из-за рощи один резервный эскадрон и ударить во фланг, чтобы записать в анналы историческую победу, далее войти в Цукеркухен и... и платить за постой в сем не по чину наглом городишке.

В оной диспозиции Магнус командует трубачам играть отход на заранее приготовленные позиции. Передовые батальоны, пожимая плечами, начинают отступление. Второй ряд стрелков, думая, что курфюрст задумал какой-то хитрый маневр, поднимают фузеи для сокрушительного залпа. «Не стрелять!» кричит отчаявшийся курфюрст. У польских гусар вновь зашевелились крылья. Ядра прусской артиллерии ложаться вокруг цвейганштальтского шатра. Прямое попадание. Шатер горит. Упали флаги. Мекленбургская пехота с озверевшими черт знает по какой причине ликами штурмует холм. У наших начинается паника. Поляки уже в тылу, рубят направо и налево. Кабы не мешали крылья, давно бы уж захватили полководца. Кольцо все равно сжимается. Магнус стоит в исторической позе, готовый переломить шпагу, воображает близкий скандал: Мекленбургом правит дядя; Фридрих Великий – третьеродный кузен; в Польше тоже полно родственников. Завтра будут делить герцогство Грудерингов. Семья разорена. Не надо экономить в таких ситуациях. Если не расстреляют, сколько придется платить за выкуп из плена? Что скажет Ея Императорское Величество в Петербурге? Спасет ли Леопольдину-Валентину? Примет ли девочек?

Вдруг среди хаоса затрубили какие-то новые рожки. Кто это? Неужто шведы уже подоспели? Лишь две недели назад послал в Мальме посла Шпрехта с предложением воинского союза, и вот они уже здесь? Се не па поссибль! И, как раз по теме, незнакомый отряд кавалеристов в желтых с синими полосами накидках врубился в полчище мекленбургской пехоты и повернул ее вспять. «Слава Вольтеру! Экразон линфам! Ваше высочество, Магнус Великолепно-Неустрашимый, мы с вами! Держитесь! Во славу наших прекрасных дам, Клаудии и Фиоклы, вперед, чудо-богатыри!» На каком языке, незнакомом, но столь понятном, все это они восклицают? Ба, да ведь это же язык великого покровителя, французский с русским акцентом! Вуаля, да ведь среди них те самые два шевалье из свиты Вольтера, де Буало и де Террано. Ах, какие воины, да я отдам им своих дочерей, дабы сии девы стали блистательными дамами великой империи! Итак, мы спасены и немедленно в походном порядке уходим в родной пфальц, чтобы в надменном Цукеркухене не платить за постой!

В зале родового замка, где он очнулся от всего этого ужаса, слышались голоса и топот: Двор собирался в государственную поездку на остров Оттец, коим недавно приросла родная земля.

Между тем битва продолжалась уже без армии Грудерингов. Огромное пространство поморской земли превратилось в поле боя. То там, то тут над ухоженными полями поднимались беленькие облачка пушечных выстрелов. Трудно было понять, где и чьи располагаются позиции, но в целом было весьма живописно. По свежим урожаям картофеля и кукурузы скакали кучки всадников в разноцветных накидках. Иные из них сшибались лоб в лоб, иные на скаку задирались друг с другом. Щетинилась байонетами разрозненная пехота. Где-то вздергивали пленных на ветвях сливовых деревьев, где-то мирно возжигали костры. Иной хутор подвергался разбою, возле другого жители собирались поплясать вместе с солдатами. Множество лежащих тел, убитых, раненых или просто отдыхающих от ратного труда, яркими пятнами оживляли сию недописанную картину.

Коля Лесков в преотличном настроении скакал на своем Антр-Ну и распевал прицепившуюся откуда-то, то ли из прошлого, то ли из будущего, песенку:

Эй, Европа!
Веселые поля!
Идем всем скопом!
Трясутся вензеля!
В нас бьют, все мимо!
Маячит Роттердам,
Там ждет тебя, любимый,
Твоя мадам!

Окидывая взглядом пейзаж завершающейся битвы, он выискивал друга-брата: где ты, Мишаня? Надеюсь, цел?

В сей как раз момент в другом углу пейзажа сильный удар ядра выбросил Мишу Земскова из седла. Упав на спину, он тут же перевернулся и быстро отполз в кусты, как учили в корпусе. Где конь? Тпру мой любимый, где ты? «Я здесь», услышал он хриплый голос. «Миша, сынок, подползи поближе!» В двух шагах от него умирал его верный Пуркуа-Па. Из разорванного живота вываливались внутренности. Кровавые пузыри вырывались изо рта при каждом спазматическом вдохе и выдохе. Столь послушные минуту назад стройные ноги теперь лишь дергались, как конечности раздавленного таракана.

Михаил заметался, не зная, что делать. «Ничего уже не сделаешь», произнес конь. «Ничем не поможешь. Сядь рядом. Я постараюсь не дергаться и не запачкать тебя своими телесными жидкостями». Он положил своему всаднику тяжелую голову на сапог. Михаил запустил пальцы в его гриву, отводил челку, заглядывал в глаза. Сквозь предсмертную ярость тела глаза смотрели на него с мягким ночным смирением. Крупные зубы открывались во рту, но не от боли, а от душевной потуги улыбнуться ему на прощанье. Конь так и сказал: «Миша, пришел уж момент сказать мне тебе о своей преогромной любви. Я на шестнадцать человеческих лет моложе тебя, а видел в тебе малыша, своего жеребенка, сына любезного от одной из красавиц-кобыл. Я рад, что ты уцелел, но все же жалею тебя от предвиденья всей твоей муки. Лучше бы вместе, конечно, умчать в неведомый тварям простор, и все же...» Тут на глаза его натекла последняя влаза збавенья, и умре язкык.

Шевалье де Террано долго рыдал по жеребцу, и по пропавшему в жаре битвы возлюбленному Николя, и по его коню, и вообще по всем, кто пал иль был разорван на куски в «вольтеровских войнах», а когда отрыдался и вытер лицо большим платком с символами победы и щастья, вышитыми одной из принцесс цвейганштальских, вокруг уже не было никакого поля битвы и трупа коня. Журчал лишь пречистый ручей, и в нем по колена стоял, помахивая хвостом, верный Пуркуа-Па, а рядом мыл своего Антр-Ну веселый и сильный деми-фрер Николай с модной косой на затылке. Миша ожил и возопил «Ого-го!», имея в виду, что неплохо вернуться из тех братоубийственных сюрреалий в реалию реализма, где все пока живы.

Тут же гаденышем набежала плохая мыслишка, что конь все равно скоро погибнет (а так и случилось), но он и ее тут же отринул и снова вскричал «Ого-го!», скорейший возврат в столь манящий дворец «Дочки-Матери» воображая.

Помыв лошадей, шевалье отправились в соседний городок Цум Шукрутум, чтобы пообедать перед переправой на Оттец. В низком сводчатом зале местной корчмы подали им полный обед со шнапсом и с преотменнейшим пивом. В окне были видны их любезные кони, ублажавшие подтянутые свои животы местным питательным кормом. Уноши сильно жевали, до треска в заушинах, сильно глотая взахлеб освежающие напитки. Обменивались репликами, из которых не посвещенный читатель не понял бы ничего, если бы в следующем параграфе мы ничего ему не объяснили. Теперь объясняем.

Вся экспедиция прошедших суток прошла неудачно. Когда с отрядом желтых гусар по наводке пана Шпрехта-Пташка-Злотовскего они окружили гнездо Казака Эмиля и после жестокой пальбы взяли весь хутор в полон, оказалось, что злоумышленник еще вчера увезен был какими-то фельдъегерями в неизвестные отдаленности.

Без передышки тогда поскакали они к замку маркграфа Дирка Новица, где пребывал, по свидетельству Шпрехта, некий голштинец, коего надлежало доставить вживе на корабль Ея Величества посланника, барона Фон-Фигина. Донельзя смущенный этим визитом маркграф составил барону письмо, коим оповестил, что личность сия с удивительной деформацией черт только что отбыла в российской казенной карете в восточном направлении и перед отбытием попросила всю почту на его имя – а имя сие, господа, я не решаюсь произнести – отправить в Ригу, во дворец генерал-губернатора Броуна. Гнали часа полтора по указанной дороге, однако даже и следов оной кареты не обнаружили; дорога вся заросла папоротниками и лопухами. Только потом обнаружили, что и сам пан Шпрехт где-то отстал и стерся. Вот так полнейшей облискурацией и завершился поход. Отправили отряд восвояси, то есть в Свиное Мундо, и тут...

«Ты помнишь все, что дальше с нами произошло, Мишка?» с неожиданной хмуростью спросил Николай.

«Я помню все, что было со мною», проговорил Михаил, «и то, что было с тобою, когда я видел тебя. Однако я не уверен, что и ты помнишь все то, что помню я, даже когда я был пред твоими очами».

«С тобой ведь это не первый раз, не так ли, Миша?»

«Нет, Коля, далеко не первый раз, а вот тебя в этом я вижу впервые».

«Похоже, что и меня теперь затянуло в твое замороченное поле, Михаил, в то поле, в коем нам с тобой едва башки не отрубили».

«В котором недавно убит был мой конь Тпру», с горечью неизбывной пробормотал Михаил.

Николай содрогнулся. «В котором ты, мой брат, на моих глазах...»

«ЧТО? ГОВОРИ!»

«НЕТ! НЕ СКАЖУ!»

«Фрекен, битте, подайте нам еще одну пинту шнапсу!»

Длиннющая фрекен, явная дочь великана, с улыбкой поставила им на стол то, что просили. Миша приблизил свое лицо к лицу Николая.

«Скажи, как тебе кажется, ты еще жив?»

С кривой улыбкой Николай вопросил: «Там или здесь?»

«Здесь, ты жив?»

Николай сердито хлопнул перчатками по столу. «Конечно, я жив, но, когда я убиваю людей, мне кажется, что меня нет. Мне кажется иногда, что мы оба уже где-то в преддверии ада».

Миша опустил лицо в ладони, пробормотал из них: «Таково, быть может, свойство войны. Ведь мы с тобой еще слишком молоды для этого дела».

Они вдруг оба расплакались. Фрекен остолбенела.

«Давай быстро выпьем еще по стакану! Давай закусывай! Вот поросячьи ножки. Нет, не могу! Ведь он еще недавно был жив. Кто? Поросенок! Бери огурец! Да ведь он еще недавно зеленел на грядке! Чертов язык: он, она, оно, он хрюкал, она плавала, оно росло! Так и во французском: лё, ля, он! Только англичанам легче: ит – и все тут; ит ит, без всяких страданий!»

Тут оба расхохотались.

Отхохотавшись, подозвали фрекен, вытерли физиономии об ее клетчатый фартук.

«Мишка, я больше здесь не могу! Хочу домой!»

«Утешься, Колька! Вот завершится «кумпанейство», проводим Вольтера в Париж, это почти дом. А потом, глядишь, отзовут в Санкт-Петербург, пойдем на Васильевский остров к Нинон, помнишь ее? Получим чины, ордена, соберем однокашников, заварим пунш. Глядишь, и при дворе на балах начнем появляться. Ведь ты о них так мечтал. Коля, не нюнь!»

«Нет, мой Мишель, я не то имел в виду, говоря «домой». В губернию хочу, к маменьке под крыло. Хочу на веранде сидеть и в невтоническую трубу смотреть на Луну, а потом и на тебя с твоей маменькой сию трубу наводить».

«Я знаю, Коля, как там на Луне, ведь я там бывал».

«А я в этом, Миша, и не сомневался. Скажи мне, братец: как ты туда попал?»

«Ох, Коля, небось, уж досадил тебе изрядно своими сновидениями».

«А все ж таки, Миша, скажи! Не томи!»

«Знаешь, Коля, я прибыл туда в яйце. В оном яйце лежал, как сущий зародыш, набирал вес. Когда все затихло, открыл яйцо и вывел себя в Луну, как есть в кадетском мундире».

«Скажи мне, Миша, как там, все ли по-домашнему, все ли, как у нас?»

«Ах, Коля, там душа, бывает, поет. Подпрыгнешь и висишь, слегка перебирая ногами».

«Ах, Миша, как чудно: подпрыгнешь и висишь! Слегка перебираешь ногами! Пошто ты меня с собой ни разу не пригласишь?»

Тут оба они, забыв о горестях жизни, весело расхохотались. И с ними взялась хохотать любезнейшая великанша. Экие душки, смеялась она, в промежности мальчикам сиим слегка проникая. «Ах, майне кнабе, дождитесь меня, пока обслужу я вином обитателей верхних покоев!»

Вернувшись сверху, великанша, увы, мальчиков сих уже не застала. Лишь пыль завивалась вдали под копытами их гнедиге пферден. Опять упустила я счастье свое, взгрустнула девица. Солнце садилось. В небе зеленом улетевшим щастьишком поигрывала Луна.

В верхних покоях, тем временем, два сумрачных господина при свете пары свечей делили свой ужин. У одного из них середина лица была скрыта плотною маской. Поверх маски глаза посвечивали оловянной тоскою. Удивлял высокий готический лоб. Пониз маски рот мягко шамкал едой в аристократической манере. У второго господина нижняя часть лица была укрыта фальшивою рыжею бородою. Пищу он пожирал с откровенным пристрастьем. Левой рукой все подливал сотрапезнику шнапсу, да и себя недостатком благого напитка не обижая. Вкушая здоровую простонародную пищу, два сумрачных господина вели не ахти какой дружественный разговор в манере российских речений.

«А вы, шёрт бы вас побираль, милостецкий господарь, умельствуйте ли шпрехен унзере дойче шпрахе?» вопрошала маска. «Ильже лянг франсе?»

«Из язы́ков, окромя казацкого, знамо аще кайсацкий, ногайский, тартарский да вайнахский», ответствовала борода. «Ну, материть вашего брата, анкулёров и мьердов, понятное дело способствую по-солдатски».

«О дьё э ле Сан-Пер!» тяжело вздохнула маска. «Каким же фасоном хочите вы себя презентоваться ком Императо́р дё Рюсси? Публикум руска знайт свой Пьер Труа ком эвропски жантийом, неспа?»

Борода своей лапищей захватила знавшее лучшие времена жабо сотрапезника. «Давай по-понятному говори, жаба немецкая. Ежели ты Петра Елексеича единокровное внучье, должон по-понятному речь с народом всея Руси! Отвечай по-понятному, ильжа отрекайся!»

Оба были изрядно «на косаре», как в те времена чернь выражалась. Маска вдруг зарыдала, слезы обильно текли из-под маски на мягонький подбородок. «Майне руссише шпрахе все во дворце ферштейн, даже гвардейцы, которые по-французски. Только такие холопы, как вы, не понимайт ни шиша. Вы не понимайть ма шагрэн, рьен! Никто не понимайт мон шагрэн, ни Майстаат, ни сей тойфель фон Курасс, который вдруг диспарю сан лессе де трас, исчезает, фью, без следа, цузаммен сон шлосс проклятый, проклятый Шюрстин, се кошмар!»

Как всегда в течение сих чудовищных двух лет «апрэ лё катастроф», времени жутких унижений и испепеляющего страха, бессильной ярости, мощной ненависти, сменявшейся желанием превратиться в незаметного тараканчика, тяжелых пьяных снов с торжественными восхождениями на трон, завершающимися заползаниями под оный трон уж даже и не тараканчиком, а какой-то почти невидимой личинкой, как всегда в эти невыносимые годы во рту у него гадкой кашицей перемешивались все три его языка: родной дойч, язык столь любезной прусской муштры, волшебный франсэ, язык его пленительной горбуньи Елизаветы Воронцовой, а также столь презираемый ранее и столь желанный теперь русскише шпрахе, который, как ему иногда казалось, спасет его от позорного двуносия.

«Ну чё ты, чё ты! Кончай слюнявиться, ваше величество!» Казак Эмиль с удивлением обнаружил, что и сам всхлипывает. «Давай уж вместе войдем в Русску-Матку, соберем большое войско, я орду кайсын-кайсацкую высвищу, ты своих голштинцев отбарабанишь, свалим Катьку да два царства там учредим, твое северное, а мое южное. Так и будем по соседству сидеть, два Петра Третьих. Будем по-шутейному с тобой лаяться, кто настоящий-то император, а по-дельному всех держать в трепете; эхма, гуляй гульбой, воля народная!»

Он стал хлопать себя по заду и по ляжкам, пустился в пляс с дикарскими приседаниями и выбросом колен. Петр в истерике затопал каблуками ботфортов, сунул себе в рот горлышко бутылки, выдул шнапс до дна и тут же заснул, разметавшись вокруг неудобного кресла длинными конечностями и закинув главу. Казак Эмиль тогда кончил плясать, приблизился к императорской голове и осторожно снял с нее маску. Долгонько и внимательно он изучал удивительный казус императорского лица, два длинных и тощеньких свисающих набок носа. Потом почесал в затылке, развел руками, прости, мол, Петр Елексеич, вынул из обширных шаровар пистоль и приставил ствол к тому, что можно еще было назвать императорской переносицей.

Глава девятая,

постепенно превращающаяся в «драму идей» XVIII столетия, в ходе коей Вольтер воспоминает, как близок он был, вместе с Эмили дю Шатле, к открытию свойств «фложистона», меж тем как гадкий химик Видаль Карантце охотится на лягушек и мышей, а Миша Земсков продолжает удивлять все кумпанейство особенностями своей головы

При всем желании удержать сюжет в рамках сложившегося кумпанейства мы все-таки время от времени вынуждены представлять каких-то довольно нелепых и не ахти каких приятственных новичков; черт знает откуда они берутся. Таковым оказался достаточно длинный и порядочно молодой субъект по имени Видаль Карантце, обнаруженный нами утром 30 июля в парке острова Оттец в какой-нибудь сотне шагов от веранды, на которой отец европейского просвещения Вольтер поглощал свежий от-

вар какао. Не замечая слегка приподнятой над поверхностью парка веранды, пришелец воровато озирался в оба конца аллеи, между тем как меж полами его порядочно безобразного сюртука дугой катила вниз порядочно желтоватая струя и поднимался парок порядочно нагретого оной струею воздуха. Вот так иной раз получается в реалистической литературе: благоухает ароматами летняя культура ботаники, целомудренно светятся на солнце обнаженные мраморы увековеченных тел, поют наперебой птицы, красавицы звука, как вдруг, словно путаница в природе атомов, возникает стоящая порядочно сутуловатая фигура с раздвинутыми порядочно кривоватыми ногами в порядочно неопрятных чулках, в туфлях со скособоченными каблуками и порядочно ржавыми пряжками, да к тому же и с порядочно беспардонной манерою уринировать прямо в сердцевину благородной азалии.

Неужели ко мне, с досадой подумал Вольтер и не ошибся. Отряхнувшись и застегнувшись, пришелец проследовал дальше по аллее, подошел вплотную к веранде, нацепил на костистый нос очочки а ля Дидро и испустил вопль сродни тому, что вырывается у рыболова, когда из необъятного океана вытаскивается объемистая и весомая рыбина. За воплем проследовала и все объясняющая фраза:

«Вольтер, певучий лебедь мудрости, к ногам твоим припадает атеист Видаль Карантце, готовый служить тебе во всех твоих начинаниях!»

«Ну что ж, господин атеист», ответствовал вздыхая Вольтер (таковые атеистические поклонники были ему ахти как ведомы), «ваш приход к старому деисту в столь радостный утренний час поистине мог бы опровергнуть существование Божьей милости, однако для подтвержения присутствия оной в мироздании приглашаю вас на чашку какао. Поднимайтесь на веранду. Вытирайте ноги. Помойте руки в этой чаше. Берите салфетку. Нет, не для носа, для дланей. Садитесь. Кто вы и откуда, господин Видаль Карантце?»

Обладатель сего вельми странного имени был до чрезвычайности взволнован, слегка даже как бы задыхался. Сбивчиво повествовал странноватую историю своего возникновения на острове, тщательно охранямом российскою агентурою, и постоянно оглядывался по сторонам и за спину, словно искал, куда бы сплюнуть, и, не находя подходящего места, сглатывал излишки эмоциональной секреции. Он вырос на трудах Вольтера, Д'Аламбера и Дидро. Витал в облаках чистого разума. «Как это так», удивился Вольтер, «что это за заскорузлая фигура речи? Быть может, вам кажется, что чистый разум – это прачечная?» В восторге незваный гость совершил какое-то диковатое движение локтями и коленями, сродни начальному па пляски Святого Витта. «Как это сильно сказано, мой мэтр! Вот именно прачечная! Прачечная, где отмываются все эти грязные религиозные предрассудки и косные суеверия! Тра-та-та, разум – это прачечная, запомню навсегда! Родители, увы, разуму не внимали, насупротив, лишили всяческого содержания, прогнали за порог, как падшего, ха-ха, ангела. С тех пор прошел сквозь тернии борьбы, ведомый путеводною звездою Великой Энциклопедии и вашим, мой мэтр, победоносным кличем «Экразе Линфам!» Немало перенес ударов судьбы. Скажешь где-нибудь, что Бога нет, и тут же получаешь кружкой по голове».

«Позвольте, позвольте, а где все это?» спросил Вольтер.

«Что все это?» переспросил зарапортовавшийся незнакомец.

«Ну вот, скажем, ваше странное имя, вот эта прачечная, родители, тернии, удары судьбы; где это все происходило, или происходит, или будет происходить?» Он вдруг почувствовал, что веранду качнуло, словно под ней прошла волна. Не хотелось заглядывать в глаза Видалю Карантце, скорее хотелось отвлечься взглядом к цветущему каштану, однако он повернулся к гостю лицом к лицу. Глаза не особенно напоминали зеркало не существующей согласно атеизму души, лишь оловянным образом отсвечи-

вали под нахлобученным порядочно непорядочным паричком. Зато взирала прямо на него большая костяная улыбка.

«Да как же «где», мой мэтр? Как раз в местах, весьма вам близких. То в Лотарингии, в окрестностях Сирё, где вы проезжали в карете с вашей блистательной Эмили, то в разрушающемся и воспаряющем силой вашего вдохновения Лиссабоне, то возле королевского дворца в Потсдаме, где я проходил муштровку под звуки флейты, а то вот и в Копенгагене туманном, нынче так взволнованном слухами о вашем пребывании в сиих водах, а то и в самих водах, сквозь кои бежал мой челн, влекомый страстью увидеть вас, мой мэтр и пророк!»

Опять качнуло, еще и еще, и тут старик услышал в словах Карантце одновременно и наглую ложь, и поразительную щемящую правдивость. Вдруг на него от сей фигуры, ныне уже безо всякого смущения сидящей с чашкою какао в коротковатой руке, с длинной правой ногою, покачивающейся на неопределенном колене левой, дохнуло каким-то почти невыносимым химическим смрадом.

Так иной раз бывало в те незабвенно-счастливые времена, когда сиживали с любимой маркизой в совместной научной лаборатории замка Сирё. С легким шипением из тиглей высвобождался «фложистон». Вода и воздух мирно распадались на различные субстанции, спокойно опровергая аристотельскую концепцию четырех основных элементов бытия. Эмили своими длинными пальцами, казалось бы, созданными для перетасовки козырей, смешивает концентрированную серную кислоту с мелко нарубленным магнезиумом, нагревает эту смесь в реторте, собирает выделяющийся газ в пузырь, из коего под давлением предварительно удален воздух. Тогда он, поэт и филозоф, подносит к сему газу зажженную свечу, и газ возжигается с ослепительным пламенем. «Мы близки к истине, мой Вольтерчик», шептала Прекрасная Дама. Шипели тигли, булькали реторты, выделялись хлорин, барий, аммоний, тартарические кислоты, дух счастья, неуловимый, но почти уже уловленный смысл гармонии сближал их сердца, их колени, как вдруг на мгновение неизвестно откуда являлся вот точно такой же, почти невыносимый химический смрад. В те дни, однако, он тут же улетучивался. Нынче проникал даже и сквозь батистовый платок.

«Я нынче работаю химиком в Копенгагене», пояснил Видаль Карантце.

Качка веранды прекратилась. В глубине аллеи появились фигуры Мишеля и Николя, они приближались, два молодца с неизменными эспадронами на бедрах, однако в утреннем полунеглиже, то есть в коротких камзолах, с открытыми шеями и без напудренных гвардейских паричков. Экие все-таки шевалье, с облегчением подумал Вольтер. На таких вольтерьянцев, ей-ей, можно положиться, хоть их атеизм весьма вопросителен. Стоит только мигнуть, и тут же помогут Видалю Карантце освободить пока еще ничем не запятнанную веранду.

Впрочем, чего его гнать? Смрад испарился. Наглости как не бывало; быть может, просто показалась. Осталось одно весьма благоразумное смирение. С чашкой в руках гость уже стоял в углу веранды, под сгустком цветов и почек, и словно бы примеривался, как будет шаркать туфлею при знакомстве с кавалерами. Кстати, о благости и злости разума, подумал Вольтер, не потрясет ли такое деление весь фундамент основной концепции?

Еще издалека уноши стали расшаркиваться с преувеличенной, то есть слегка юмористической, галантностью. «Смеем доложить, что барон и генерал послали нас для сопровождения вашей светлости, вашего филозофического богдыханства к месту сбора всей высокочтимой кумпании». Прыгнули через пять ступенек на веранду и только тогда заметили шаткую фигуру незнакомца в тени плюща. Тот тут же начал пятиться и пома-

хивать смехотворной шляпенцией возле колен. Уноши немедля рассредоточились, то есть стали подходить к человеку один слева, другой справа. Стена замка за спиной незнакомца естественно отрезала возможность отступления с последующим бегством. В один момент Коле, впрочем, показалось, что нога незнакомца чуть ли не по колено ушла в стену, однако в то же мгновение здравый смысл наладил всю диспозицию.

«Друзья, знакомьтесь с химиком из Копенгагена», весело сказал Вольтер. «Только что прибыл на утлом челне и прямо к нашей сегодняшней филозофической дискуссии. Как вы догадываетесь, месье Видаль Карантце (при звуках этого имени офицеры переглянулись) придерживается самого свирепого химического атеизма, так что вам с вашей романтической метафизикой следует подготовиться к фехтованию».

Уноши раскланялись с необходимым политесом, после чего Миша, так чтобы Вольтер не заметил, но чтобы незнакомец не упустил, шепнул под ладонью другу: «Покушусь помыслить, что химик сей явился не из прохладного Копенгагена, а как раз из вельми жаркого места», на что Коля довольно громким русским шепотом ответствовал: «А я-то мыслил, что просто вор и тать подколодная». Видаль Карантце на подгибающихся нижних и с заламывающимися верхними стал приближаться к своему кумиру, чтобы оному выплакать в жилетку свою обиду на подобное недоверие, кое вроде не должно бытовать меж вольтерьянцами, но тут вошли Лоншан и Ваньер с чернильцами, альбомами и набором перьев, и все отправились.

Погода в тот предпоследний день июля, как мы уже отметили, благоухала, то есть вельми способствовала толерантным и углубленным беседам, поскольку ни одним своим флюидом не побуждала мыслей об Апокалипсисе. Впрочем (увы, без сего словца не может обойтись ни одна филозофическая повествовательность), сия удивительная безоблачность, как бы соединяющая Балтику со Средиземноморьем, не могла не напомнить и об испанской инквизиции с ее собственной картиной Судного дня. Христианские страсти, однако, остались за пределами Эрмитажного холма, на коем в тени слегка трепещущих каштанов собирались участники заключительной беседы Остзейского кумпанейства. То там, то сям в киароскуро светились нежнейшие мраморы Мельпомены, Эрато, Клио, словом, всех девяти муз Мусагетского хоровода; перечисляйте сами, почтенные читатели. Скорее уж напоминала сия диспозиция времена Юлиана Отступника, пытавшегося восстановить всеобъемлющее язычество.

С легким пощелкиваньем семидесятилетнего костяка Вольтер без труда поднимался к вершине холма. Остановился возле Терпсихоры, положил ей руку на благодатное колено, с лукавостью повернулся к спутникам. «Вспоминая старых схоластов, я иной раз пытаюсь их перефразировать и вопросить: сколько муз помещается на кончике иглы?» Химик Видаль Карантце сумрачно скрежетнул. «Кончик иглы бесконечно мал, на нем не поместится даже один-единственный атом, не говоря уже о каменной бабе». Никола Буало остановил малознакомого химиста жестким упором локтя. Мишель Террано как бы ненароком прощупал у подозрительного отвисший карман заскорузлого кафтанца. Там не оказалось ничего, кроме дохлого вороненка, который тут же улетел, быв извлечен на волю.

«Ну что за бесцеремонность?» притворно рассердился филозоф. «Где ваши изысканные манеры? Лучше отвечайте на мой вопрос, кавалеры!»

«По мне, чем больше муз на игле, тем лучше», ответствовал Буало.

Террано засмеялся. «Уверен, мэтр, что на кончике иглы может разместиться бесчисленный сонм муз».

«Да ведь их, мой мальчик, всего лишь девять», поправил его Вольтер.

«А вот в этом я не уверен», с притворством надулся офицер-телохранитель. Почему-то он не мог оторвать взгляда от большого уха Видаля Карантце; хотелось засунуть туда палец и произвести обчистку сей раковины

от излишков серы. «Девять муз – это только те, что названы древними, остальные в бесконечном числе витают в пространствах».

«Ну вот мы и начали наше филозофическое фехтование», весело констатировал старик и снял шляпу, отвечая на приветствия собравшихся на вершине Эрмитажного холма.

Главенствовал надо всем собранием, разумеется, пленипотенциарный посланник, барон Фон-Фигин. Похожий в сей утренний час на самого Мусагета, он стоял, опершись рукою о белоснежную колонну беседки. Грудь его дышала кипеньем кружев, а также и богатством сверкающих орденских заколок. Символом мужественности торчала в его крепких зубах аглицкая пеньковая трубка, от всего же остального, безупречно белого, колыхающегося, веяло неизгладимой женственностью эпохи. Что-то особенное сквозило сейчас в чертах его дерзостного лица: то ли готовился он взлететь навстречу снижающемуся лично к нему ангелу славы, то ли приглашал окружающих запомнить навсегда его сегодняшний образ, дескать, таким уйду вместе с веком. (Интересно отметить, что в обнаружившихся недавно дневниках этого таинственного деятеля екатерининской эпохи присутствует как раз эта самая фраза.)

Чуть ниже посланника, на ступенях беседки, стоял граф де Рязань, генерал Афсиомский Ксенопонт Петропавлович, преисполненный одновременно благодушного гостеприимства и чувства значительности исторического момента. Сахарные букли его парика привлекали внимание залетавших из поселка мух, что касаемо пчел, то они шарахались в стороны от его крепчайшего парфюмерного букета, ну а ежели речь зайдет о пудре, невольно придется вспомнить извечного соперника Ивана Ивановича Шувалова, якобы однажды изрекшего, что после встречи с Афсиомским хочется отряхнуться. Сам государственный муж в сии моменты мыслил совсем в других направлениях. Мда, мыслил он, все ш таки немало деяний осталось за плечами, вот именно за этими благородно округленными поверхностями, на коих въехала во дворец незабвенная цесаревна: и родные поля облагородил собственными потом и кровью, и сарымхадуров спас от вымирания на пользу отечественной тайной пошты, и по картографии азиатских дорог давно б уж стал академиком, естьли б не суть державной секретственности, и Вольтера-великого вот предоставил родной Империи под эгидой сильной дружественности, а вскоре и альтер эго явится, суровый Ксенофонт Василиск; заговорит тогда о нем все мыслящее пчеловодство, чур меня, чур, человечество!

Не будем далее перечислять всех уже ведомых нам протагонистов, членов экипажа и челяди, скажем лишь несколько весомых и почтительнейших слов по адресу высокородных и сиятельных персон, присоединившихся в это утро к Остзейскому кумпанейству. Его Сиятельное Высочество курфюрст Цвейг-Анштальта-и-Бреговины Магнус Пятый Великолепно-Самоотверженный, подрагивая вечно как бы слегка обиженным маленьким подбородочком, почтил своим присутствием базальтовые откосы острова Оттец. С должным высокомерием на правах самого высокого суверена он озирал собирающееся на холме кумпанейство, а сам подрагивал с сурьезной опаскою: как бы не обидели чины охраны. Ежели упрутся с вопросом, зачем пожаловал, скажу, что дочек-принцесс повидать, ну и заодно как бы, безо всяких унизительностей, перекинуться мыслительными замечаниями с этим как его, ну французом на В, вот именно с Вольтером (за которого, между прочим, сражаемся уже двенадцатую неделю во втором пространстве романа, рискуем жизнями и свободой, не говоря уже о щедрых, хоть и недостаточно щедрых, ассигнованиях Великоросской императрицы). Вот об этой сугубо жизненной причине визита, об ассигнованиях, надо будет как бы мимоходом упомянуть советнику Фон-Фигину, когда буду излагать оному величайшую верность троюродной кузине Софье Фредерике Августе, ставшей волею слепой судьбы владычицей восточной

империи; впрочем, о слепой судьбе ни слова. Ни слова также не будет изречено по поводу неотъемлемых прав Цвейг-Аншталь-та-и-Бреговины на сей ставший вдруг столь значительным явлением балтийского мира остров и на столь расцветшие под десницей курфюрста дворец и парк. Ни слова о правах, потому что они бесспорны! Вот так, упереть волевой подбородок в твердую руку и озирать собравшихся с благосклонной улыбчивостью, вот так!

Его Сиятельное Высочество, разумеется, прибыл в Доттеринк-Моттеринк не один, но в сопровождении Ее Сиятельного Высочества курфюрстины Леопольдины-Валентины-Святославовны, статной дамы, на щеках коей каждые четверть часа вспыхивала ее былая румяная краса. Еще недавно курфюрстина в такие моменты прикладывала к лицу ладони, но сейчас уже попривыкла и спокойно ждала, когда краса схлынет. Курфюрстина по всей северо-восточной Германии слыла персоной весьма просвещенной и даже как бы сторонницей эмансипации. Достаточно сказать, что половину своего дворцового бюджета она тратила не на ювелиров, а на выписку всевозможных парижских, лондонских и амстердамских вольнодумственных журналов и изданий. Собственно говоря, именно она, Леопольдина-Валентина, заставила своего супруга, изрядно поколоченного в деле при Цюкеркюхене, прийти в себя, то есть вернуться к реальности и отправиться на «наш неотъемлемый остров», чтобы приобщиться к дебатам кумпанейства. Подумай сам, майн либер Магнус, уж пятый день на нашем острове пребывает великий Вольтер, а мы еще не соизволили его навестить; боюсь, что наши дочери не поймут сего обскурантизма.

И вот она сидит в сей божественный день под сенью элегантнейшего Эрмитажа со своими любимыми шаловливыми двойняшками. «Ах, маман», щебечут Клаудия и Фиокла, «как же нам повезло с выбором наших августейших родителей! Вряд ли найдется во всей Европе, да, может быть, даже и в Китае, толь блистательная родительская чета, коя бы толь изрядно и вдумчиво понимала настроения уношества! Ах, как мы любим нашу возлюбленную мамочку и нашего рыцарски сурового и литературно великодушного папочку, и как мы им благодарны за предоставленные возможности по расширению кругозора! Да ведь не будь вас, так мы бы и остались дичками-принцессами, запертыми в замке княжества!»

Курфюрстина Леопольдина-Валентина сдержанно улыбается. «Боюсь, что без нас с папочкой не случились бы и сии дички-принцессы, мои милочки». Не вдумываясь в промелькнувшую филозофию, девочки покрывают маменькины мерцающие под балдахином щеки близнецовскими поцелуями. Ея Сиятельное Высочество смотрит на неотличимые облики своих дочерей: где Клаудия, где Фиокла, уже не разберешь. Раньше еще можно было разобраться с помощью родимого пятнышка, однако с возрастом оказались у обеих неотразимочек подобные шарманы под левыми ушками. Сначала подумала Ея Высочество, что одна из дочерей приклеила мушку, но при проверке ни у той, ни у другой пятнышко на палец не наслюнявалось.

«Ах, Ваши Высочества, дочки мои любезные», произнесла маман с неизбывной российской напевностью. «Да неужто вам так позволено вот так запросто подбегать и лобзать в ланиты самое воплощение Века Просвещения, мэтра де Вольтера?!»

«Маман, мы постоянно это делаем, и он ни разу не отстранился; напротив, поощряет. Однако обратите внимание, Ваше Сиятельное Высочество, каких победительных молодых офицеров прислала Вольтеру для охраны Ея Императорское Величество, наша любезнейшая троюродная тетушка Екатерина Вторая Алексеевна. Это Мишель и Николя, посмотрите, маман, как они хороши, ой, я не могу, и я не могу, нет, вы только посмотрите, нет, вы только посмотрите, как неотразимо они стоят, упершись руками в бедро с оружием!»

«Да ведь это же те самые, из «Золотого льва» уноши!» воскликнула курфюрстина, повернувшись в указанном направлении всем запылавшим былой красотою лицом.

«Вот именно». Девы потупились, и мать поняла: значит обе – в обоих, вопрос лишь в том – какая в кого? «К каким же домам принадлежат сии кавалеры?» вопросила владычица Цвейг-Анштальта-и-Бреговины. Вопрос о возможной влюбленности принцесс в людей нецарственного дворянства даже и в голову ей не пришел.

Сребристый звоночек избавил смутившихся девочек от нужды отвечать на толь натуральный вопрос августейшей маменьки. Граф Рязанский попросил внимания и, сделав несколько изящных па на мраморных плитах, представил собравшимся барона Фон-Фигина. Безукоризненный вельможа уже сидел за круглым столиком перед своим открытым альбумом, куда он время от времени вносил некоторые фразы для прочтения и толкования в Петербурге. У ноги его занял позицью корабельный пес Ньюф, доверительно положивший морду на советниковскую туфлю. Над ним мало кому заметная в листве каштана повисла большая птица, в коей внимательный читатель сможет узнать одного из секретных сарымхадуров, может быть, это был даже сам Егор. Большинству, то есть невнимательным читателям, он был попросту незаметен.

Взгляды, исполненные любопытства и нетерпения, были обращены на барона. Видаль Карантце старался не смотреть,чтобы не сжечь его у всех на глазах своей ненавистью. Вольтер уже забыл об этой химической докуке, поскольку атеист остался у него за спиною. Сам филозоф как главная персона ожидаемой дискуссии был выдвинут вперед и посажен в уютнейшее, пожалуй, даже слишком уютнейшее кресло, тем паче для персоны, склонной иной раз в задумчивости производить нежданные звуковые сигналы.

Итак, начинается филозофическая дискуссия, коя будет излагаться в виде излюбленного нашим центральным человеком жанра драматических диалогов. Впрочем, автор возьмет на себя смелость время от времени вторгаться с кое-какими параграфами своего излюбленного жанра укоснительного повествования.

Ф о н - Ф и г и н. Дамы и господа, без всякой связанности с нашими скромными побуждениями нынешние встречи взялись в газетах называть Остзейским кумпанейством. Появился интерес. Пожаловали гости. Высшую честь нам оказали нынче курфюрст и курфюрстина Цвейг-Анштальта-и-Бреговины Магнус Пятый и Леопольдина-Валентина-Святославовна. Добро пожаловать, Ваши Сиятельные Высочества! *(Машет платком.)*

На бастионе бухнула пушка; браво, пушкари, обоим по стакану тройного выборова шнапсу! На двух волторнах сыграно было сразу два гимна Цвейг-Анштальта-и-Бреговины; получилось неплохо. На башне, видной кое-где в просветах листвы, поднялись два флага, желто-зеленый и сине-белый. Магнус Пятый закашлялся и в конечном счете разрыдался. Родина выдвигалась в первый фрунт просвещенных монархий. Три дамы двора и их мужья, трое министров, скромно спели первый сплетенный куплет гимна, слов которого курфюрст не знал. Верная супруга кивнула рыцарю: вот видишь, я тебе говорила, признание грядет. Только принцессы кружились и махали гвардейцам с некоторой легкомысленностью, что вообще характерно для нынешнего уношества.

Б а р о н *(продолжает).* Наша нынешняя беседа будет посвящена, быть может, наиглавнейшей теме сего века, противустоянию религии и филозофии, или, как сей феномен иной раз определяется в просвещенных кругах Европы, противуречием между суеверием и чистым разумом. Огромное большинство российского населения, включая даже и высшие

сословия, не подозревает об этой борьбе. Православное христианство незыблемой стеною ограждает население от католического мира, а реформаторство нам даже и неведомо. Однако ж есть в Империи малая, но умственно вельми передовая кучка, коя жаждет слияния с мыслительными кругами Запада, чая в оном слиянии наиграндиознейшие выгоды реформ. К оной кучке относится и наша молодая Императрица Екатерина Алексеевна, знакомая и со Святейшим Августином, и с Томасом Аквинским, с Лютером и с Декартом, со Спинозой, Ньютоном и Монтескье, воспитанная на литературах Вольтера, Руссо, Дидро и Д'Аламбера. Недаром, нет, недаром, господа, дама сия слывет в европейских кругах одной из энциклопедистов. Как лицо, входящее в Ея ближайший круг и наделенное Ею полномочиями речь от Ея персоны, ныне я решаюсь заявить, что Государыня жаждет всемерного расширения российского горизонта. Она приглашает выдающиеся умы Европы осчастливить Санкт-Петербург своим присутствием, укрепить нашу Академию, возжечь на наших северных широтах очаги знаний и разума, толь характерные для салонов Парижа. Увы, далеко не всякий европейский ум незамедлительно устремляется в нашу столицу, и тому виною нередко оказываются наши слишком высокие широты *(на секунду прерывается и с удивительной теплотой улыбается Вольтеру, который в ответ незамедлительно делает не очень понятный, но до чрезвычайности изящный жест правой ладонью).* Наши порты, господа, замерзают едва ли не на полгода, а сама наша исключительная отдаленность даже дает иным скептикам возможность не считать нас частью Европы. И вот при всей нашей тяге к культурным очагам мы нередко ощущаем некое прозябание мысли. Многие нюансы мыслительного процесса оказываются за пределами наших горизонтов. Как вдруг происходит счастливейшее для нас соединение обстоятельств, и мы получаем в качестве собеседника никого иного, как самого великого Вольтера, благороднейшего и вдохновенного возжигателя идей Просвещения; прости меня, Вольтер, за сии суперлятивы! Позволь же мне теперь замолчать и стать твоим ревностным слушателем. Поверь, все, что ты сегодня нам скажешь об европейской философии, отзовется в российских умах. «Когито эрго сум», что я дерзну сегодня перевести, как «Слушаю Вольтера – значит, существую».

Откинув полы ослепительного кафтана, барон уселся прямо напротив Вольтера в ловко подставленное стуло. Меж ними на мягкой траве расположились, вытянув длинные ноги, кавалеры Буало и Террано. Вздув юбки пастельных тонов, на ту же траву опустились курфюрстиночки Цвейг-Аншталь-та-и-Бреговины; ясно, что тяга к познанию привела их в центр мизансцены, а вовсе не близость изящнейших офицеров. Так или иначе невольно произошло почти символическое соединение Запада и Востока. Пред тем как начать, Вольтер прикоснулся ладонями к девичьим макушкам.

В о л ь т е р *(начинает).* Ваши Сиятельные Высочества курфюрст и курфюрстина, друзья мои Фодор и Ксено, а также ты, виртуозный Одиссей современного флота, и вы, Кандиды секретнейших поручений, всадники чести, и ты, дева юности рода людского, воплотившаяся сразу в двух прекраснейших формах, и вы, дамы эскорта и господа! Все мы сейчас, как я понимаю, шлем наш восторг новой Авроре, озарившей сии берега, собравшей нас всех для обмена мыслями о прошлом, будущем и настоящем человеческой расы.

Что есть современная философия? Я попытаюсь вам представить мой собственный взгляд на сей предмет, так чудесно всколыхнувший прежде застойную мысль Европы. Прошу вас чувствовать себя совершенно свободно и ни на толику не смущаться, если возникнет идея или порыв прервать старого говоруна. Пытаясь обрести желанную формулу, мы можем

сказать, что филозофия – это рациональный взгляд на происхождение жизни, природы, человека, а также на судьбу названных феноменов и в целом Вселенной.

М и ш а. Включая и оную филозофию, не так ли, мой мэтр?

В о л ь т е р. Браво, Мишель! Ты поймал мою птицу! *(Продолжает.)* В течение веков в обществе доминировал религиозный концепт происхождения жизни, он поглощал все творческие силы человека. В конечном счете религия, в особенности католическое христианство, вступило в фазу зловещей деградации, обскурантизма, фанатизма и нетерпимости. Мифы христианства, поначалу исполненные почти неотразимой красоты и метафоричности, превратились в догмы и символы власти, что привело к людоедским преследованиям, убийствам, пыткам и к массовой резне. Достаточно вспомнить Крестовые походы, преследование альбигойцев, Варфоломеевскую ночь, убийство Генриха Четвертого, злодеяния драгун времен Ревокации, Святую Инквизицию.

В нашем веке в результате развития науки появились мыслящие люди, частично или полностью отрицающие религиозные мифы христианства, а иногда и всех прочих религий, иными словами, все попытки людей объяснить Бога и навязать свое объяснение другим как единственно верное. К числу этих мыслителей, прошу прощенья, я отношу и самого себя. Я не безбожник, я просто не могу объяснить Бога и отрицаю за другими смертными право на всевозможные догмы.

М и ш а *(пытается что-то сказать, однако молчит, потому что через его сапог перешагивает Видаль Карантце). ...*

В и д а л ь К а р а н т ц е. Не юлите, Вольтер! Скажите просто: Бога – нет!

В о л ь т е р. Нет, я этого не скажу, месье Карантце. Атеизм – это тоже своего рода религия, религия отрицания, дающая между прочим право на разрушение морали. В этом смысле нельзя не признать правоту консерваторов Франции, утверждающих, что атеизм разрушает мораль, единство общества и мощь государства. Другое дело состоит в том, что сия теза дает им почин для преследования всякого инакомыслия, свободной печати, SAPERE AUDE (дерзновенного знания) и общего просвещения.

Между тем просвещение невозможно остановить, это просто следующая ступень в развитии человечества, и бесконечно прав мой друг Д'Аламбер, первым дерзновенно назвавший наш век Веком Философии!

Любое событие начинается задолго до своего начала. Так ведь и сто лет до нас Фрэнсис Бэкон высказал веру не в Бога, а в Разум, призвал к освобождению мысли от мифов Библии и догм Церкви.

М и ш а *(опережает Видаля Карантце).* Иногда, мой мэтр, мне кажется, что Разум не свободен, что он лишь слуга желания, вообще наших прихотей.

В о л ь т е р. Ты меня поражаешь, мой мальчик! Быть может, ты знаком с трудами Хьюма? Ведь это он критиковал Разум. А Руссо и Дидро утверждают, что Желание более обосновано, чем Разум. Не спорю, Разум должен знать свои границы, хотя бы потому, что массами людей движут страсти и предрассудки. И все-таки я надеюсь, что придут времена, когда будет превалировать оптимизм, когда Разум распространится из салонов на массы.

Уверен, что, несмотря на столь частые в истории массовые злодеяния, все эти столетние войны, тридцатилетние войны, или, скажем, несмотря на только что закончившуюся Семилетнюю войну, человек все-таки сможет стряхнуть тяжесть ужасающей теологии, завоевать свободу сомнений и познаний, построить новую религию вокруг алтаря Разума, то есть открыть новую эру. Вот почему вся филозофическая община Европы испытывает сейчас нечто сродни какому-то благородному опьянению. : :

К у р ф ю р с т и н а Л е о п о л ь д и н а - В а л е н т и н а *(со вспыхнувшей красой на щеках просит слова).* Господин Вольтер, я пользуюсь вашим любезным приглашением к диалогу и осмелеваюсь задать вопрос. *(Чей-то шепот: «Боже, как она хороша!»)* Разве христианство противоречит разуму? *(Краса гаснет. Другой шепот: «Не нужно преувеличивать!»)* Ведь оно, как мне кажется, дает надежду, а это так важно в мире, где благо живет рядом с преступлением, красота рядом с грехом. И все-таки рядом с ужасом цветет надежда, не так ли?

В о л ь т е р. Увы, мадам, ужас преобладает. Человечество почему-то обречено на муки, на вечную расплату за какой-то сомнительный первородный грех; такова основная доктрина Церкви. Именно из этой угрозы вечных мук возрастает могущество Церкви – во всяком случае, во Франции, где она стала своего рода иноземной властью, утвердившей свое собственное крепостное право, свободу от налогообложений, тотальный контроль над образованием, жесточайшую цензуру и аксиому своей непогрешимости.

Пятьдесят тысяч аббатов ежедневно проделывают постыдную мистификацию, превращая хлеб и вино в тело и кровь Христовы. Повсюду раздаются лицемерные призывы к благочестию, а между тем христианский король открыто содержит сераль. Как отвечает на подобное лицемерие нация, в коей к середине столетия набралось уже полно образованных и неглупых людей? Циничной шуткой о том, что мадам Помпадур уготована роль Святой Девы.

В обществе растет число вольдумцев и атеистов. Увы, это сопровождается ростом скепсиса и цинизма. Врачи и адвокаты стали говорить: «К чему поститься, если не веришь в бессмертие души?» Атеисты в парижских кафе стали называть Бога MONSIEUR DE L'ÊTRE (Господин Быть).

Н и к о л я *(хохочет).* Господин Быть! А ведь это забавно! Пара шуток такого рода может опровергнуть всю теологию!

К а р а н т ц е *(скрежещет).* Еще смешнее будет, если сказать «Господин Не-Быть»!

К у р ф ю р с т и н о ч к и. Как все это странно!

В о л ь т е р. Франция перепрыгнула в Просвещение прямо из Ренессанса, минуя Реформаторство, которое еще было способно хотя бы отчасти оздоровить религию. Гугенотство у нас было подавлено жесточайшими способами. Теперь, нахватавшись цитат из Монтеня, Декарта, Спинозы и Монтескье, наше просвещенное общество с полным правом говорит о Моисее, Иисусе и Магомете как о трех самых вопиющих в истории самозванцах.

К а р а н т ц е *(прыгает, как исчадие ада, иногда прямо по расстеленным скатертям).* Так оно и есть! Чем быстрее мы забудем сии фикции, тем выше взорлим! *(Миша достает его носком сапога под самую трудекуль. Карантце катится с холма, как пустая жестяная тара.)* Террано, этого я тебе не прощу никогда! *(Пропадает из виду.)*

В о л ь т е р *(пожимает плечами).* Ниспровергатель опровергнут, и таким странным фасоном, а между тем перед филозофами стоит серьезнейшая тема дефиниции Разума как продукта опыта жизни, а не бессмертного дара невидимого Бога.

М и ш а. Вы это всерьез, мой мэтр? Всерьез думаете, что опыт жизни взялся сам по себе?

Б а р о н *(с напускной суровостью).* Подпоручик, сократитесь. Ваши подвиги еще не дают вам права на равенство с Вольтером.

В о л ь т е р. Здесь все равны, мой Фодор. Чем больше реплик, тем лучше. Сейчас мы переходим к еще более крутым поворотам. Мой молодой друг, создатель «Энциклопедии» Дени Дидро... не смейтесь, дети, я знаю, что вы встречали его в Париже, но ему всего пятьдесят один год... Однажды он выступил с сочинением «Письмо о слепых для пользы зрячим». Он говорил там о призыве Бэкона победить природу организован-

ным научным поиском. Дидро подчеркнул, что высшим инструментом Разума является эксперимент, сие наглядно подтверждается в развитии анатомии, физики, математики. Теперь коснемся чувственной и нравственной стороны дела. Не кажется ли тебе, Мишель, что добро, истина, красота и мораль могут легче возрастать на почве Разума, чем на религии, а стало быть, именно разум станет весомой альтернативой для создания общественного порядка?

Мишель молчит.

К у р ф ю р с т и н о ч к и. Иногда кажется, что без страстей не сможет во́зникнуть никакой возвышенности ни в морали, ни в искусстве. Без страстей все скатится до механики. Разум – сух.

В о л ь т е р. Вы говорите, детки мои, о разуме атеиста, однако ведущие умы современной филозофии являются скорее деистами, чем атеистами. Я аплодирую Руссо, когда он речет о примирении Разума с чувством. Дидро-деист верит в мыслящее божество. Механика, говорит он, объясняет материю и движение, но не жизнь и мысль. В то же время он, как и все мы, с презрением отвергает незыблемый ранее миф о том, что Бог был открыт в Библии. Подумайте сами, вы, собравшиеся на этом холме люди разных возрастов и сословий: что может быть большим абсурдом, чем повесть о том, как Бог заставил Бога умереть на кресте, чтобы смирить Божий гнев против мужчины и женщины, что согрешили четыре тысячи лет тому назад? Ну, новое поколение, согласны вы с тем, что это абсурд?

Н и к о л я. Без этого греха нам тут нечего было бы делать.

К у р ф ю р с т и н о ч к и. Без этого не родилась бы любовь.

М и ш а *(держась за голову).* Все это надо понимать иначе. Инаааче!

В о л ь т е р *(со жгучим интересом).* Расскажи нам, как?

Б а р о н. Вольтер, прошу тебя, продолжай свой рассказ. Кадетский корпус выступит позже.

В о л ь т е р. Если тысяча людей будет проклята ради спасения одной души, значит Дьявол выигрывает спор у Бога, не посылая своего сына на смерть.

К у р ф ю р с т и н о ч к и. А разве у Дьявола тоже есть дети?

(Откуда-то слышится гулкий жестяной хохот.)

М и ш а. Ради спасения одной души могут погибнуть и больше тысячи.

В о л ь т е р. Филозофы, в общем-то, считают, что нет более священного откровения, чем сама природа. С нашей помощью божество будет более достойно открываемой наукой Вселенной. ELARGISSEZ DIEU! Наука возвеличит Бога Вселенной.

М и ш а. О какой из Божьих Вселенных вы говорите, мой мэтр?

В е р т и г о. При всем моем уважении к молодому Террано, Вселенная может быть только в единственнос числе. Мы измеряем ее секстаном.

В о л ь т е р. Дидро задается весьма важным для познания Разума вопросом: узнает ли внезапно прозревший куб и сферу, которые он до этого привык познавать лишь ощупываньем?

М и ш а *(думает вслух).* Предположим, все усопли, пропали все глаза, уши, пальцы. Останется ли Вселенная?

В о л ь т е р. Очевидно, что верное и неверное идет не от Бога, а от наших сенсоров. Даже сама идея Бога должна быть познана. Слепому впору сказать: «Если вы хотите, чтобы я поверил в Бога, дайте мне его потрогать!»

К у р ф ю р с т и н о ч к и *(шепчут).* А зрячие разве видят Бога?

Г е н е р а л А ф с и о м с к и й *(прорезается внезапно, после знатной понюшки и прочиха, являет нежданную утонченную уведомленность).* Кто это сказал, Вольтер: «Важно отличать цикуту от петрушки, но не важно, верите ли вы в Бога?»

В о л ь т е р *(в восторге аплодирует старому другу).* Браво, Ксено, это сказал все тот же Дидро, набравшийся мудрости от Монтеня.

Б а р о н *(тоже очень доволен репликой генерала).* Вы видите, господа, каково наше войско?! Теперь спросите любого кадета, и он вам немедленно

повторит мотто Монтеня: «Для чего нам знать?» Однако прошу тебя продолжить, Вольтер! Ты меня однозначно заворожил, как выражаются «фадазайницы» Петербурга. Я чувствую себя так, как будто предо мною разыгрывается грандиозный спектакль.

В о л ь т е р *(с энергией потирает ладони, словно бы возжигая огонь).* Сейчас поговорим и о театре. И снова нам никуда не сбежать от Дидро, этого демона плодовитости. Речь пойдет о другом его исключительном труде под титлом «Письмо о глухонемых на пользу тем, кто говорит и слышит». В языке еще не было нужды, когда он начал развиваться на основе движений и жестов. Древнейшие искусства – это мимика и картина. Картина на скале – это жест, пытающийся одновременно рассказать о прошлом, настоящем и будущем. Перед вами великое значение эксперимента, господа! Отсюда уже возникла речь как ответ на человеческую потребность в символах!

Вот так развивались концепции энциклопедистов, однако сие совсем не означает, что все они шли в одном направлении. Великолепнейший Д'Аламбер, например, был ближе к метафизике, чем его ближайший сотрудник Дидро. Природа человека, говорил он, это непроницаемая тайна, когда вы пытаетесь осветить ее одним лишь рассудком. То же самое мы можем сказать и о сути Существа и о Том, кому мы обязаны этой сутью, а также о том типе поклонения, коего Он ждет от нас. Следовательно, нет ничего более необходимого для нас, чем открытие новой религии, каковая будет нас спасать при подходе к тупиковым вопросам. Здесь ваш покорный слуга полностью смыкается с блистательным Д'Аламбером. Наше столетие видит свое предназначение в изменении всех законов, оно же намекает человеческой расе, что Разум даст нам возможность подойти к подножию новых алтарей.

М и ш а. В таком случае «надо копать глубже», как говорили нам на уроках фортификации.

В о л ь т е р *(внимательно смотрит на него).* Пришла пора тебе высказаться откровенно, мой мальчик. Ответь нам: кто был тот, на чье лицо Господь простер дуновение жизни?

М и ш а. Это был Адам. Только не четыре тысячи, а несчетное число миллионов лет назад. Нам дают эту малую цифру просто для того, чтобы мы не слишком боялись. Между тем миллионы лет – это ничто в сравнении с тем, откуда пришел Адам, то есть из безвременья.

(Воцаряется общее волнение. Слышится внезапное рыдание сестер.)

К о л я. Мишаня не виноват, это просто башка у него такая.

К а р а н т ц е *(внезапно возникает цел и невредим, правда, с новыми повадками кота-мышелова).* Он виноват больше вас всех! Он – больший, чем все попы, враг нашей атеистической революции!

М и ш а. Перестань гонять мышей, не то проколю эспадроном!

В о л ь т е р *(не без удовольствия).* Опять заколебалась Вселенная Ньютона.

Б а р о н. Продолжай, Вольтер! Значит, ты считаешь, что философия Разума побеждает?

В о л ь т е р. Так нам казалось до 1757 года, однако после покушения на Людовика XV началась новая атака на вольнодумцев. Под давлением Церкви был принят новый закон о смертной казни за бунт против Бога и за покушение на нравственные устои. Никого из наших пока что не осудили, но в «Энциклопедии» произошел раскол. Под влиянием епископов королевский прокурор заявил, что в стране образовалось опасное общество материалистов, замысливших разрушить религию, распространить дух неповиновения и вызвать падение нравов. В марте 1759-го «Энциклопедия» была полностью запрещена. В тексте запрета была многозначная фраза: «Никакой пользой искусствам и наукам нельзя возместить ущерба, нанесенного религии». Дидро был под угрозой ареста. В Париже распространялся приписываемый ему анонимный меморандум, направленный

против правительства, парламента, иезуитов, янсеистов и даже против самого Христа и Богоматери. Дидро заявлял, что не имеет никакого отношения к этому площадному атеизму. Он был на грани нервного припадка. К счастью, Дольба удалось тайно увезти его в деревню.

Вдруг все странным образом повернулось в обратном направлении. Вернувшись в Париж, наш герой подписал договор на издание девяти дополнительных томов и получил двадцать пять тысяч ливров. Времена были уже не те, начиналось новое десятилетие, и темным силам трудно было зажать «шестидесятников». Оправившись от растерянности, авторы стали возвращаться в «Энциклопедию». Д'Аламбер, например, разродился великолепной статьей о математике. Стало известно, что мадам Помпадур развеселила короля статьей о порохе. В салонах Парижа возникало новое настроение дерзновенного вызова. Между тем внутренняя борьба за власть и влияние разразилась неожиданным катарсисом – произошло изгнание иезуитов. Должен сказать, что этой новой либерализацией мы обязаны блистательным дамам нашего века; именно они, просвещенные аристократки, показали обществу пример независимости. Что касается величайшей дамы века, вы знаете о ком я говорю, ну хотя бы догадываетесь, господа, не так ли, Фодор, я вижу, как засверкали твои глаза, уж ты-то, конечно, понимаешь, что я говорю о государыне Екатерине, так вот она в сентябре 1762-го, то есть всего лишь три месяца спустя после своего революционного восшествия на престол, предложила российскую государственную поддержку для завершения издания «Энциклопедии» в Санкт-Петербурге. Екатерина повлияла и на моего старого друга Фридриха Второго, увы, частенько теперь забывающего свои собственные высокодуховные максимы: такое же приглашение пришло и из Берлина. В результате французские власти официально разрешили печатать «Энциклопедию» в Париже. Мы победили!

На этой радостной ноте Кумпанейство объявило перерыв. Появились повара с переносными жаровнями и корзинами для пикников. Прямо на холме сервировали дежене. Хлопали пробки бутылок. Провозглашались тосты за «Энциклопедию».

Видаль Карантце потребовал три унции выпаренной воды. Оной не оказалось. Химик, посинев от неудовольствия, отошел к пруду и занялся чем-то сугубо личным. Генерал Афсиомский как бы между прочим приблизился к нему и застал его за престраннейшим занятием. Он набирал себе в карманы неизвестно откуда взявшихся мышек и лягушечек. Вдруг исчез без остатка, чтобы тут же вернуться с тремя унциями выпаренной воды, в коей растворялись мелкие твари.

Г е н е р а л. Вы по-руску, господин химик, вспомогательствуете?

К а р а н т ц е. Нихт, и убирайтесь подальше!

Г е н е р а л. Папиры имеешь?

К а р а н т ц е. Нихт, и протестую против насилия.

Г е н е р а л. Дай-ка я тебя ущипну. *(Не дожидаясь разрешения, ухватывает незваного гостя за неощутимую плоть.)*

К а р а н т ц е. Ну-с?

Г е н е р а л. Гнус. Личность установлена. Она отсутствует. Позднее распишешься на экспертизе. Не пытайся тут лохматиться с нечистой силой. Мы не шутим, при нужде разим на месте! *(Отходит в сторону и присоединяется к солидной части общества, трапезничающей за импровизированным столом.)*

Между тем несолидная, то есть молодая, часть общества совмещает дежене с игрой в воланы. Курфюрстиночки, дабы подразнить своих шевалье милейшими телодвижениями, флиртуют с молодыми офицерами флота. Присоединившийся к ним гнуснейший Карантце своими попытками сожрать летающие предметы превращает игры в сущий циркус.

К а р а н т ц е *(завихряет Мишу в клоунадном кошмаре).* Хочешь, открою секрет? Твой отступник Вольтер вместе с хитрым бароном под видом тайных бесед пользуют знатных бабенций.

М и ш а. Как мне прихлопнуть сего малярийного комара? *(Раскручивается в другую сторону.)*

За столом

Ф о н - Ф и г и н. Послушай, Вольтер, чтобы прочесть все ваше энциклопедическое издание, не знаю, хватит ли человеческой жизни! Чего там только нет: сталь, сельское хозяйствование, иглы, бронза, сверлильные машины, рубашки, чулки, обувь, хлеб, гравировка, чеканка, оружие, порох, булавки (подумать только, восемнадцать операций для изготовления единой штучки!), обзор филозофии, полотна, христианство, удавы, красота, игральные карты, нетерпимость, музыка... Да ведь естьли б наша цивилизация в одночасье погибла, ее бы можно было восстановить по этим двадцати восьми томам! Иной раз посещает мысль все забросить, удалиться в усадьбу и читать, читать.

В о л ь т е р *(хохочет).* Да тебе не хватит, мой милый Фодор, ни свечей, ни дневного света!

Ф о н - Ф и г и н. Однако послушай, ведь это же, признайся, чистейший монумент атеизма, не так ли?

В о л ь т е р. Идеологически это все-таки основано не на атеизме, а на деизме.

Ф о н - Ф и г и н. В этом смысле там много двусмысленностей. Иной раз мне казалось, что беспристрастное изложение какого-нибудь религиозного постулата через несколько страниц в попутной статье безжалостно опровергается. Иной раз видишь и другие уловки. Китайские и магометанские доктрины, похожие в чем-то на христианство, отвергаются как иррациональные. В статье «Священники» автор как бы говорит о языческих жрецах, склонных к суевериям, кровавым ритуалам, поднимающих свирепого, мстительного, неумолимого бога, однако же видно, что он имеет в виду современных клериков как врагов и гонителей свободной мысли.

В о л ь т е р. Ты знаешь, что все это создавалось под зорким оком цензуры. Все-таки я рад, что видна наша мечта заменить нынешнюю религию новой наукой. Так или иначе должно быть видно, что «школа» здесь противостоит схоластике, теологии и метафизическим туманностям сродни тем, что изрекает кавалер Террано. Как однажды высказался Дидро: «Разум для философа – это то же, что благодать для христианина».

К у р ф ю р с т М а г н у с. А какова цена полного собрания?

К у р ф ю р с т и н а Л е о п о л ь д и н а *(вспыхнув красою).* Какое это имеет значение?

В о л ь т е р. Ваши Высочества, для ваших дочерей я пришлю все тома совершенно бесплатно. Кто знает, любая из них может повторить судьбу Софьи Августы Цербстской и стать великой монархиней.

Ф о н - Ф и г и н. Ведь вы, философы, не против монархии?

В о л ь т е р. Мы жаждем объединить в одном лице владыку с философом, дабы получить совершенного суверена. Этот идеал мог воплотиться во Фридрихе, а сейчас, быть может, воплощается в Екатерине. Не она ли сказала, что «никто не получает от природы права властвовать над людьми»? Лигитимной власти необходимы границы. Государство не принадлежит князю, напротив, князь принадлежит государству. *(Поворачивается к Леопольдине-Валентине, с нежностью всматривается в ее мгновенно запылавшее лицо.)* Вы согласны, сударыня?

Л е о п о л ь д и н а *(начинает фразу с усилием, а завершает с вдохновением).* Разумеется, мэтр... Король-философ – это идеал власти!

В о л ь т е р. Браво! А ваш супруг? Вы согласны с курфюрстиной, Ваше Высочество?

М а г н у с *(бледнеет и немного желтеет, однако тоже преодолевает робость: таково обаяние Вольтера).* Ну, конечно, конечно... еще бы нет... Ведь об этом писал еще Платон.

Ф о н - Ф и г и н *(с внимательным прищуром).* Ах, вы читаете Платона, месье?!

М а г н у с. Платона читает Леопольдина, увы... *(Разводит руками.)* Я занимаюсь бухгалтерией бюджета *(еще раз разводит руками),* увы, концы не сходятся с концами.

П о д о ш е д ш и й А ф с и о м с к и й. Вам надо нанять хорошего министра финансов, Ваше Высочество. Не родственника.

Ф о н - Ф и г и н. Генерал прав. Мы пришлем вам министра финансов вместе с новым бюджетом. Цвейг-Аншталь это заслужил вместе с Бреговиной. Ну что ж, может быть, вернемся к философии, господа? Послушай, Вольтер, знаком ли ты с мадемуазель Леспиназ, толки о ней дошли и до нашего двора.

В о л ь т е р. Это неотразимое существо, она так же хороша, как и остра умом. Ее салон – самое подходящее место для дискуссий о природе человека. Меня туда как-то привез Д'Аламбер; он в нее влюблен. О чем там шла речь? Ну вот о чем: как англичане говорят, in the nutshell. Человек – это не машина, но он и не дух бестелесный. Тело и душа – это один организм, и они умирают вместе. Все живое разрушает само себя, кроме мира как такового. Ничто не выстоит, кроме времени.

М и ш а *(пробегающий за воланом).* Что есть время?

К у р ф ю р с т и н о ч к и *(отбивают волан).* Это тоже миф!

К а р а н т ц е. Вот ваше время! *(Проглатывает волан на лету.)*

В о л ь т е р. Природа нейтральна, она не делает различия между добром и злом, большим и малым, грешным и святым. Она больше заботится о виде, чем об индивидууме. Она дает индивидууму возможность созреть и воспроизвести себя, чтобы потом умереть. Она мудра в мириаде деталей, она дает индивидууму инстинкт жизни, но она и слепа, когда убивает, равно философа и глупца, одним языком огня, одним движением земной коры. Заботясь о виде, она может убить и весь вид, как произошло с динозаврами.

М и ш а *(верхом на Карантце изображает динозавра).* Динозавры, быть может, – это лишь ступень на пути Адама. Сто миллионов лет туда, сто миллионов обратно, какая разница?

В о л ь т е р. О Боже, ты слышишь?!

К а р а н т ц е. Вольтер, избавь меня от твоего Бога и от этого неуча!

В о л ь т е р. Мы никогда не познаем природу, хоть и передаем свои знания из поколения в поколение, никогда не поймем ее цель и смысл, если у нее имеются таковые.

Помню один вечер у Леспиназ: общество слегка валяло дурака. Дидро изображал гипнотизера, Д'Аламбер – засыпающего пациента, доктор Бордо (тоже влюбленный в Леспиназ) выступал в роли эксперта. Мой друг бормотал что-то не совсем связное: «Почему я – это тот, кто я есть? Бордо, если я возник, значит это действительно было неизбежно? Вольтер, как там твой Микрогигант на Сатурне? Может, у него не только тела, но и чувств больше, чем у нас? Если это так, он несчастен».

Бордо вдруг заговорил о рождающихся уродцах. Сторонники священного происхождения человека, могут ли они и на уродцев распространить свою доктрину?

Леспиназ расхохоталась. А что если мы все уродцы? Мужчина – это уродец женщины и наоборот?

Бордо ей подыграл: «В том смысле, что у одного сумка висит снаружи, а у другой заткнута внутрь, вы это имеете в виду?»

Д'Аламбер вдруг очнулся от гипноза: «Что за гадости, доктор, вы говорите барышне? Ведь она, хоть делит свое время на смех и слезы, все же остается ребенком, вы разве не видите?»

Бордо разразился весьма страстным монологом. Он сказал, что целомудрие – это неестественная потребность человека. Онанизм – гораздо более естественная потребность, поелику оный приносит необходимое высвобождение сжатых сосудиков. Природа не терпит ничего бесполезного. Хорошо бы провести эксперимент по смешению разных видов, чтобы возник человек-животное.

Леспиназ вопросила с невинным видом: «Нужно ли крестить такое существо?»

«Ты видела в зоо орангутана, похожего на Святого Иоанна, проповедующего в пустыне?» спросил доктор.

«Да», ответила мадмуазель.

«Ну так вот», с немыслимой серьезностью сказал ее друг, «кардинал де Полиньяк однажды предложил орангутану: «Заговори, и я тебя крещу!»

Тут вмешался Дидро: «Господа, нужно начать с классификации видов от инертной молекулы до растения, далее от растения к животному, потом к человеку... Форма – это маска... Потерянное звено, возможно, существует, но оно еще не поставлено на соответствующее место».

Вот вам картина парижского салона, мои северные друзья.

Б а р о н *(умирает от смеха).* А ты, мэтр, чем занимался во время этой толь оживленной беседы?

В о л ь т е р. Я поедал пирожные мадмуазель Леспиназ, они славились по всему Парижу. Ел и забавлялся: ведь все эти сравнительно со мною молодые люди были воспитаны на моих сочинениях, однако они говорили так, словно сами все придумали. Потом я забыл о пирожных и стал смотреть на бездонное предзакатное небо. Мне пришло в голову, что стоило бы пожертвовать жизнью, если бы можно было навсегда ликвидировать понятие Бога. Каждая мысль в этой среде, как всегда, опровергала предыдущую. А все-таки атеизм, подумал я, близок к суеверию, он так же инфантилен, как и все прочее. Я запутался в этой дьявольской философии, которую мой ум не может не одобрить, а сердце отвергает.

Ф о н - Ф и г и н. Когда ешь пирожное, сладко говорить и про небо, и про нёбо: русская фонетика их сближает.

В о л ь т е р. Благодарю за непонятный каламбур. Я отвлекся от своих мыслей, когда услышал резкий голос Дидро. Он расхаживал по залу, словно некий великанский дятел, и вещал, как это часто бывает в его случае, нечто манифестоподобное: «Христианская религия – это самая абсурдная и преступная догма! Самая неразумная, запутанная и темная! Наиболее склонная к расколам, схизме, ереси! Она разрушает общественный мир! Самая опасная для позитивного правителя! Ее иерархи постоянно провоцируют преследование свободы! Самая плоская, унылая, готическая в своих мрачных церемониях! Самая нетерпимая из всех!»

Я уже собрался было уходить, когда мне на колено, словно на одну из своих козеток, присела мадмуазель Леспиназ с двумя бокалами вина в руках. О Боже, нынешнее поколение рождает каких-то неповторимых женщин!

Ф о н - Ф и г и н. Это правда, что она больна чахоткой?

В о л ь т е р *(изумлен).* Да откуда тебе это ведомо, мой Фодор?

Ф о н - Ф и г и н. Этой женщиной интересуется императрица.

Полуденная трапеза и последовавшие за сим игры уже завершились. Общество рассаживалось вокруг стола и в ближайших пределах. Все жаждали продолжения бесед.

М и ш а. Как вы мыслите, господин коммодор, возможно ли существование железного корабля?

В е р т и г о. Помилуйте, подпоручик, какое же для оного корабля понадобится парусное вооружение?

М и ш а. А ежели без парусов? На котле?

В е р т и г о. Экое странное у вас воображение! Ведь выгорит же весь экипаж без остатку.

В о л ь т е р. Поговорим о беспорядочном мышлении. Происхождение порядка нужно еще открыть, однако беспорядок – это реальность. Держа сию максиму в уме, осмелюсь всему обществу предложить несколько тем для размышлений... Ежели Бог не существует, то следует ли нам его изобрести, ибо без высшего существа с его интеллектом и справедливостью жизнь с ее тайнами и несчастьями будет невыносима.

М и ш а. Бог – это не существо, мой мэтр.

В о л ь т е р. Что же это, мой друг?

М и ш а. Существо – это сущее в теле, Бог – не сущ, хоть и может являться во времени, чтобы ободрить сущих, открыть им свет.

В о л ь т е р. Мы с Мишелем никак не можем друг друга сбить с толку, и потому я просто предлагаю следующую тему. Бог – это часовщик вселенной? Все движется, как в механизме? Чудес нет? Может ли свободная воля нарушить механизм?

К а р а н т ц е. Никакого чуссовщукккка нет. Мекханннианнизм движжет сам по себе. Ньютон открыл грэвввитуассцию, этого достаточно, чтобы понять: неоткрытое будет открыто. *(Его тошнит.)*

В о л ь т е р. Отправимся дальше. Посмотрим на тезисы атеиста. Душа – это просто жизнь тела, она умирает вместе с ним. Мыслящий человек не нуждается в религии для поддержания морали. Он не ждет ни наград, ни наказаний после смерти. Согласны, месье Карантце?

Химик не отвечает, поелику изо рта у него вырастает большая прозрачная колбаса.

К у р ф ю р с т и н о ч к и. Природа – это круговорот воли к жизни, но есть нечто, что не вписывается в это колесо.

В о л ь т е р. Что же?

К у р ф ю р с т и н о ч к и. Что-то восторженное. Трагедийное. Любовь. Жалость ко всем и всему. Какая-то готовность к чему-то, знаете ли, сокровенному. Какая-то восходящая идея.

В о л ь т е р. Это что, по Декарту? Боже, где я? Что это за юношество? Они все знают! Или о чем-то догадываются? Позвольте мне, ваши прелестные высочества, предложить следующий вопрос. Правда ли, что человеком движут всего шесть страстей: восхищение, любовь, ненависть, желание или аппетит, счастье, печаль.

К у р ф ю р с т и н о ч к и. Есть и седьмая, когда жалеешь всех, пусть даже малых птах, как самое себя.

Г е н е р а л *(опершись на Музу Клио)*. Милостивые государи, позвольте уж и российскому Марко Поло слегка вмешаться. Вот тут некие малопочтенные рекли, что чудес не бывает, а я как раз за обшлагом всегда ношу цитату Спинозы: «Чудес не бывает, поскольку Бог не может нарушить свой собственный порядок».

Н и к о л а й. Позволь, Гран-Пер, чудес у нас в избытке. Шагни в сторону – и весь в чудеса влипнешь. Не всякая лошадь пронесет. Подверждаешь, Мишель?

В о л ь т е р. Я могу не верить, что носы сделаны, как удобные мостики для очков, однако я убежден, что они сделаны для понюшки. Кто оспорит?

М и ш а. С носами все обстоит непросто. Это орган тревоги. Он норовит сбежать. Тревожит лунатиков. Говорят, здесь бродит по кнайпам один такой с двумя носами. Во всяком случае, мы пытались его догнать. Ушел.

В о л ь т е р. Однако утверждать, что глаз сделан не для зрения, ухо не для слуха, желудок не для переваривания пищи, – разве это не чудовищный абсурд?

М и ш а. Желудок – это отец тоски, ухо сделано для серьги, глаза для выражения эмоций – разве сие абсурд?

Начинается ветер. Коммодор внимательно следит за верхушками деревьев. Обмениваюся взглядами с бароном.

В о л ь т е р. Если Бог создал человека по своему образу и подобию, значит, мы хорошо ему заплатили за это, создав себе Бога по своему подобию... то есть как существо зла.

К о р а б е л ь н ы й с в я щ е н н и к, о т е ц Е в с т а ф и й *(ему переводит мичман Фукс).* Он все-таки вдул в нас струю Святого Духа. В море это особенно чувствуется.

В о л ь т е р. Вы правы, ваше преподобие. Вот почему, если все подсчитать и взвесить, я думаю, что гораздо больше будет радости, чем горечи в этой жизни. Я не верю, что человек зол по природе. У него есть врожденное чувство справедливости, с которым он приходит в мир. Все люди отрицают отцеубийство или братоубийство. Фридрих Прусский в одном письме ко мне назвал это LA LOI NATURELLE, которому человек не может не подчиняться. Иногда мне кажется, что каждый шаг каждого человека полон грандиозного смысла. Господь посылает каждому поколению некоторые камешки, чтобы вставить в угол стены. Но иногда все рушится в бессмысленном и жадном вихре.

Отчаяние охватило меня, когда я узнал о том, что первого ноября 1755 года в День Всех Святых в Лиссабоне в течение шести минут землетрясение уничтожило тридцать церквей и тысячу домов, убив пятнадцать тысяч людей и столько же смертельно ранив. Почему это случилось в самом католическом граде в час, когда все набожные люди были на мессе? И почему уцелел дом самого ярого гонителя иезуитов?

Малагрид объяснял землетрясение Божьим наказанием за пороки, но ведь не только грешники были в церквях. Мусульмане объясняли это возмездием Аллаха за гонения Инквизиции, однако в то утро погибла и мечеть Аль-Мансур в Рабате. Протестанты обвиняли католиков, но в том же году в Бостоне от землетрясения погибло полторы тысячи домов.

Епископ Уесли заявил: «Моральной причиной землетрясений является проклятье первородного греха».То есть в том смысле, что мы все телесные, от того и гибнем. Я не мог примириться с этим, потому что сия максима опровергала мою веру в справедливого Бога. С другой стороны, злодеяние природы ставило под сомнение максимы философов, коих я уважал, в частности, то, что сказал Лейбниц: «Наш мир – это лучший из возможных миров», а также изречение Александера Поупа, WHATEVER IS, IS RIGHT, а также его же вопиющую мысль: «Все злостные частности – это универсальное добро». Тогда я и написал поэму «О ЛИССАБОНСКОЙ КАТАСТРОФЕ, или Проверка аксиомы «все хорошо».

О, жалкое пристанище, бедствующая земля!
Страшная почва смертного человечества!
Где ты, хозяин всех страждущих,
И те мудрецы, что талдычат «все хорошо»?
Придите поразмыслить на оскаленных руинах,
Увидите клочки и пепел нашей расы,
Груды детей и женщин, сцепившихся в общей погибели,
И члены, коих уже не опознать.
Десятки тысяч земля, не моргнув, пожрала
И кровоточащих оставила умирать,
С мольбою о помощи завершать
Их плачевные дни в круговороте зла.
И в этой зловещей агонии на равнодушной планете
Над пеплом, и дымом, и над языками огня
Вы произносите мудрость о вечных законах,
О том, что Бог не отделяет свободных и добрых
От массы жертв, и подведете итоги:
«Бог отомщен их смертями за первородный проступок»?

Вольтер изнурен своим чтением. Все молчат. Время почему-то, не дозрев до заката, померкло. Мать и дочери тихо плачут. Гран-Пер держит тяжелые руки на плечах сыновей. Карантце вытаскивает из уха мягкую, как шелк, змейку. Барон ободряет поэта сияющим взором империи: дескать, в оной наше спасение.

В о л ь т е р *(еле слышно, но с нарастающей силой).* Что далее было в этих стихах или поблизости? Лиссабон умирает, Париж танцует. Кто более грешен? Могу ли я любить природу, любить человечество, если я вижу, как вращается порочный круг злой воли к жизни? Стервятник вцепляется в жертву, ликует, ея пожирая, орел покрывает стервятника, человек убивает орла, потом и сам погибает на поле брани и становится пищей стервятника. Так весь бренный мир стонет в круговороте страданий и смерти. И в этом фатальном хаосе вы находите счастье, мистер Поуп? Смертный, как все, вы восклицаете: ALL IS WELL?! Давайте уж лучше, признаемся, что по земле шагает Зло.

Бог посылает Сына, чтобы спасти человечество, но все остается по-прежнему, несмотря на Жертву. Самый проницательный ум не ведает истины. Книга судьбы от нас скрыта. Человек – это незнакомец для самого себя. Что есть я? Где я? Откуда взялся? Куда иду? Наши атомы на куче грязи поглощаются смертью, несмотря на то что мы устремляемся в бесконечность и измеряем небеса. Говорят, что только эпилептики испытывают неуловимый момент познания, однако, вернувшись из припадка, они не помнят ничего.

Сто лет назад Паскаль завершил свою жизнь нотой отчаяния: давайте сдадимся христианской вере, лишь она дает надежду. Траурная нота завершает и поэму о Лиссабоне: «QUE FAUT-IL, O MORTELS? MORTELS, IL FAUT SOUFFRIR, / SE SOUMETTRE EN SILENCE, ADORER, ET MOURIR».

Вольтер замолчал и скрестил руки на груди, как бы показывая, что он завершает жестикуляцию, а вместе с ней и все свое выступление на сегодняшнюю тему. Он сидел, подняв свое старое, но просиявшее детством лицо к небесам, в которых снова стояло зрелое солнце предпоследнего июльского дня. Все вокруг тоже молчали. Иные лица были влажны – то ли от пессимизма, то ли от жары. Женщины семейства Грудерингов открыто плакали, струились. Усищи фон-фигинских унтеров повисли мокрыми тряпочками. На лице самого барона было написано такое напряжение, словно он пытался сдвинуть с места цельную Царь-пушку Третьего Рима. Войско империи в лице генерала, подпоручиков, коммодора и мичманов демонстрировало трижды усиленную в этот момент верность присяге.

Б а р о н *(прерывает молчание).* Я слышал, Вольтер, что эта твоя поэма потрясла не только ортодоксов, но и филозофов. Ее безнадежность изгнала ветер из их парусов. Правда ли, что существуют разные версии концовки?

В о л ь т е р *(улыбается).* Это правда. Есть версия, в коей имееся двадцать девять дополнительных строк, а также иная, всего лишь с одним добавленным словом. Прошу вас, господа, кто может назвать это слово?

К а р а н т ц е *(пытаясь заменить собою фигуру Музы Клио).* ECRASEZ!

К у р ф ю р с т и н а и о б е к у р ф ю р с т и н о ч к и *(тройным шепотом, то есть достаточно громко).* ESPERER.

В о л ь т е р. Благодарю вас, Ваши Высочества. Я счастлив, что именно вы произнесли сие слово. Вот именно по поводу этого слова у нас тогда возникла переписка с Жан-Жаком Руссо. Он считал, что все человеческие беды вызваны человеческими ошибками. Лиссабон – это наказание за то, что отвернулись от природной сути ради толчеи городов. В разбросанных хуторах было бы меньше жертв. Мы должны верить в Божью благодать, писал он мне. Это единственная альтернатива самоубийственному

пессимизму. Вслед за Лейбницем с его «монадами» мы должны верить, что если Бог сотворил мир, все в нем в конечном счете должно быть правильным.

Как ни странно, я в конечном счете пришел к миру с самим собой. В «Кандиде» вы опять увидите неожиданно оптимистическую концовку. MAIS IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDEN. О эти концовки, они нередко разоблачают наивных авторов и ставят в тупик умудренных читателей. *(Он встает из-за стола и начинает прогуливаться по мраморным плитам в аляповатом интерьере чрезмерного скопления статуй.)* Прошу прощенья, господа, у меня затекла задница.

Б а р о н. Существует ли клуб религиозных интеллектуалов?

В о л ь т е р *(улыбается)*. Тебе нужна не информация, а мой ответ. Есть много острых умов среди этих людей. Аббэ Гуше однажды произнес великолепную фразу в ответ на статью о рыбах в «Энциклопедии»: «Если люди были когда-то рыбами, тогда существует только два варианта: либо у людей нет бессмертной души, либо у рыб она есть». Все наши были в восторге. Антифилозофы, между прочим, весьма оживляют нашу борьбу. Иные из них кусают до крови. Таков, например, Бертье. *(Останавливается и смотрит через плечо на барона; думает вслух.)* Сказать ли ему о том, как этот Гийом Франсуа Бертье оценил мою пьесу LA PUCELLE ? «Никогда еще ад не извергал больше смерти, чумы, похотливости, жадно демонстрируя самые похабные картины, базарный язык, подлейшую буффонаду и вонь». Нет, не скажу. Он и так знает.

Б а р о н *(опустив глаза)*. Кажется, была какая-то сатира под названием «Филозофы» года три-четыре назад?

В о л ь т е р. Фодор, не притворяйся! Ты читал эту сатиру Палиссо, а может быть, и смотрел ее в Театре-Франсе. Это был праздник для всех консерваторов и прежде всего для их главаря Фрерона. Я послал ему эпиграмму, которая – по вине почты, конечно, – разошлась по всему Парижу.

Змея одна куси Фрерона
И сдохла тут же от евона.

Между прочим, этот гад и обжора обладает уникальным литературным вкусом.

Б а р о н. Вольтер, тебе не кажется, что Европа чревата какой-то монструозной революцией, в коей сгорят все наши надежды?

В о л ь т е р *(отходит в сторону, думает вслух)*. Сказать ли ему о недавних кошмарах, когда перед тобой протекают куски безобразно перемешанного во времени и пространстве эпоса, бессмысленных злодеяний, побоищ, пожарищ, массового разложения, когда все это озарено какой-то дьявольской усмешкой, да к тому же еще и связано столь неправедно с твоим собственным именем? *(Поворачивается к барону.)* Ах, мой Фодор, с твоей-то прозорливостью ты, конечно, понимаешь, что философы предчувствуют революцию. Ведь главная битва нашего века, столкновение философов и теологов, близка к завершению, и, как ни странно, в нашу пользу. Возникает поколение без веры в Христа. Оно не боится возмездия за содеянное. Мы надеемся, что победит Разум, но мы не уверены в этом. Могут ли государства уцелеть без религии? Мы надеемся, что правители преисполнятся философских идей. Атеисты могут быть не менее нравственны, чем верующие. Человек – это рациональное животное. Благоденствие нового мира может стоять на Разуме.

Однако не прав ли наш Мишель, когда без всяких апелляций заявляет, что Разум может стать проституткой безнравственного желания? Увы, я тоже не верю в разумность эгоизма, и потому меня страшит атеистическая революция.

Б а р о н Ф о н - Ф и г и н *(глубоко взволнован)*. Как я понимаю, Вольтер, приходят времена прекословия и разноречия. Христианские чудеса уподобляются греческой мифологии. Слово «дьявол» стало просто обиходным

ругательством. «Ад» изображают площадные кумедианты. «Небеса» вытесняются астрономией. И все-таки, мой мэтр, мы не можем отрицать, что ваше движение, твоя, мой Вольтер, «революция духа» привели к большей терпимости. Под прямым твоим влиянием гугенотов оставили в покое. Даже парламент Тулузы призвал любить всех людей как братьев. Без филозофов у нас было бы по три Варфоломеевских ночи в каждом столетии.

В о л ь т е р. Боюсь, что за этим дело не станет. И все же... *(На несколько секунд он застывает в каменной задумчивости; потом встряхивается и раскланивается перед публикой, словно в театре.)* Теперь я вас покидаю, друзья мои, и предлагаю встретиться вновь, когда первые изумруды высыпят на небесный свод то ли под властью невтонического притяжения, то ли по воле арабских звездочетов. Итак, сойдемся снова и разыграем какую-нибудь итальянскую кумедию. Прошу меня не сопровождать.

И он отправился по дорожке прочь свой удивительной слегка подпрыгивающей походкой. Оставшимся оставалось только гадать, о чем сейчас думает сей великий человек, гордость Франции и Европы. Один лишь Лоншан, только что поставивший кляксоподобную точку в своей скорописи, знает, что его патрон мечтает посидеть на горшке с каким-нибудь листком из последней тысячи писем.

Глава десятая,

совпадающая с предпоследней ночью июля 1764 года, иначе с завершением Остзейского кумпанейства; звучат виолы и саксонские гнутые кларнеты; все перепуталось в замке и в парке; и сладко повторять: Россия, Запад, Бесконечность; ночные откровения и утреннее изменение пейзажа

Все обитатели замка Доттеринк-Моттеринк, а также и гости Остзейского кумпанейства, явившиеся на сии не ахти какие отдаленные бреги в связи с описанной выше филозофической оказией, к вечеру предпоследнего дня июля 1764 года пребывали в особливо приподнятом настроении. Каждый понимал историческую знатность события и гордился своим участием в оном. Эва, сам Вольтер, гений всеевропский, диалогизирует через личного посланника Императрицы с державою всея Руси! Каждый преисполнился личного достоинства, и, как ни странно, возжегся людскою лаской к другому, будто бы с этого дня и в самом деле возникло своего рода кумпанейство, общество вольтерьянцев и вольтерьянок.

И даже личность порядочно возмутительная и в равной степени отверженная, пресловутый псевдохимик якобы из Копенгагена, а на самом деле, очевидно, из затхлых топей человеческой экзистанции, получил по приказу генерала Афсиомского отдельный столик на террасе, куда ему принесли ужин, судок с супом и кассероль с битками по-береговински. Задумчиво взирая на кружащихся чаек, на озабоченных к этому часу ястребков и цапель, а также на уже появляющихся в вечерних ажурных туалетах с не менее ажурными парасолями – это при закатном-то освещении! – дам, сей вольнодумец съел половничек, ложку, вилку и нож, откусил витые ручки судка и кассероли и не притронулся к содержимому кулинарных сосудов.

За сим занятием он был замечен группой прогуливающихся, весьма оживленных и расфуфыренных гостей, в которой, конечно, доминировали дамы цвейг-аншталтского-и-береговинского двора, одетые не только по моде, но и с некоторым вольтерьянским отклонением в духе сего вечера: ну, скажем, с энциклопедической накидкой на плечах или в шляпе, изображающей круги Сатурна, одна даже в турецких шаривари, в свое время захваченных ея ныне престарелым мужем в серале Великого Визиря Задунай-

ского. Что касается жантильомов, главным персонажем тут фигурировал не кто иной, как коммодор флота Ея Императорского Величества Фома Андреевич Вертиго; прежней суровости, свойственной морским бриттам, как ни бывало. Фома Андреевич вообще в ходе этой своей стоянки, что называется, расцвел, приобрел кое-какой светский лоск и даже стал потреблять некий многозначительно-изячный парфюм вместо прежнего обиходного спиритуозного настоя чебреца с острова Шипр, коим ранее удобрял подмышечные клюзы. Тому причиной, разумеется, были дружеские отношения, возникшие у морского волка с обеими шапероншами принцесс. В этот предпоследний день июля коммодор представлял фигуру едва ли отразимую, в своем парадном белом с зелеными обшлагами мундире, расшитом золотом по левому плечу, и в шляпе-трикорн с плюмажем. Прогуливая своих дам по краю огромной террасы, он производил округлые жесты своими дланями и перемежал французские комплименты с аглицкими анекдотами. Лишь изредка он бросал острые взгляды на стоящий в розоватой предзакатной бухте NULLE ME TANGERE, все реи которого были полны матросов, готовящих корабль к тайному выходу в море.

«Посмотрите на этого престраннейшего господина», сказала одна из дам, указывая лорнетом на уединившегося в дальнем углу террасы Видаля Карантце. «Он грызет ручки судков и не притрагивается к пище».

«Моя дорогая, разве вы не заметили», сказала другая из дам, «во время пикника он набил себе живот мышками и лягушками и сейчас предается меланхолическим воспоминаниям».

«Неужели и в самом деле таков тип современного филозофа?» осторожно поинтересовалась третья из дам.

«Скорее тип беглого каторжника, по которому рея плачет», успокоил общество коммодор.

Все охотно рассмеялись шутке бывалого человека.

Вдруг все разом забыли про отверженного атеиста-химика, от коего иной раз вместе со струйкой бриза доносились смрады его реактивов с преобладанием сульфура. Произошли сразу два скандальных не толь светских, коль политических события. Сначала в сопровождении графа Рязанского явилась, источая природное благодушие, любимица чуть ли не всех германских дворов герцогиня Амалия Нахтигальская, некогда предъявлявшая права, ну, если не на весь остров Оттец, то, уж во всяком случае, на замок «Дочки-Матери», и на одном из флагштоков непринужденно затрепетал небольшой, но весьма изящный стяг ея владений. Не успел Афсиомский накуртуазничаться с герцогиней, как был отозван Зодиаковым: «Ваше превосходительство, покорнейше прошу не гневаться, однако спешу сообщить прелюбопытнейшую новость. К нам прибыл датский министр!» От пристани к церемониальной лестнице замка уже двигалась твердыми шагами внушительная, не менее дюжины персон, делегация, возглавляемая статной фигурой тоже в белом мундире, но еще и в белых ботфортах; как выяснилось позднее, статс-секретарь Датского королевства, граф Лорисдиксен.

К чести генерала Афсиомского надо сказать, он никогда не выказывал наружно возникающей внутренне паники. Вот и сейчас, весь скрытно содрогаясь от возможного крушения толь блестяще продуманной диспозиции, он с любезнейшей улыбкой подошел к обществу обескураженных прибытием соперничающих антуражей цвейг-аншталь-ских-и-бреговинских дам и жантильомов и с небрежною дружественностью приобнял коммодора Вертиго, дабы шепнуть тому под паричок: «Есть у тебя на борту датский флаг? Выручай, Фома, иначе сгорим, как шведы под Полтавой!» Такое в те времена бытовало выражение в царском войске.

Верный Фома тут же отошел в галерею и двумя носовыми платками (он никогда не покидал корабля без двух платков, словно и у него отросло два носа) передал на борт команду поднять датский флаг, а второй такой же доставить на башню в замок. Недремлющий вахтенный офицер немед-

ленно ответствовал «иес, сэр!». Что ж, довольный улыбнулся коммодор, с такими людьми хоть сейчас на штурм южных проливов.

Между тем на террасе уже загорелись ранние свечные фонари, заиграли италийские виолы вкупе с саксонскими гнутыми кларнетами, лакеи начали разносить искрометное вино из Шампани. Граф Лорисдиксен, намеревавшийся сделать суровый демарш по поводу незаконных кумпанейств на исконных датских скалах, неожиданно обнаружил вокруг себя вельми благоприятственную атмосферу. Известный в Европе конт де Рязань не менее трех минут полоскал перед ним своей шляпой. Коммодор российского флота протянул ему подзорную трубку и указал на мачту флагмана. «Лучший линейный корабль Ея Императорского Величества приветствует ваше прибытие в замок Доттеринк-Моттеринк!» Употребление исконных слов, хоть и в чудовищном произношении, вызвало благоприятственную улыбку на аристократических губах высокого чиновника. Присутствующие дамы, узрев улыбку надменного датчанина, присели в книксене. Из-за них выдвинулся и сам барон Фон-Фигин, воплощение государственной безупречности вкупе с современной элегантнейшей толерантностью. Позднее историки раскопали, что именно он и был инициатором встречи трех соперничающих суверенов. Первые фразы, как известно, всерьез и надолго могут определить отношения конфликтующих сторон. Полюбуйтесь на нашу: «Хотелось бы думать, господин советник, что на этом клочке земли зародится новая форма цивилизованного балтийского содружества». Оцените их ответ: «Разделяю вашу надежду, господин посланник, на развитие *узаконенных* форм будущего сотрудничества». И тут же осушили по бокалу искрящегося свекольного напитка. Прибывший с датской делегацией художник-моменталист произвел набросок исторической встречи.

Тут как раз появилось августейшее семейство курфюрстов Цвейг-Аншталь-та-и-Бреговины, то есть как раз те, кого приказано было Лорисдиксену «поставить на место». Глава государства, как всегда, немного нервничал из-за того, что его нервозность может быть кем-нибудь замечена в блестящем обществе. Первая дама Леопольдина-Валентина-Святославна поразила весь свой двор персидской диадемою, между нами говоря, последним незаложенным предметом из некогда богатого приданого. Лицо ея, как и утром, только чаще, вспыхивало разительной красотою, в промежутках же она прикрывалась веером, привезенным ей в подарок дочерьми из Парижа. Что касается дочерей, то они с их удвоенной прелестью, оживленной жестикуляцией, полудетской игрой четырех глаз и порхающими бабочками улыбок привнесли некий особенный приподнятый смысл в этот вечер, как бы говоря даже самым отчаянным мизантропам (быть может, даже включая Видаля Карантце): «Нет-нет, господа, вы ошибаетесь, человечество все-таки с каждым поколением становится лучше!»

Клаудия и Фиокла в отличие от любимого папочки трепетали не от смущения, а от предвосхищения встречи со своими великолепными кавалерами. Уношей почему-то не было видно. Не следует, впрочем, волноваться, полагали девы, Вольтера тоже пока не видно, а они, должно быть, явятся вместе с ним; ведь они здесь для его охраны, а вовсе не для того, чтобы пропадать в каких-то таинственных экспедициях, из коих они возвращаются в довольно странном виде, с глазами то ли жертв, то ли убийц.

Но вот и Вольтер явился в сопровождении Лоншана и Ваньера, но без боевого эскорта. Что ж, великий человек пера может приходить даже после августейших персон, никто не будет в обиде. Все общество, включая и датского статс-секретаря (он получил строжайший наказ от своего короля обращаться к филозофу с наивысшим пиитетом), повернулось с аплодисментами к изящной фигуре старика, с юморком прикидывающегося персоной высшего света. Вольтер, однако, повел себя странно. Вместо того чтобы сразу присоединиться к обществу, он отошел в дальний пустой угол террасы и склонился к одинокой нелепой фигуре, сидящей

там за отдельным столиком, выставив пятерку крупных желтых зубов. Никто не слышал, что он ему сказал, а сказал он следующее:

«Послушайте, любезнейший, вы сами себя разоблачили. Я раскрыл ваше странное имя, месье. Вы вовсе не атеист и не химик из Копенгагена. Вы не кто иной, как здешнее привидение, господин магистр черной магии Сорокапуст. Одно мое слово, и вы будете задержаны людьми генерала Афсиомского. Вас отвезут в Санкт-Петербург и будут показывать в Кунсткамере. Ну что ж, я буду последователен в проповеди толерантности и потому попрошу вас немедленно покинуть сие собрание человеческих особей. Это не ваша компания. Даю три минуты!» И он извлек из парчового карманчика первоклассные женевские часы, кои за шестьсот дней еле слышного тиканья отклоняются всего на одну минуту.

Досконально известно, что Карантце на глазах у всего собрания начал вздыматься, пока не утвердился в закатном небе подобием подвешенного в упомянутой Кунсткамере птеродактиля. Впрочем, как ни странно, фигура сия помимо намека на многомиллионнолетнее бесчеловеческое прошлое, содержала в себе и ноту современного трагизма, едва ли не мучительность всех форм человеческого протеста, вкупе с демонизмом ближайших окрестностей астрала. Экое чучело в его безобразных башмаках, одновременно подумали курфюрстиночки, а между тем впору было подумать, что ему не чужды и романтические поползновения, предположим, влюбленность в какую-нибудь земную барышню, страсть к ее похищению из-под венца, ну, словом, что-то в этом роде.

«Плюю на тебя, Вольтер!» вдруг со скрежетом возопило доисторическое существо. «Что мне твоя история, что мне вся ваша цивилизация?! Считаете свои дни от фараонов, а мумиям сиим всего четыре тыщи ваших лет, значит, недалеко вы ушли и от нильского комара! Какого Бога вы ищете, прославляете, отрицаете, вы, мошкара? Своего, мошкариного? Шкара? Аракш! Карша! Мммшшшкккррраааа!» Речь его быстро превращалась в мычание и скрежет, однако он еще силился нанести человеческому роду главное оскорбление, простираясь над парком в крестоподобной форме и пылая из глаз желтым огнем.

«Убирайся, Карантце!» Вольтер длинным пальцем с едва заметными узелками подагры обводил небосклон, пока не ткнул в самую темную, лиловую бездну. « Ва-тан, донк, исчадие вони и мрака! Сегодня мы здесь разыгрываем то, что вашим тварям неведомо, праздник юмора и вина! Уходи, а то прикажу стрелять! Я знаю, что ты не умрешь, но будет больно!» Чудище стало извиваться, то выпрыгивая из своей одежды, то влетая в нее и вылетая обратно. Оно еще пыталось принять форму креста, но получались только бездарные изогнутые имитации, то нечто вроде коловорота, то в форме скрещенных орудий труда. Наконец, обратившись в булыгу космического типа, оно умчалось прочь и растворилось в лиловом.

Общество на террасе разразилось хохотом и аплодисментами. «Браво, Вольтер! Какой блестящий перформанс! Вот что значит, господа, блистательное артистическое воображение!»

И снова Вивальди. Бравурно-драматический хор скрипок. Лето в зените: Дальние сполохи. Через час зажгутся Стожары. А кавалеры Буало и Террано все еще не появились. Принцессы с недоумением смотрели друг на дружку.

А в жизни кавалеров между тем произошло неожиданное, хотя, в общем-то, вполне заурядное, учитывая юношеский возраст и мужескую принадлежность, событие. Вскоре после завершения филозофического диспута Николя ворвался в комнату Мишеля. Последний полулежал на диване в обществе бутыли голландского джину, коя была уже наполовину пуста. Он мучился от накопившихся в жизни неясностей. Душа – а может быть, голова? – а может быть, обе совместно? – требовала ответов на сгустившиеся мучительности. Не давала покою, например, память о томитель-

ном сладострастии в обществе императорского посланника, барона Фон-Фигина. Что сие было – явь, или полусонная иллюзия, или же полная неявь, а лишь фантазм подпольного сознания? Нужно ли делать вид, что вообще ничего не было, или следует подойти к высочайшему сановнику и попросить объяснения? Бередили душу-сознание и нежнейшие неясности то ли с Клаудией, то ли с Фиоклой, эти поддувания сзади возлюбленных до перехвата дыхания завитушек над девичьими шейками, эти обмены столь многозначительными откровениями взглядов, эти мучительные и пьянящие голову ощущения сословного неравенства с сими принцессами, рожденными вовсе не для амуров с офицерами, даже и гвардейскими, а для династических браков европейской монархической паутины. Тревожили и множественные вопросы, накопившиеся, особенно после сегодняшей дискуссии, к мэтру Вольтеру, особенно по поводу первородного греха и происхождения человека. Возможно ли со стороны столь выдающегося оппонента теологии, величайшего мудреца и поэта, столь буквалистическое толкование идеи Творения, в частности, вот этого посыла: «Из праха Ты встал, во прах и вернешься»? Осмелиться ли предложить ему догадку, что Время – это и есть Изгнание из Рая? Задать ли вопрос о возможности разных потоков времени, в частности, о жесточайших «вольтеровских войнах», в кои мы с Николашей время от времени проваливаемся? Поймет ли он сию облискурацию, пусть хотя бы уж как козни местной дьявольщины, или примет за идиотов? Ей-ей, все эти нелегкие мысли вызывали порой у Михаила Земскова прямое желание принять на загривок какое-нибудь пушечное ядро или ж самому атаковать башкою вперед крепостную стену вековечной кладки.

Вот за такими мыслями коротал сиесту кавалер Террано, когда в комнату ворвался с огневыми глазами кавалер Буало.

«Мишка, сегодня уж прям свершается какой-то день чудес! Вообрази, иду от Гран-Пера через парк и вдруг прямо за «Обителью фавна» – ей-ей, удивительнейшая суркумстансия! – наталкиваюсь на двух прелестниц обольстительнейшего, а проще говоря, вполне мамзельского, толка, как будто из кумпании васильевоостровской Нинетки; каково?! Вообрази себе, русские козочки из Свиного Мунда, где их супружники служат в артиллерийских чинах и пребывают сей день в Мекленбурге на учениях! Ну вот сии сударыньки и приплыли на Оттец поглазеть на Вольтера; так, во всяком случае, рекут, а на деле-то, видать, лишь в поисках фаллусов. Говоря дискретно, я с ними договорился! Сначала для вида пожеманились, а потом гласят: только уж, государь, извольте явиться с сотоварищем, с каким-нибудь эдаким Мишелем, о коем ходят в округе всевозможные нежные толки. Так что, Мишка, видишь, и в шхерах чухонских настигла тебя твоя неотразимость!»

К назначенному часу кавалеры направились в «Обитель фавна». Николя в предвкушении сладостной потехи едва ли не подпрыгивал при ходьбе. Мишель же подрагивал в подвздошных областях организма: к накопившимся проблемам прибавилось еще одно надвигавшееся нравственное падение. Хитря сам с собою, он уповал на то, что «мамзели» не понравятся. Вспоминая походы на Васильевский остров, то есть откровенные оргии фаллусов и вульв, он понимал, что даже при малейшей привлекательности найденных Николашей развратниц ему не устоять перед соблазном. С одной стороны, шептал он себе под нос, сия адюльтера хороша для подтверждения мужественности, для опровержения тяги к специальному посланнику барону Фон-Фигину, а вот с другой стороны, она все-таки нехороша как измена юношескому идеалу в лицах двух божественных курфюрстиночек.

«Да что ты, Мишка, все дрожишь, все чихаешь и сморкаешься?» урезонивал его вельми решительный полубратец. «Ежели думаешь, что ебля с мамзельками затуманит твою романтическую литературственность, так

взгляни на всю нашу облискурацию с другой стороны. Как здоровые российские уноши патриотического воспитания да еще и энциклопедического поколения мы нуждаемся, как доктор Бордо-то сказал, в расширении капилляров наших фаллусов, неспа? Без мамзелек, мой друг, мы подвергаем опасности нашу романтическую литературственность, то есть обеих курфюрстиночек, героинь наших сердец, однакоже не наших фаллусов. Понеже дефлорация сиих юниц вызовет сущий обвал в династическом каталоге европейских невест. Ты меня понял?» Он бурно захохотал и добавил: «Насытив наши фаллусы с мамзельками, мы сможем без особливой коловратности читать нашим крошкам стихи Мариво и рассуждать о происхождении человека. Верно?»

С этими словами он отмахнул стеклярусную занавеску, и они вошли в грот фавна. Каково же было их удивление, когда вместо обещанных «мамзелей» они увидели в гроте фон-фигинских унтеров Марфушина и Упрямцева с их роскошными блондинистыми усами. При виде офицеров оные низшие чины прыснули смехом, да так заразительно, что не раз уже упомянутые в этой подглавке органы до предела расширили свои также упомянутые капилляры.

Оказалось, что Марфушин и Упрямцев ждут тех же самых искательниц приключений из Свиного Мунда. Увы, что-то судырыньки припоздынились. Ну что ж, господа офицеры, давайте не скучать! Унтеры раскрыли плетеные корзины. Вина полно, есть и закусочки, способствующие восхищенью жизнью. Есть и кресла, есть и канапе. На камни у фонтанчика брошены кое-какие пледы. Мягкий закатный свет еще проникает сквозь стеклярус, большего и не нужно. Упрямцев сел на колени Мише, словно опытный кавалерист. То же самое Марфушин сотворил с коленями Николая. Оба стали расстегивать свои преображенские мундиры. Из суконной глубинки полезли великолепные упругие груди-маммарии. Дыхание всех четырех сбилось. Началось терзание нижних частей туалетов. Уноши больше уже не сопротивлялись мужеложескому соблазну. Усища военнослужащих больше их не смущали, тем более что все остальное было отменно женского толка. Только тогда, когда все уже установилось и пришло в мерное движение, с Колиным опережением на полтакта, в головы обоих офицеров одновременно пришла интересная мысль: «Так вот с какими унтерами путешествует фаворит государыни!»

Наконец, исторгнуты были победоносные четыре клича, после чего унтера нежнейшими голосками вопросили: «Вуле-ву ну шанжон дё позисьён, месье?» и произведены были должные перегруппировки и перемещения. С каждой новой переменой позиций воздух в гроте заполнялся все большим числом истинно приаповских атомов. В конце концов, пытаясь утишить страсти, все четверо полезли в фонтан, однако сим перемещением достигли совсем уже противоположных результатов, иначе говоря, вакхического экстаза.

Марфушин и Упрямцев первыми запросили пардону. «Вот уж не думали, господа подпоручики, что кадетский корпус рождает таких олигархственных представителей!» Коля и Миша, возвращаясь в объятия чистого разума, предположили, что надо хоть малую толику зарядов оставить на случай появления Светланы и Натальи, то есть тех самых свиномундских пострелиц, со встречи с которыми все и началось в этот престранный предпоследний день июля. Унтеры снова прыснули усталыми серебристыми колокольчиками. «Ах, судари наши молоденькие, неужто вы еще не поняли, что мы как раз и были теми самыми Светланой и Натальей?»

«А пошто ж вам понадобились гренадерские-то усища, господа преображенцы?» томно вопросил Михаил.

«По долгу службы в эскорте барона Фон-Фигина», ответствовали Упрямцев и Марфушин «Ведь ежели прознает его светлость про наши машкерады, не пожалеет своих верных услужающих».

«Брависсимо! Брависсимо!» восклицал Николя, вновь растопыривая унтеров дивными округлостями кверху прямо под тонкие лучики явившегося в прозрачную темень небес молодого месяца. «Машкерада сия удалась! А теперь, милостивые государи, приступаем к финалу!»

И так внове началась сладкая страда весьма натрудившимися, а отчасти даже и стертыми до капелек сукровицы любовными, условно говоря, органами. «Ну довольно уж, господа», слабенько верещали унтеры с каждым ударом распухших таранов. «Ласкаемся хоть ноги от вас унести вживе, милосердное уношество».

Тут кто-то колдовство над нами чинит, вдруг сообразил Миша, и, сообразив сие, немедленно заметил, что весь грот со злой ухмылкой следит за их вакханалией всеми вставленными меж камней раковинами, а со сводов бессмысленно издевается запечатанная в многомиллионнолетний янтарь звероподобная жужелица. Прав Вольтер, когда говорит, что в эдаком эротизме есть что-то решительно ридикюльное, нечеловеческое. Пошто ж я-то никак не могу от сей сласти отстать, а все тяну бесконечную и толь желанную тягомотину, внедряясь своим отростком в поддон иного растопыренного человечества? Еще один энстан, и всех нас тут зальет горячей янтарной массой, застынем на остановившееся многомиллионство лет, подумал он и большим напряжением воли заставил себя выйти из Марфушина. Посторонние взгляды тотчас же погасли.

Николя тоже уже натягивал атласные порточки, подвязывал ниже колен модные банты. «Теперь пора уж, милостивые государи, присоединиться к обществу, а-то ведь могут нас хватиться и подумать, что мы где-нибудь в парке развратничаем».

Унтеры Марфушин и Упрямцев быстрыми, подлинно гвардейскими движениями приводили себя в порядок. Всей четверке было теперь не до телячьих нежностей.

А вот генералу Афсиомскому, несмотря на героически укороченную ногу, пришлось распоряжаться танцами. Выстроив две колонны в котильоне, он давал знак оркестру и быстро скользил по мраморным плитам, слегка припадая, однако ничуть не хуже, чем припадает высокопородная немецкая овчарка, к своей величавой партнерше, вот именно к самой Ея Высочеству курфюрстине Леопольдине-Валентине-Святославне, чтобы, приподняв ея не менее, но более высокопородную, чем его укороченная нога, руку, возглавить парад танца.

Прибытие датской правительственной делегации породило существенный дефицит в дамах. В связи с этим некоторым мужчинам пришлось довольствоваться однополым партнерством, что воспринималось с великолепнейшим хохотом. Кое-кто из бывалых людей по этому поводу вспоминал знаменитые андрогинные балы императрицы Елизаветы, когда дамы по высочайшему капризу являлись в мужском, а кавалеры скользили в широчайших дамских фижмах.

Ко всеобщему удовольствию, одну из таких однополых пар составили два главных дискутанта Остзейского кумпанейства филозоф Вольтер и барон Фон-Фигин Федор Августович. Попеременно то один, то другой из них изображали даму. При всех стараниях Вольтера все соглашались, что у Фон-Фигина это получалось лучше.

Оркестр для этого бала Афсиомский заказал в Гданьске стараниями, разумеется, все того же герра Шпрехта-пана-Пташка-Злотовскего. Член магистрата и сам удосужился прибыть вместе со своей саксонской гнутой трубкою. Теперь, сидя в первом ряду музыкантов и издавая вельми гармонические звуки, он раскланивался и с министром финансов Цвейг-Аншталта, и с влиятельной ключницей герцогини Амалии, и с канцеляристом из свиты статс-секретаря, а также условными знаками и с прусской агентурой, кою мы поостережемся называть, не прерывая котильону.

Вдруг торжественное и, по правде сказать, несколько занудное шествие нарушилось нежданной эскападою. В оркестре застучал турецкий барабан, непостижимым образом взметнулись скрипки, вместе с короткими отрывами и долгими волнообразными пассажами заговорили саксонские трубки: смешав жанры, оркестр перешел с чинного котильона на вихревой матлот, то есть матросскую пляску, хорошо известную всякому, кто плавал к индиям.

Пары словно сорвались с привязи и на всех парах, хоть так тогда еще и не говорили в связи с неполным присутствием паровых двигателей, помчались к неведомым экстазам. Кавалеры закрутили дам вокруг себя, мелькая и сами наподобие ткацких челноков. Запестрели и локти, затряслись над головами кисти рук. Трудно поверить, но дамы поддергивали полотнища своих юбок, обнажая конечности аж до прельстительных щиколоток, а обладательница турецкого машкерада-шаривари даже отважилась на вполне не робкую имитацию «танца живота». Вместо стройных колонн котильона на террасе теперь клокотала анархическая «матроска» Века Просвещения. Моду тут задавали, конечно, молодые мичманы с линкора «Не тронь меня!» Фукс, Факс и Факсимильев. Ловя на себе поощрительный взгляд посланника Фон-Фигина, не отставал от молодежи и коммодор Вертиго. Что касается корабельного батюшки отца Евстафия, тот отчебучивал чечетку. Временами кто-нибудь из моряков выкрикивал «Трави концы!», и тут же несколько луженых глоток отвечали ему кличем своего корабля «Эвонна эвво!». Иные, в частности, только что взбежавшие на террасу кавалеры Буало и Террано, пошли вприсядку. Засим, уже с участием нижних чинов, а именно гвардии унтеров эскорта его светлости, образовался хоровод вокруг великого Вольтера. «Ах, маменька, ах, папенька», умоляли своих августейших родителей пылающие курфюрстиночки, «ну позвольте же ж и нам присоединиться к танцующему пчеловодству!» Курфюрст качнул своей козлиною бороденкою мыслителя и воителя: ну как он мог отказать своим возлюбленным детищам? Курфюрстина подтолкнула девочек и сама прокрутилась вокруг собственной оси. Взвизгнув, Клаудия и Фиокла влились в хоровод, по чудеснейшей случайности как раз между Мишелем и Николя, как раз насупротив подмигивающих им Марфушина и Упрямцева.

Вольтер вращался в центре, словно солнце со своим хороводом планет. Подняв ладони ко рту, он трубил:

Крутись, о жизни колесо,
Как сказал Жан-Жак Руссо!

Прокрутившись весь круг, трубил уже следующую припевку:

Пошли всем щастия ведро,
Так просил Дени Дидро!

Еще круг – и следующая припевка:

Всем восхищения без мер,
Провозглашает Д'Аламбер!

В завершение бурного матлота вокруг филозофа образовался малый круг младости: курфюрстины Фиокла и Клаудия, кавалеры Мишель и Николя, гвардии унтеры Марфушин и Упрямцев, а также мичманы Фукс, Факс и Факсимильев. Юноши подъяли над головами свое холодное оружие, юницы же взвихрили ночной бал лентами и перьями своих умопомрачительных шляп. И вся девятка протрубила завершающую припевку:

Веди, вершитель вышних сфер,
Наш электрический Вольтер!

Следует сказать, что, употребляя слово «электричество», вольтерьянцы тех времен имели в виду не бытовой источник энергии, но непостижимый небесный поток сродни «фложистону».

«Как странно, мой Вольтер, протекает время за пределами нашей сугубой регулярности! Всего лишь неделю пребываем мы на сем острове, а ведь кажется, что уж не менее месяца прошло! В Санкт-Петербурге при всех ритуалах Двора не успеешь и заметить, как промелькнут семь дён. Ты как филозоф не считаешь ли, что путешествия страннейшим образом расширяют время нашей жизни?»

Так вопросил барон Фон-Фигин своего обретенного в течение сей толь долгой июльской недели друга. Вдвоем они отдалились от шумного празднества и теперь сидели в креслах на маленькой галерее, где сервирована была для них партия душистого таиландского чаю. Общее веселие уже затихало, лишь изредка с террасы доносились до них вспышки смеха и всплески разноплеменных голосов. Многие гости уже возвращались восвояси. В частности, виден был в полосе лунного света вельбот с плывущими к кораблю моряками.

Вольтер развязал свой изящный галстух. Шелковая ткань немедленно была подхвачена прилетевшим с востока бризом. В полумраке галереи старец показался барону едва ли не ровесником. Голос тоже, как будто бы под чарами ночи, звучал по-молодому: «Ах, Фодор, я думаю, ты не удивишься, если я скажу, что мы проводим здесь дни страннейшего волшебства. Время тут пошаливает со своими клиентами, то есть с нами. Меня, например, посещают тут сны, кои самыми причудливыми метафорами соединяются с реальностью. Иногда мне кажется, что причиной сего феномена является твое присутствие, мой Фодор. Иногда мне кажется, что я уже представлен Императрице и говорю с ней на «ты», как с тобою».

Фон-Фигин расхохотался всеми своими жемчугами. «Ласкаюсь узнать, как звучит на «ты» обращение «Ваше Величество». Вольтер с игривостью пожал плечами светского человека. «Нет ничего легче. TA MAJESTE, Твое Величество, сказал бы я ей. Твоя царская таинственность может соперничать только с твоей женской прелестью, так бы я ей сказал». Барон расхохотался еще пуще. «Мне это нравится! Клянусь, Вольтер, я никогда еще не встречал большего дамского угодника и обольстителя императриц, чем ты!» И с этими словами он нажал двумя пальцами на коленную чашечку старика. Длинная сухощавая конечность дернулась, как лягушка под иглой исследователя. Нет, недаром этого Вольтера называют «электрическим».

Вольтер извлек из камзольного кармана табакерку с портретом Императрицы и предложил понюшку своему собеседнику. Как это водится в мужских клубах между сурьезными конфидантами, оба в унисон прочистили ноздри зарядами чистейшего вест-индийского табаку.

«Я должен сделать тебе, мой Фодор, одно курьезное признание», сказал Вольтер после этого акта дружбы. «Не знаю, как ты, но я никогда в жизни не испытывал никаких гомосексуальных поползновений. Даже Фридрих Прусский не смог меня соблазнить своими прекрасными Антиноями-адъютантами. Не исключаю, что сия моя несклонность была одной из причин нашей размолвки. Но вот, вообрази, на этом странном острове, под этими странными балтийскими небесами я стал испытывать некоторое влечение к одной из присутствующих здесь мужских персон. И эта персона – ты, мой Фодор. Мне кажется, что сие курьезное чувство, превышающее обычное чувство дружбы, кое немедленно возникло между нами, вызвано тем, что ты несешь в себе образ вашей Императрицы».

Он посмотрел на посланника, ожидая увидеть в его лице насмешку, возмущение, презрение, брезгливость – одним словом, гамму отвратственных чувствований, кои, как казалось ему, должны были возникнуть при такого рода признаниях у сильных мужчин, к каковым он, безусловно, относил себя и «своего Фодора», хотя теоретически и предполагал в сиих чувствованиях глубоко замшелую филозофскую отсталость, но вместо этого нашед на лице оном вельми серьезный и внимательный прищур.

Он продолжал с печалью: «Не знаю, что со мной, поверь, не могу понять. Вообрази, старость принесла мне не только телесные слабости, но и некое спокойствие, поскольку освобождала от чувственности. Но вот на острове сем, что явственно встал из вод балтийских не без помощи лукавого, меня стали посещать неведомые и прежде, в младые годы, эротические фантазмы. Не могу даже и сказать, что это было, сны или галлюцинации. Однажды ночью мне мнилось даже, что я был взят в объятия двумя младыми феминами с великолепными усами, сродни тем, коими по праву гордятся твои гвардейские прислужники. Якобы я испытал с ними то, чего не хватало мне даже и в юные годы, после чего был озарен чем-то третьим, совсем невыразимым и величественным.

Вот именно после той безумной ночи я стал испытывать к тебе, мой Фодор, странное влечение. Мне почему-то кажется, что я за тысячу миль влюбился в Екатерину, а поелику ты связан с нею интимнейшими узами фаворита, преданного защитника и умного друга, сие страннейшее чувство к женщине, которую я никогда не видел и вряд ли увижу, частично перенеслось и на тебя, мужчину. Ну-с, что ты можешь сказать о толь диковинных инверсиях чувств, или, как бы назвал это наш общий друг Ксено, «облискурациях»?»

Фон-Фигин рассмеялся с добродушием, лукавством и, как показалось Вольтеру, с облегчением. Он даже немного поактерствовал, пытаясь изобразить кокетливую даму: «Ах, вы меня смущаете, мон мэтр!», после чего запанибрата хлопнул философа по костлявенькому плечу. «Послушай, Вольтер, ты замечательно проанализировал некоторые закоулки своего сознания. Однако я думаю, что ты не должен опасаться. В наш странный век и с мужчинами, и с женщинами случаются еще и более пущие абсурды сего рода; я знаю это по себе. Тому виною андрогинические поползновения, что пронизали все наше общество. Посмотри вокруг, мы сплошь и рядом видим маскулинизацию женщин и феминизацию мужчин. Подумай сам, дамы скачут верхом в рыцарской позиции, а часто и в военных мундирах, употребляют нюхательный табак и играют на бильярде, ну а мужчины, о них и говорить нечего: носят парики наподобие дамских укладок, кружева на груди и рукавах, банты, атласные штанишки и туфли на высоких каблуках, более того, украшают себя драгоценностями. Все люди света, а также и средних сословий, бреют верхнюю губу, щеки и подбородок. Только консерваторы вроде меня еще подкручивают усики. А посмотри на армию: сколько диковинных шляп и плюмажей! Даже простые солдаты пестуют свои длинные косы, смазывают их салом и посыпают пудрой. Что это значит? Однажды на веселом суаре в Эрмитаже наша Государыня, а ее по праву называют «божеством веселости», взялась рассказывать, как она в мужском костюме принялась объясняться в любви одной барышне, и та воспринимала сей театральный трюк как должное. Что за игры играет с нами природа? Уж не приближается ли цивилизация однополой любви?» С этими словами барон Фон-Фигин зевнул, да так широко, что свет свечей озарил его глубокую глотку с подрагивающим внутри маленьким язычком.

Вольтер закрыл глаза, а потом и веки прикрыл ладонью. Он чуть не плакал. Этот немец, российский вельможа, чертовски умен, думал он. Он обладает даром анализа, он дает мне возможность отойти от ридикюльного признания, и все-таки, и все-таки я не могу избавиться от чувства, что он ведет со мною какую-то неясную игру. «Мой друг, мой Фодор, надеюсь ты не принял за чистую монету то, чем я решил завершить сегодняшний толь насыщенный церебральными играми день?» вопросил он.

«Это не игры, мой мэтр», ответствовал посланник. «Все наши диалоги очень важны, все они будут переданы Государыне, и, я уверен, они произведут на нее чрезвычайное впечатление и замостят дорогу для вашей с ней непосредственной встречи. Ну а теперь позволь мне пожелать тебе спокойной ночи и новых сладостных снов. До завтра, Вольтер!»

Большая терраса замка напоминала покинутое поле схватки. На мраморных плитах там и сям лежали сраженные Бахусом фигуры танцоров и музыкантов. Слуги, кои в начале празднества толь чинно выступали с подносами напитков и закусок, теперь уподобились санитарам разгромленной армии. Впрочем, они и сами едва стояли на ногах. Кое-где по краям балюстрады еще мерцали непогасшие фонари, однако преобладал ровный и сильный свет полнолуния. То и дело со стороны моря появлялись большие чайки, они опускались на оставленные подносы и взмывали в ночное небо с цукатами в алчущих клювах. От оркестра остался лишь квартет: две скрипки, альт и саксонская дудка. Прикрыв глаза, стойкая четверка, и среди них, конечно, пан Шпрехт-Пташек-Злотовский, упорно играла Ля Нотту синьора Антонио Вивальди.

Барон Фон-Фигин вышел из галереи на террасу и с застывшей улыбкою на устах начал пересекать опасное пространство; за ним увивались три кота. Пан Шпрехт с неожиданным для его корпулентной фигуры проворством, уподобляясь котам, скользнул вслед за посланником и опустил в карман его кафтана плотный конверт с гербовою печатью. Барон закончил пересечение залитого луною квадрата и углубился под сень другой галереи, ведущей к его покоям.

Навстречу ему кто-то спешил в темноте, шумно дышал и сквернословил по-французски. Барон, прянув к стене, выставил тут же проворную ногу. Поспешающий споткнулся, но был подхвачен баронской рукою. Луч луны озарил его внешность. Шалость барона была вознаграждена: пред ним теперь пребывал один из уношей вольтеровского эскорта, пусть не совсем тот, за коим барон собирался послать своих унтеров, но тож достойный внимания; кажется, Николя. Мужеской юностью и смесью винных напитков несло от него. «Куда поспешаешь, солдат?» вопросил барон, держа его левой рукою, а правою верша рэнсеньеман в соответствующих сферах. «Вот видишь, ты охотился за какой-то птичкой, а сам попал в плен к лису. Следуй за мной!»

Три кошки прыгнули за их спинами на освещенную луною балюстраду. Они хохотали подобием чертей, коими, по всей видимости, все больше заполнялись замок и парк, однако было уж не с руки дивиться подобным кунстштюкам.

Николя, не в силах изречь ни шиша, тянулся за бароном как бы влекомый силой гипноза. Они проследовали в кабинет посланника, где мирно светились два канделябра, творя из грозного мрака уютственный полумрак. Открыты были клавиши клавикорда, и ноты стояли на них. «Возляг на ковер, Ланселот, а я услажу твой слух тихим шансоном», проговорил барон. «Но прежде ты должен испить бокал освежающей влаги».

Он отошел к столу, сотворил в бокале нужную винную смесь и размешал в нем целую ложку кантаридинового порошку. Николя поглотил волшебный напиток и бухнулся на ковер. По взбаламученному его лицу почти тотчас пошла расплываться улыбка тихого щастья. Барон присел к своим клавишам, кои не раз помогали ему очистить усталую душу. Полилась ублажающая чаконна. Он слышал спиною, как утишалось дыхание его полунощной добычи, как погружался унош в объятья синьора Морфео. Тихим, хоть и чуть-чуть страшноватеньким меццо-сопрано Федор Фон-Фигин пропел:

В этой пещере, что мы именуем нащей землёю,
Вдруг возникают прорывы в небесные сферы.
В эти моменты душою и телом я млею,
Сопротивляюсь тому, что именуется мглою,
Хоть и приходится дань заплатить королю Люциферу.

Николя безмятежно спал, дитятею боромотал бессвязности, бубукал губами. Зрелище это ласкало сердце барону. Он закрыл крышку клавикорда, снял туфли и кафтан, расстегнул створы камзола и прилег на ковер

рядом с младым чэавеком. Пальцы его проникли под бант на затылке и ухватили кавалера за тугую косу. Ощущая вздувающийся гульфик героя сегодняшней ночи, он почувствовал приход своей основной думы. Как я могу отвергать соблазнительность жизни, когда постоянно за мной по пятам ходит угроза убийства? Вот негодяи ворвались, толпою идут по анфиладам, шпаги в руках для закланья и веревка за пазухой для удушенья. Кто защитит меня в этот момент, кроме Афины Паллады? А что ей меня защищать, мудрейшей и равнодушной? Вот подают мне десерт, нежнейшие сливки с клубникой, смотрит весь Двор, как я эти радости поглощаю и вдруг обжигаюсь финальною горечью злобной цикуты. Кто эти мысли изгонит и даст мне забвенье, кроме безумного Диониса? О, защити меня, Дева Святая, споручница грешных!

Тут ветр, столь же сильный, сколь и нежданный, влетел в открытые окна и загасил канделябры и так же нежданно, как влетел, мгновенно утих. В тишине донеслись до ушей трепетавшего над телом уноши барона склянки с пушечного корабля NULLE ME TANGERE.

Вольтер уже почивал, обложенный пуховиками и грелками вперемежку с пузырями льда. Флакон тизанской воды стоял на ночном столике в полной готовности для изгнания сухости из полости рта. Утка, изделие из мельхиора, из-под зада смотрела в промежность, всегда наготове для приятия мудрой мочи. Порошки сульфата бромида в облатках приготовлены были верным Лоншаном на случай, если великий чулловэк начнет восклицать во сне; такое случалось все чаще. Все его демоньё сидело в ногах и по краям огромной кровати на манер домашних животных. Тихо скулили: «Когда ж мы вернемся в наше Ферне, мэтр великолепный?!» Так дорожили они своим достояньем, телом Вольтера, что готовы были даже гнать прочь столь ими глубоко уважаемого магистра Сорокапуста.

Оный не появился, но вместо него сквозь балконные двери прошли два нежнейших создания с большущими шелковыми усами и с бюстами муз. Они напевали блестящими губами и подрагивающими языками:

В честь блистательного нашего мэтра Вольтера
Импровизуем мы песнь вакханальных дубрав.
Пусть наши глотки звучат, как в оркестре волторны,
Старца красу воспоем, лицемерье поправ!

Вольтер сел в постели, простер невесомые руки, распахнул то ли незрячие, то ли дальнозоркие очи, в ночном колпаке похожий на деревянную куклу Пинокье из италийской кумедьи. То ли во сне, то ли в глубоком трансе неподвижными губами неслышно он шептал: «Суйе бьенвеню, дражайшие гостьи, гонцы андрогинного века, жрицы или жрецы любви, войдите ко мне, изгоните виденья войны, пожарища и насилий! Изыди ты, грохот революцьонных армий, гоню вас прочь, залпы бесчисленных батарей, смрады полей сражений и осквернение церквей! Жажду я вас, медовые волторны, перекликающиеся в дубравах тихих и сладостных вакханалий. Бежав от христианства, молю тебя, Боже, дай допуск мне в мир свежего паганизма и всех сих наивностей раннего мира; аминь!»

Гонцы уселись, один (или одна) в головах, другая (или другой) в ногах, щекотали его шелковистыми усами, снимали колпак и пунцовыми губами поддували цыплячий пушок на недюжинной голове, стаскивали ночное одеяние, сотканное из шерсти ангорских коз и пропахшее собственным внутренним потом великого чловиэкко, обкладывали слабо дрожащее похотью длинное тельце своими горячими младыми усладами; ну вот и все, теперь ну вот и все, теперь усни, как ранний чууваак, прощай и не забывай, Вольтер!

По долгой песчаной косе, что тянулась от внешней восточной бухты острова Оттец, шли под луною две молодые фигуры. Обувь несли они на

плечах, связанную шнурками. Босыми ногами шагали прямо по кромке отлива. В мужской фигуре немудрено было узнать гвардейского офицера Михайлу Земского, он же кавалер де Террано, но вот в женской, вернее, в девичьей, далеко не всякий осмелился бы предположить курфюрстиночку Цвейг-Аншталтскую-и-Бреговинскую, сбежавшую по зову уноши из опочивальни, то есть прямо из-под надзора своих шаперонш, в ту ночь, впрочем, не ахти каких бдительных. Добавим к этой дерзкой картине еще один штрих: юбка девицы была забрана вверх и заткнута за пояс, юные икры светились, сребристые искры воды то и дело вздымая, икры сии как будто бы хохотали вместе с девическим горлом.

«Да как же, Мишель, набрался ты дерзости весь день перечить Вольтеру?!» смеялась она.

«Тому виною не я, а моя голова, Ваше Высочество», с таким же беззаботным смехом ответствовал офицер. Он наслаждался каждой минутою этой подлунной прогулки и сам себя мнил в сии минуты таким же чистым и легким, как существо, шагающее с ним рядом то в ногу, то слегка оступаясь, чтоб ненароком на плечо его опереться. Щастливым и легким, как будто и не терзали его совсем недавно порочные страсти. «Знаешь ли ты, благородная дева, что друг твой с главою своею не очень в ладах? Сам-то я прост и смешлив, сие тебе ведомо, правда? Однако глава моя, о которою немало сломано досок и ядер чугунных, по коей прокатилось немало от макушки до шеи, порою впадает в обширную и вельми глубокую облискурацию...»

Он все еще хохотал, но вдруг заметил, что дева молчит и с грустью любовной внимательно поворачивает к нему ярко дрожащее око. Впереди между тем темное тело сродни чудо-юду-киту на полночном песке выделялось, приблизившись, превратилось в оставленный данский баркас. Прыгнув, оба в момент оказались на широкой и плоской корме, где и уселись.

«Как же прикажешь мне понимать сию облискурацию, мой шевалье?» курфюрстиночка вопросила.

«Ах, Клоди», вздохнул он и вдруг положил ей на бедро свой ненадежный мыслительный орган. Клаудия вздрогнула тонким своим обличьем, но с бедер не прогнала. «Только тебе я могу признаться, тебе да Коле, что временами брожу одинок по невнятным просторам мира, верней, в червоточине времени, откуда выводит путь то в прошлое, а то и туда, где совсем пропадешь, естьли не назовешь его будущим».

«В червоточине, ты сказал, мой Мишель?» переспросила она и, переспросив, содрогнулась.

«Как же еще прикажешь сию феномену называть, естьли выпадаешь из времени?» Тень какая-то тут прошла по его лицу, словно меж ним и луной пролетела какая-то птица, но небо было чисто.

«И там, в червоточине, мой Мишель, ты получаешь какое-то знание, не так ли?» Она положила ему на лоб свои тонкие и будто бы мыслящие пальцы.

«Неведомо мне, могу ли назвать сие знанием, ежели, вернувшись, не могу рассказать о сем эксперьянсе ни себе самому, ни близким персонам, однако порою мне мнится, что после таких путешествий я понимаю больше, чем Вольтер, о человеке и Боге».

Пальцы ея крепко обняли его лоб. «Попробуй, хотя отчасти, поведать мне то, что ты не в силах сказать».

Он снял ее пальцы со своего лба, положил их себе на губы, потом стал целовать узкие ладони, «венерины холмики», кои, помнится, кадеты называли не иначе, как ключами к сердцу девы. Не ошибались негодяи: дыхание курфюрстиночки сбилось, она прижалась к нему всем телом. «Ну, Мишель, теперь поцелуй меня в губы, поцелуй меня злобно, по-песьи». Он откатился в сторону: как можно опохабить чистый образ смрадом сегодняшнего греха? Пусть хоть ночь пройдет, пусть встанет новое солнце.

«Ах, Клоди, подожди, дай мне поведать тебе то, чего не в силах сказать, а то забуду!» Она отвернулась и глухо промолвила: «Ну, говори!»

Теперь они сидели на корме оставленного баркаса на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Он первый раз видел ее голые колени, вельми худенькие. Пустынное море вдали поднимало пенные гребни; начинался прилив. Он заговорил:

«Ну, вот начнем с излюбленного парадокса Вольтера о грехопадении. Почему все человечество должно быть проклято из-за того, что пять тысящ лет назад один мужчина, то есть Адам, согрешил с одной женщиной, Евой? Что за странный счет лет? Ужели энциклопедисты всерьез читают сие так, что Адам был изгнан из Рая за то, что полюбил Еву, и что это случилось пять тысящ лет назад? Начнем с того, что в райском саду вообще не было времени, никакого! Ты это понимаешь? Это был, конечно, не сад, а просто Рай, и он, конечно, не был, а просто процветал. Именно там возник Истинный Замысел и в нем некие не-сути райской любви. Не знаю, как сказать, но там не было ни воздуха, ни земли, ни воды, и уж тем более там не было огня. Вообще там ничего не было, не знаю даже как это вообразить, но там было все. Не знаю уж отчего, может быть, от бесконечного множества, возник какой-то перекос Замысла, и появилась первая не-суть, потянувшаяся к тому, чтоб стать сутью, и для сего разделившаяся на две не-сути, кои с непреодолимой страстью возжелали стать сутями, то есть Адамом и Евой. Вот тут и возникло то, что великими поэтами Библии было названо Древом Познания, то есть, ну, не знаю, как речь, ну, Косвенный Замысел, что ли.

Ну, далее все это идет, неназываемое, непостижимое, а потому передаваемое только поэзией как немыслимо далекая память о Рае, то есть об Истинном Замысле. Соблазн появляется в виде Змея, что был, возможно, одной из ветвей Древа. Яблоко знаменует начало бесконечного пожирания, и потому в нем и содержится ядро Греха.

Вот тут и происходит Творение тварей! Ты понимаешь это, Клаудиа, Курфюрстина Цвейг-Аншталь-та-и-Бреговины?!»

Произнеся все это своей головою, он вдруг возжегся всей своей сутью и пробежал через баркас от кормы к носу. Воздел длани к небу, полному звезд. «И вот возникает наш мир!» Оглянулся и увидел, что курфюрстиночка последовала за ним и теперь стоит на носу, длани ее тож воздеты к небу, и очи пылают.

«Воздух!» вскричала она.

«Вода!» возопил он.

«Земля!»

«Огонь!»

«Уши!»

«Глаза!»

«Трепет!» завершил он этот залп восклицаний, и в этот момент среди ровно бегущего моря вдруг поднялась одна большая волна, быстро и мощно прошла над мелководьем и накрыла их на носу баркаса. В последний миг они обхватили друг друга, как будто старались утяжелиться, дабы не быть унесенными в море. Последнее произнесенное перед волною слово обуяло их. Они дрожали, стараясь втереться друг в друга и ощущали свою полную общность, то ли мгновенную, то ли вековую, пока не распались и не рухнули на палубу.

Она прошептала: «Вот теперь мне кажется, я понимаю, как это было до того, как пошло».

«Что пошло?» спросил он еле дыша.

«Время».

«Значит, ты поняла, что такое изгнание из рая. Время есть наше изгнание из рая. Так начался путь Адама и Евы с ним, путь от начала времен до их скончания, то есть до возвращения».

Она вдруг легко засмеялась. «Боюсь, это случилось немного раньше, чем пять с половиной тысяч лет назад».

Он тоже рассмеялся с некоторым лукавством, воображая себе Вольтера в облике попавшего впросак учителя уношества. «Клоди, пять тысяч с половиной лет, как я понимаю, прошли от времен сочинения Завета. Может быть дьявол сделал нас тварями, но Господь все же вселил в нас Дух Святой, то есть воспоминание о рае.

До этой книги Адам, быть может, шел миллионы лет. Он встал из первичного праха, то есть из первого замеса земли. Кто знает, сколько лет у него ушло, чтобы приподняться из первой клетки и поползти в какой-нибудь слизи или в воде заюлить амебою, погибая там в каких-то коловратах бессчетно, но все ж таки выживая и усложняясь. Вот тут, Клоди, я согласен с энциклопедистами: шла бесконечная какая-то эволюция, развитие видов, а не то, что сразу из райских врат вышел готовый чловэк.

Однако эти два течения, Творение и Развитие, отнюдь не противоречат друг другу. Оное тварное развитие – это и есть выход Адама из Идеала; ты понимаешь? А то, что на него ушли миллионы лет, не имеет значения, потому что выход-то шел оттуда, где вообще нет никакого времени. Вот тут, в сей миг, когда сию сентенцию произношу, моя любовь, что-то такое мелькает, как будто самое окончательное для понимания, однако неизменно ускользает от головы, или, наоборот, глава моя от этого окончательного ускользает.

Не исключаю, Клоди, что оное кружение вида иной раз заворачивало в неверную сторону, рождало чудищ драконоподобных: ведь творение-то тварей возбудил именно дьявол, столь чуждый Идеалу. Все же Господь не оставлял своего изгнанника, старался как-то вывести его из дьявольских игрищ, вдуть в него Дух Святой, какую-то, хотя бы смутную, память об Идеале; и вот в конце концов появился мыслящий человек. Чем больше он мыслил, тем короче становилось время. От миллионов лет, в коих человек полностью терялся, как теряется наша планета в мириадах недостижимых звезд, счет свернул на тысящи, а потом и на века, началась, как я понимаю, История. Не о том ли это речет, что подходит конец Изгнания?

Люди мало понимали, кто они такие, вершили много дьявольского, и тогда на Землю был послан Сын Божий в человеческом облике, чтоб человеческим языком и собственной жертвой поведать нам о заветах рая. Вот тут, моя родная, а после общей объявшей нас волны трижды родная Клоди, опять начинается мой спор с Вольтером, который вообще-то занят тем, что изгоняет дьявольское суеверие и фанатизм из служителей Бога, кои веру заменяют ритуалом и нетерпимостью.

Не могу понять, пошто великий поэт так дословно понимает метафоры Евангелия. Вот, например, отвергает все христианство из-за того, что не принимает непорочного зачатия. Непорочное зачатие, он речет, это вздор, попами придуманный, чтоб одурачить людей. Что ты мыслишь на этот счет, моя родная?»

Девушка, которая только что с великим напряжением вслушивалась в разглагольствования унца, явно стараясь не упустить ни единственной мысли, вздрогнула от неожиданности вопроса. Мокрые ея волосы упали на лоб, образовав своего рода вуаль, из-за коей сверкали любовные детские глазенапы.

«Ах, Мишка», прошептала она, впервые назвав его на русский манер. «Мне видится много коловратного и головокружительного в твоих философиях. Однако что я могу после всего сего сказать сама? Тем паче о зачатии. Что я, несчастная маленькая принцесса, могу об этом сказать? Я не понимаю, как может быть зачатие порочным. Ужели мы с сестрой – дети какого-то ужасного греха? Мишка, послушай, может быть, в каждом зачатии есть что-то от непорочности?»

«Какой ты умник, родная Клоди!» воскликнул он. «Как ты все поняла! Именно потому и сказано в Писании, что Христос был рожден непорочной Марией, что в каждом человеческом зачатии есть что-то от непорочного! Это речение освобождает человеческих рожениц от греха, но Вольтер почему-то не видит духовного смысла сего речения. Как, впрочем, и священники сей метафоры не видят».

Он хохотал от счастья, и девочка, вспыхнув от его веселья, забралась к нему на колени, спиной к его груди. Он поддувал своим горячим дыханием мокрые колечки у нее на шее, и вскоре они просохли. Вслед за этим и очень скоро они оба совсем просохли и гривы их полетели в потоках благостного ветра: что-то одушевляло сию нощь, в неких нечитаемых, но вдохновляющих смесях представали пред ними воздух, вода и земля-песок; что касается огня, то он начал являться пред ними в виде гигантических восточных зарниц.

Вдруг за спинами их посыпался песок с одной из дюн и послышался девичий голосок, весьма похожий на голос той, кого Мишель всю ночь называл «Клоди»: «Ах, вот и ты наконец, несносная Фиокла!» С дюны съезжала в подоткнутых юбках вторая курфюрстиночка, взывающая к первой, или скорее, наоборот, – первая ко второй. Через минуту обе копии уже сидели перед Мишелем на носу данского баркаса.

Гвардеец осерчал. «Ну что ж это за бесконечные розыгрыши, мои родные? Прямо так и не ведаешь, в кого влюбился! Кто из вас Клаудия, и кто Фиокла?»

«Да мы и сами не очень-то сведущи в сем парадоксе, что учинила над нами природа. Бывает так, что утром выпрыгиваешь как Фиокла, а почивать отправляешься в роли Клоди. Мама обещала внедрить в наши мочки две различных серьги. Вот тогда будет легче».

Оказалось, что обе шапероншi после бала с сердитостью необыкновенной искали Клоди для препровождения ее в опочивальню и в конце концов в опочивальне ея и нашли. Облобызав столь благоразумную девочку вельми обшампаненными пастями и прочтя ей вполне абракадабристую нотацию, обе дамы бросились на поиски Фиоклы, коя, как они друг дружку стращали, могла себе спокойненько убежать куда-нибудь на Корсику с каким-нибудь авантюристическим Николя. Очень скоро в одной из галерей дамы натолкнулись на смиренную Фиоклу, что направлялась в опочивальню, взяв по дороге из библиотеки «Житие Св. Августина». Наградив и сию поднадзорную абракадабристою нотацией, шапероншы, как нынче говорят в придворных кругах, «совсем отвязались» и бросились в какой-то винный погреб на танцы с нечистой силой. Та, кого они приняли за Фиоклу и которая, возможно, и была ею, еще слышала, как в том погребе взывали к какому-то призраку: «Фигхен, Фигхен! О, Фигхен, признайся, ты где-то здесь!» Что касается авантюристического Николя, он так и не был найден; быть может, и в самом деле удрал куда-нибудь на Гваделупу?

Утром следующего дня (конец июля) Вольтер потянулся всеми членами своими, вызвав треск суставов, похожий на залп гренадерского взвода. Спустился с пуховых вершин на горшок, возле которого уже поджидал его журнал «Беобахтер». Немцы, как понял он, готовят новый конфликт и подогревают население. Только финансовый кризис может спасти этих болванов от новой военной разрухи. В нижних сферах брюшного царства со сдержанным гневом двигались пузыри. Когда-нибудь все узнаем про человеческую утробу.

Поднявшись с горшка, он подошел к окну для утреннего вдыхания морского йода. Открыл обе створки и сразу заметил, что круглая бухта за ночь утратила нечто, что делало ее завершенной картиной. Камни, косы песка и дальняя деревушка были в наличии, однако пропало что-то, что

делало бухту сию местом действия вольтеровской эпопеи. Несколько раз он потряс головою, прежде чем сообразил, что пропал корабль. Как это можно? Как мог без ведома испариться стопушечный левиафан с флагами Дании, Цвейг-Аншталь та, вольного города Гданьск и Российской великой державы? Уж не утоп ли гигант со всем своим экипажем, со всеми шедеврами деревянной скульптуры, со всеми своими вельботами, что еще ночью резво сновали между бортами его и сушей? Проснулся ли я или еще пребываю в столь утомительной облискурации сна?

В этот момент открылись двери и в спальню проследовали, словно для официального опровержения сновиденческих сомнений и для подтверждения реального фактотума Лоншан и Ваньер, а вслед за ними и сам генерал Афсиомский, конт де Рязань.

«Друг мой Вольтер, я не спал всю ночь, чтоб прежде других уведомить тебя о внезапном отбытии господина императорского посланника, барона Фон-Фигина. Этой ночью из Петербурга прибыл гонец спешной почты. Тебе, конечно, ведом сей вид императорской связи, не так ли?» Вольтер ничего не ответил на бестактный вопрос и лишь подбородком указал Ваньеру на халат, который был немедленно подан. Генерал продолжал: «Достаточно сказать, мой Вольтер, что депешу доставил сам подполковник Егор. Ты знаешь, конечно, о ком идет речь, не так ли?» Вместо ответа Вольтер завязал кушак халата и скрестил на груди руки. Да пошто я позволяю всем этим бюрократам держать себя со мною на короткой ноге? Пошто перехожу с ними на «ты» и позволяю им без церемоний входить в мою спальню? Пошто принимаю подобных генералов в толь непозволительном дезабилье, в ночной рубахе, свисающей из-под халата? Вместо четких шагов в отменных туфлях шаркаю пантофелями со стертым заячьим мехом, пошто? Уж ежели говорить о подполковнике Егоре, то не следует ли дать этому рязанскому Ксено понять, что летун никогда бы не позволил себе без приглашения проникать в мою спальню, какое бы важное послание, от какой бы-то ни было императрицы ни нес в своей суме.

Филозоф так осерчал, что перестал даже воспринимать то, что Афсиомский продолжал говорить с нарастающей торжественностью. И лишь, когда увидел, что Ксено прижимает руки к груди, расслышал завершение фразы: «...только потому, что речь идет о событиях чрезвычайной государственной важности, о мой Вольтер!»

Он отвернулся от генерала к окну, словно хотел уже сейчас попрощаться с пейзажем. Как хорошо он стоял здесь, этот NULLE ME TANGERE, посреди сей великолепно округлой бухты; кому он мешал?! И как одиноко, как уныло стало здесь без этого корабля!

Афсиомский осторожно приблизился. «Мэтр, перед отплытием барон передал вам строго конфиденциальное письмо».

Вольтер сломал печать и вытащил лист с водяными знаками Императорского двора. Записка гласила: «Мой мэтр, то, о чем мы с тобой так жарко рекли напоследок, то есть излишняя феминизация нашего века, вынуждает меня покинуть сии берега, даже не попрощавшись. Никогда не забуду твоих слов, обращенных к Ея Величеству и ко мне, Ея покорному слуге. Твой Фодор».

Вольтер вдруг взбодрился, сбросил ночной колпак, взбил хохолок, закричал слугам: «Давайте, давайте, открывайте все окна и двери! Сейчас мы узнаем, попутный ли ветер дует в их паруса!» Он зашагал через анфиладу комнат к восточным окнам. Сильный ветер, *встречный*, дул от поднимающегося солнца. Ксено протянул ему подзорную трубу. «Попробуй, обшарь горизонт! Может быть, ты еще увидишь их мачты».

Вольтер сделал вид, что увидел, хотя восток только слепил трубу. Он отдал прибор верному служаке престола и заглянул ему в вытаращенные очи. «Скажи, Ксено, это была она?» Теперь уже настала очередь Афисомского ответить молчанием.

Глава одиннадцатая

и последняя знаменуется явлением вельми припозднившегося персонажа. Фокусы утопии уступают место историческим деяниям

В Ригу «Не тронь меня!» пришел с двумя сломанными реями на фокмачте: обратное плаванье тоже задалось неласковое. На траверзе Кенигсберга погас безмятежный июль, наперекор бушприту, словно татарское нашествие, помчались стаи трехсаженных волн, сопровождаемые к тому же сильнейшими разрядами небесного электричества. Коммодор Вертиго, почитай, все это время до входа в створ Двины провел на мостике, отдавая парусные команды и ободряя экипаж собственным присутствием. Светские развлечения Остзейского кумпанейства были забыты в первый же час шторма, и он был тому даже рад: мгновенно быв продут ветром, просолился и, что греха таить, значительно лучше себя чувствовал, чем в котильоне, – как-никак своя стихия. Глядя на обломанные и повисшие в снастях реи фока, он думал на родном языке WE GOT IT CHEAP и вслух добавлял девиз своего корабля – эвонноэво!

Что касается главного пассажира, тот проявлял во время шторма вполне уже вроде привычную мужественность, поднимался время от времени с трубкой в зубах на мостик, созерцал стихию, ободряюще подмигивал чинам экипажа и даже похлопывал по плечу капитана; ну, словом, сущий морской волк! Если ж на лике его и повлялась озабоченность, то она, похоже, относилась отнюдь не к положению корабля, а к каким-то неумолимо, несмотря на шторм, приближающимся трудностям государственного ранжира, перед коими, как известно всякому служилому лицу, блекнут любые катаклизмусы природы.

Даже такой, едва ли не катастрофный момент, когда при неожиданном повороте ветра затрещали реи, не поколебал сей рыцарский характер. Будучи у себя в каюте, он просто скакнул из своей койки, отпустил пару шуток по адресу стонущих на ковре своих унтеров – дескать, ослабела младость после светских шалостей, накинул первый попавшийся под руку кафтан и стал пробираться по скрипящим и как бы вылетающим из-под ног трапам на капитанский мостик.

Там его встретили неласково. Вертиго проорал прямо в лицо отнюдь не в придворной манере: «Эппенопля, барон, вы что, не видите – аврал! Убирайтесь прочь, в каюту!» Он увидел, что мачты корабля висят под острым углом над беснующимся морем, что иные паруса сорваны, а другие бесцельно хлопают, рождая звуки, подобные пушечным выстрелам, что сломанные реи болтаются в снастях, но в то же время мокрые матросы и офицеры карабкаются по вантам с каким-то неистовым весельем. Нет-нет, они не собираются тонуть, нет-нет, Ваше Императорское Величество, не к погибели они плывут, а к победе! Неизбежная государственная мысль осенила его: «Вот так и Россия, доннер веттер, вместе со всей Европой и с матушкой-государыней за рулем, НЕ опрокинется!» Спрятавшись за намертво принайтованными к палубе ящиками аварийного запаса, он продержался на мостике, пока корабль не выпрямился, убрав часть своих парусов и вздув оставшиеся. Только после этого барон стал спускаться в свою каюту. На трапе опустил руку в карман кафтана, надеясь найти там фляжку с ромом, но вместо оной пальцы нащупали намокший плотный конверт.

Послание было запечатано сургучом прусской государственной канцелярии. Он сломал сургуч и вытащил лист, покрытый знакомым нервическим почерком вкупе с пятнами расплывшихся там и сям чернил. Письмо начиналось без обращения:

«В сиих чертовых (пятно) обстоятельствах я не знаю, как к Вам (пятно) ...ращаться, а посему выбираю почти забытое дурац...(пятно) ...днако ...льстительное ...ечко.

Фигхен!

Что за детские избрали Вы игры, дабы встретиться со старым... (пятно) ...ахаль...олтуно... в самом центре серьезного европейского конфликта? (Далее пошло почище.)

Вряд ли кто-либо в мире знает сего Нарцисса лучше меня. Пусть он гений, но кто давал гению право думать, что вся Европа у него в долгу? Думал ли он когда-нибудь о последствиях своих парадоксов? А известно ли Вам, что на континенте есть множество облеченных властью остолопов, готовых начать войну за право отужинать с «электрическим лебедем мира»? У нас в Священной римской империи множество придурковатых маркграфов и фюрстов в мыслях своих уже ведут многолетние подобные войны, ввергая в нищету своих граждан и разрушая идею объединения. В метафизическом плане эти войны уже кипят, творя невосполнимые прорехи в человеческом сознании.

Неужели Вам не приходило в голову, что ваше квазисекретное Остзейское кумпанейство приведет не к величию и процветанию, а к разрушению просвещенной монархической утопии? Козни вашего эмиссара, известного нам под именем Ксенофонт Василиск, даже в течение одной прошедшей недели произвели разрушительную работу в области наших многолетних концепций, поставили под вопрос гипотезу дружбы двух наших держав. Не далее как в прошлый вторник два ваших агента учинили полный хаос в нашей исторической крепости Шюрстин, столь дорогой сердцу каждого пруссака.

Фигхен!

Напомните, прошу Вас, Вашей молодой и не особенно сведущей в европейских делах Государыне – ведь она была девочкой увезена из сего хлопотливого муравейника на волчьи просторы России, что в одном близлежащем государстве у нее есть родственник, известный, с легкой руки все того же гениального болтуна, как Фридрих Великий. Только в союзе с ним она сможет добиться своих, как мне передавали оттецкие жуки и чайки, весьма величественных целей.

Позвольте мне и Вам напомнить, барон, что ваш старый дядюшка Фрицци все еще помнит неотразимость Ваших морковных ланит.

Все люди – братья, кроме тех, кто сестры,
Однако есть, увы, особый нежный вкус
В двоюродной толпе, сем машкераде пестром,
Где всякий шут готовит свой фокýс.

Ваш...» (Пятно, пятно и еще одно большое пятно, как будто кто-то высморкался чернилами в бумагу.)

Лишь после того, как «Не тронь меня!» встал на якорь в виду готического силуэта Риги, коммодор Вертиго почувствовал непреодолимую свинцовую усталость. Отдав последние распоряжения вахте, он, еле волоча насквозь промокшие ботфорты, спустился в свою каюту, осушил чару голландского джину и рухнул на кожаный диван. Во сне он не чувствовал ничего, кроме бесконечной прошедшей качки с провалами и взлетами да налетающего временами родового имени VERTIGO, то есть головокружения, которое уже не представляло опасности, а, напротив, как бы умиротворяло: дескать, нынче уж можно и покружиться в блаженном бессилии.

Проснулся он не на диване, а в собственной чистой и теплой постели. Штормового мокрого одеяния не было больше на нем, душу и тело грели ночная рубаха и вязаный колпак. Сквозь шторы пробивались лучи мирного утреннего солнца. Дневальный принес чашку горячего чаю с молоком, после чего сна не оказалось ни в одном глазу. Блаженствуя и предвкушая несколько дней стоянки, потребных для починки такелажа, коммодор принялся облачаться в загодя приготовленное сухое платье. Малость бес-

покоило только одно обстоятельство: лучи проникали в каюту не с той стороны, с коей им надлежало проникать, то есть не с востока, а с запада.

Лишь поднявшись на мостик и увидев сверкающие на солнце шпили и кресты рижского града и крепости Динаминде, коммодор сообразил, что светило скорее склоняется к горизонту, чем поднимается над оным, и что в Курляндии нынче царит скорее закат, чем восход. В подтвержение тому на мостик в роли вахтенного начальника взлетел скорее лейтенант Факс, чем лейтенант Фукс, уже отстоявший, стало быть, ночную вахту.

«Первым делом, Григорий Иванович, доложите мне состояние посланника», предложил коммодор. «Где пребывает в сей момент, каковы запросы и чаяния?»

«Его светлость три часа назад отбыли на берег с визитом генерал-губернатору», бойко отрапортовал Факс. Вертиго мимолетно угрызнулся: надо же, проспал толь значительное событие. Факс тут же вырвал из-за обшлага походного мундира изящный, будто бы дамский конвертик. «Вам приказано передать, господин коммодор!» и, заметив, что капитан чуть приспустил недовольное веко, тут же поправился: «Фома Андреевич!» Все офицеры знали, что на борту капитан предпочитает всяким чинам человеческое обращение.

Записка вельможи была до чрезвычайности лаконичной: «Дорогой Фома Андреевич, общение с Вами было для меня истинной школой мужественности. Мысленно обнимаю вас. Ваш Федор Фон-Фигин».

Уот зи хелл, подумал Вертиго, что это значит? Похоже на прощальный привет. Спрятав записку за обшлаг рукава, он осведомился у вахтенного офицера, вернулся ли с берега вельбот господина посланника. Оказалось, что лодка с дюжиной гребцов вот уже три часа пребывает возле пирса на восточном берегу Двины. Факс протянул ему подзорную трубу. «Извольте сами удостовериться, Фома Андреевич!»

В окуляре хорошо был виден вельбот. Вся дюжина гребцов сидела в полной готовности. Командир экипажа стоял у руля по стойке «смирно». К пирсу в этот момент приближались кортеж карет и кавалькада всадников. Закатное солнце вспыхивало то в окошках экипажей, то на шлемах кавалергардов. Ветер колыхал плюмажи сановников, вышедших из первой кареты. Из второй кареты спустились одна за другой три женских фигуры в длинных темных плащах. Вскоре они скрылись за спинами столпившихся мужчин и вновь появились в окуляре уже при посадке в покачивающийся вельбот. Через несколько минут мерные взмахи двенадцати весел направили суденышко в сторону линкора.

Солнце село. На короткое время возникла почти графическая четкость, привнесшая в происходящее какой-то особый, не совсем реальный смысл. Капитан старался держать в фокусе женские фигуры, рассевшиеся на корме вельбота, словно в саду. Несколько раз он приказывал сигнальщику запросить, кто направляется на корабль. Сначала вельбот молчал, потом ответствовал загадочной фразой: «Мне приказано молчать». Что это значит? Кто может приказывать флотскому офицеру через голову капитана корабля?

Не прошло и четверти часа, как вельбот подошел к борту «Не тронь меня!». Со второго пушечного дека был спущен трап. Дамы вновь закутались в плащи, перед тем как подняться на палубу. Коммодор, поправляя болтающийся на боку палаш и натягивая на ходу перчатки, поспешил им навстречу. Он чувствовал, что происходит некое событие исключительной важности. Чувство сие, по очевидности, передавалось и всему экипажу: недаром пушкари вытягивались в струнку, пока дамы, откинув капюшоны, двигались вдоль линии орудий.

Одна из этих трех женщин шествовала чуть-чуть впереди. Она не просто улыбалась, но как бы даровала улыбку. Это ощущение дарования, величественного благодеяния распространялось повсеместно и на всех от ее статной фигуры и гордой шеи. Недаром корабельный пес Ньюф, едва уви-

дев ее, тут же поскакал вслед. Коммодора Вертиго вдруг осенило, громогласно он провозгласил: «Всем стоять по местам! Приветствовать Ея Императорское Величество матушку-государыню Екатерину Вторую!» Неведомо, донеслись ли раскаты «ура» до берегов Двины, но чаек, кружащих над мачтами пушечного корабля, они распугали, что дало возможность почтарю-сарымхадуру беспрепятственно спуститься из лиловых закатных вершин прямо на плечо Государыне.

Флотские, как всегда, слегка перебрали, особенно коммодор, который приложился к ручке, опустившись на одно колено. «Поднимитесь, Фома Андреевич», весьма грудным, едва ли не задушевным голосом проговорила Екатерина. «Нам нужно как можно скорее выйти в море и двигаться к Петербургу. Ну вот, отлично. До нас дошло, что вас называют идеалом мужественности, и мы с графиней Протасовой и княжной Ташковой надеемся сегодня ночью сие проверить. Прикажите пока что вашим поварам соорудить для нас ужин, только укажите, чтобы они как следует прожарили цыплят. Да, бургундское будет в самый раз. Можете пригласить к ужину лейтенантов Факсимильева и Дондона. Ха-ха-ха, ну что вы, коммодор! Посланника Фон-Фигина к ужину не ждите: в связи с чрезвычайными событиями он получил другое назначение. Нет-нет, ни о какой задержке для починки такелажа не может быть и речи. Нас ждут в Петербурге. Там, а вернее, поблизости, совершено злодеяние. Но об этом поговорим завтра. Сейчас ведите нас к столу!»

Так завершилось хорошо известное по историческим хроникам путешествие молодой императрицы в Курляндию. Рижские власти наконец узрели ея воочию и были свидетелями посадки высочайшей персоны и двух ея задорных конфиданток на большой пушечный корабль Ея Величества «Не тронь меня!». Через два часа корабль, влекомый двумя галерами, медленно вышел в устье Двины. Там были поставлены все паруса, кроме тех, что запросили пардону на двух сломанных реях. Вздувшись под попутным ветром, корабль поспешил убежать от берега в ночную мглу. Возвращающиеся на лайбах со свежей рыбой рыбаки клялись, что с военного судна слышны были женские голоса, распевавшие поморские песни:

Ой, как двинул Ломонос свою шняву проворную,
Всеми молодцами его просмоленную,
На восток, к лону матерь-земли!
Ой, да как грянул песню вздорную-зазорную,
Так и завистью надулись иноземцев все корабли...
Ой, тюрли-тюрли-тюрли!
К лону матерь-земли!
Ой, тюрлян, тюрлян, тюрлян!
Через море-окиян!

Генерал-аншеф Никита Иванович Панин уж три дни сидел на тайной квартире, выходящей окнами на Аглицкую набережную и якорную стоянку Невы. Надобно было опередить всех и первым донести до сведения Государыни не толь факты, коль суть происшедших тому уж две недели назад событий. Располагался в кресле, имея пред собою пюпитр с раскрытым томом «Энциклопедии» и малый столик с альбомом, куда заносил обнаруженные в творении торопливых филозофов ошибки и опечатки.

За окнами струился обычный петербургский моросняк, проходящий мимо служилый люд в нахлобученных шляпах спотыкался и оскальзывался на торцах мостовой. Отрывая взгляд от великолепного амстердамского издания, думал с кислятинкой за щекою: что занесло нас, итальянских Панини, в сей гнилой уголок? Ведь и Европою-то не назовешь вечное сие поросячье ненастье, а вот как, однако, мы тут укоренились, что и не помышляем о родной Тоскане и толико сии унылые хляби полагаем родиной. Впрочем, и здесь бывают изредка какие-то страннейшие, то ли ита-

лийские, то ли вообще предвечные, закаты, полные нечитаемых, но душу бередящих символов, ради коих, кажется, и живешь свою жизнь на этой бедной земле и ни о какой иной более не помышляешь.

Есть и еще одна сугубо российская загадка – женщины! Что за чудодейственные соки циркулируют в этой невеселой земле и побуждают ее рождать в каждом новом поколении все более заметное число искрометных и шаловливых молодых женщин?! Возьмите хоть ту толпу красавиц, что собираются по каждой оказии вокруг трона и именуются фрейлинами. Только ради возможности любезничать с ними, с какой-нибудь графиней Марфушей Протасовой или Дарьей-Упрямицей, княжной Ташковой, стоило родиться здесь и сделать карьеру при Дворе!

Так рассуждал сам с собой дамский угодник, статс-секретарь по иностранным делам, а фактически глава всех секретных операций Империи граф Никита Иванович Панин, пока однажды прямо перед окном своего секретного кабинета с видом на якорную стоянку приходящих из-за границы судов вдруг не заснул, хотя вот именно в сей дождливый день и сонливый час следовало ему бодрствовать.

Во сне мелькали перед ним на разных этажах сознания, а то и на мраморных ступенях сродни церемониальной лестнице Зимнего дворца или на каких-то болтающихся над зловонной бездной мочалах всяческие образы того ужаснейшего происшествия, кое он не называл иначе, чем «злодеяние». Плыл, например, улыбкой вверх угопленник, который вовсе не утоп, а, напротив, подвергался следствию в секретной экспедиции. Ну а тот, который как раз угоп, то есть поручик Ушаков, во сне министра был живехонек и на деревянном коне сопровождал перевоз гигантической энциклопедии.

Не желая утомлять читателя вневременным потоком сновидения, мы попытаемся сейчас в несколько строк передать драматургию того злодеяния, кое, очевидно, и вызвало оный поток, равно как и общее угнетенное состояние обычно весьма жовиального вельможи.

Примерно в тот же самый день, когда корабль «Не тронь меня!» отправился из Санкт-Петербурга в описанное уже путешествие, то есть в разгаре июля, поручик Смоленского полка Василий Мирович привел свою полуроту по разнарядке на охрану, а на самом-то деле на штурм Шлиссельбургской крепости, с целью похищения из-под стражи императора Иоанна Шестого, то есть одного из самых невинных узников человечества.

Поручику было тогда двадцать четыре года. Диким взглядом он озирал закат, растекшийся, казалось бы, несмываемой блеклой клюквой над хладной Ладогой. Покончить с узурпаторшей! Вознести Ивана Брауншвейгского на законный трон! Войтить в историю спасителем отечества! Вернуть Мировичам малороссийские поместья, отобранные еще Петром Великим-иродом за измену Мазепы! Расплатиться с долгами! В пристойной форме пополнить гардероб!

Иоанну Шестому было о ту пору не боле двадцати шести, так что можно назвать всю ту ночь делом оскорбленного и униженного российского уношества. Он не знал, что он Иоанн. Всю жизнь стража звала его Григорием. Он не ведал никаких событий и к тому дню уже полагал себя бесплотным. Понятно, что он не имел ни малейшего понятия о том, что является первым узником российской державы и что им занимается такая высокая персона, как Никита Панин. Впрочем, не ведал он и никаких персон.

Ему предложили из Григория стать Гервасием и вступить в монашеский чин. Сие ему показалось лестным, но не в бесноватом имени Гервасий, а в благостном – Феодосий. Однако и в оном дрожал он от страха пред Святым Духом.

Сего Григория-Гервасия-Феодосия сторожили два офицера, Власьев и Чекин. Оба они изнемогали от своего долга, поскольку предписано было

им не знать ничего, кроме удержания в каземате своего несчастного безумца. От графа Панина у них было предписание, чтимое ими выше Евангелия: «Ежели случится, что кто пришел с командой или один, хотя б то был и комендант, без именного повеления или без письменного от меня приказа и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать все за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна рука, что спастись не можно, то и арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать».

За несколько дней до мятежа ближайший сподвижник Мировича офицер Ушаков утонул при непонятных обстоятельствах, так что Василию ничего не оставалось, кроме как выдвигаться решительно на свой собственный страх и риск. В столице ждали его соучастники в артиллерийском лагере на Выборгской стороне. Туда он должен был привезти Иоанна Шестого, чтобы в его присутствии с пушечного лафета зачитать пушкарям антиекатерининский манифест. Далее план пойдет как по маслу. Будут запечатаны все мосты через Неву. Артиллеристы поставят свои орудья на парапетах Петропавловской крепости и начнут усердную бомбардировку Зимнего дворца. Дальнейшее может сообразить всяк, кто горазд в изучении истории.

Итак, вперед! Мирович прикладом по голове оглушил коменданта. Полурота пошла на штурм, однако – что за незадача! – была отбита стрельбой гарнизона из тридцати душ. Далее последовала главная ошибка воспаленного офицера. Вместо того чтобы продолжить штурм невзирая ни на какие потери, он подвез к каземату заряженную ядром пушку и потребовал выдачи Иоанна. Пришла трагическая минута. Власьев и Чекин, видя невозможность сопротивления, решили поступить по «присяжной должности» и умертвили бывшего императора, что, очевидно, не составило для них большого труда. Точных подробностей об этом темном деле нет, но, по всей вероятности, «бесплотный» в том самом каменном мешке, где он провел всю свою жизнь, был задушен, а для верности тщательно исколот саблями. Впавший в прострацию Мирович был арестован подошедшим отрядом войск.

Теперь он ждет, теперь тело его по волнам влечет в святой град Петра флагман флота, так размышлял спящий над Невою государственный муж, засунувший все это дело в глухой валенок и для воссоздания благостной тишины учредивший комиссию трех государственных фигур, Неплюева, Голицына и Вяземского. Когда это тело прибудет, все реки потекут в Финский залив: и Волга, и Днепр потекут, и Обь, и Енисей, и Лена; Лена первая на этот суд потечет. Он ждет, а тело его плывет за кормой корабля, он ждет суда, не зная еще сам, кто он – соучастник ли Ушаков, Мирович ли главный злодей, Власьев ли убийца, Чекин ли палач, матушка ли государыня женского пола, а то, быть может, и сам Шестой, задушенный и пронзенный; так может сложиться, что и «бесплотного» будем судить!

Во всей мучительной невнятице сна одна лишь пробивалась спасительная мысль: скорее, скорее бы проснуться! Граф Панин дернулся, отбился всеми конечностями, вынырнул из гиньольного потока видов, потер руками лицо и, уцепившись носогубной бородавкою за перстень третьего пальца правой руки, окончательно выпростался.

Первое, что он увидел наяву, было огромное лилово-зеленое небо. Пока спал, рассеялись тяжелые чухонские хмари и воцарился всегда столь желанный италийский закат. На этом фоне теперь выделялся внушительный контур большого пушечного корабля. Никита Иванович вскочил, торопливо нахлобучил парик и, не подгоняя даже виски и лобную линию, зашагал к выходу. В дверях столкнулся с адъютантом, молодым графом

Паскевичем. Тот, тоже, верно, заснувший под непогоду или зачитавшийся французскими «ле роман», теперь разлетелся, видите ли, с благой вестью: «Прибыли, прибыли, Никита Иванович!»

Досада Панина разыгралась еще пуще, когда он увидел на набережной несколько карет придворных чинов, уже ожидавших сошествия путешественницы. У этих-то более сноровистые адъютанты! Да и сами, видать, не спят, что греха таить. Прошагав мимо карет сих ловкачей и не удосужившись приподнять шляпы, прыгнул в шлюпку и приказал грести прямо к кораблю; окаменел лицом, готовый к любому афронту.

Через несколько минут он уже поднимался на борт. У трапа его ждал командир-англичанин, то ли Грейг, то ли Браун, нет, не то, Вертиго Фома – вот так его имя. Хорошо знакомый офицер выглядел помолодевшим на десять лет с того времени, как получал перед плаваньем инструкции во дворце; наверное, на пользу пошла экспедиция с бароном Фон-Фигиным. Держа ладонь у виска, он отрапортовал генерал-аншефу, что экспедиция прошла благополучно. Посланник сошел на берег в Риге. Сейчас имеем высочайшую честь доставить в столицу Ея Императорское Величество. Она вас ждет с нетерпением в своих каютах.

За всю прошедшую неделю им удалось всего лишь раз обменяться по делу Мировича торопливыми посланиями, и теперь, несмотря на то, что вроде бы получил одобрение своим действиям, Панин не был уверен, чего ему следует ждать после подробного рапорта. Поначалу показалось даже, что назревают расхождения. В частности, по толкованию слова «злодеяние». Оно усердно употреблялось и вельможей, и Государыней, однако чуткий Панин стал улавливать, что она употребляет сие слово больше по поводу умерщвления Иоанна, в то время как для него «злодеяние» однозначно заключалось в преступных деяниях Мировича. Сие различие рождало ужаснейшую двусмысленность, от коей Панин покрывался хладом и каменел.

Заметив сие страдание, Государыня положила на его ладонь свою мягкую руку. Среди ея свойств, он давно это заметил, главнейшим была исключительная теплота к верным людям, а проникновенное ощущение верности относилось также к одному из ее лучших свойств. «Друг мой», произнесла она с ободряющей улыбкой, «все ваши действия по сему прискорбному делу не вызывают у меня в душе ничего, кроме исключительного одобрения, а те сомнения, что бередят сейчас мое сердце, относятся вовсе не к действиям вашим, а к человеческой природе. Ласкаюсь думать, вы догадываетесь, что барон Фон-Фигин говорил с Вольтером о судьбе Иоанна. Хочу вам сказать, что великий поэт вознамерился даже взять сего несчастливца под свое личное воспитание. Барон, признаться, сиим предложением был вельми огорошен, однако не отверг. Бог мой, узнав о сем благородном порыве нашего всеобщего кумира, я была просто опьянена каким-то утопическим блаженством. Мне мнилось, что с помощью Вольтера станет возможным вот таким удивительным гуманитарным образом решить судьбу сего мученика, сего жертвенного агнца династических распрей.

Вы, конечно, помните, граф, что сразу после восшествия на престол я посетила Иоанна в его узилище. Признаюсь, никогда я не испытывал (иногда почему-то стала сбиваться на маскулинус) ничего более гнетущего. Передо мной было существо, вряд ли достигшее человеческого развития. Жалость, возникшая при виде косноязычного недоумка, познавшего сполна одно лишь чувство вечного страха, была так сильна, что я была потрясена в самом своем естестве. Мне захотелось немедля отречься и укрыться в каком-нибудь монастыре. Не думайте, что я лукавлю».

«Я так не думаю, Ваше Величество», сказал Панин. Поразительная женщина, думал он. Как сочетается все то, что я знаю, с тем, что познаю, когда она открывает душу?

Императрица продолжала: «Я хотела его спасти. Во всяком случае, жаждала этой попытки. Думала даже приблизить на правах великого князя. Но потом пошла эта череда заговоров: Хрущев, Хитрово, митрополит Ростовский...И все-таки отталкивала всегда мысль, что при мне свершится в России второе цареубийство. И вот оно свершилось. Что за рок довлеет над моей властью?!»

Панин несколько секунд молча смотрел на царицу. Сия последняя фраза, словно взятая из греческой трагедии или там от вольтеровской Семирамиды, была произнесена без театральности или подъема чувств, как будто просто о семейных неприятностях. Теперь наступала его очередь высказаться со всей серьезностью о существе дела. «Ваше Величество, я понимаю ваши чувства», сказал он, «однако не забывайте, что россияне не зря называют вас «матушкой»: вы целиком отдали себя сией державе. Прошу вас меня простить за сугубо политический слог, однако монарху часто приходится жертвовать обычными, пусть и благороднейшими, чувствованиями. Вот ведь и Фридрих Прусский, что в юности с пылкостью примеривал гамлетовский плащ, взойдя на престол, высказался в том духе, что не страна живет для принца, а, насупротив, принц – для страны, и тут же почал укреплять карательные порядки; не так ли? С этого угла зрения, Ваше Величество, вы, мне думается, согласитесь, что хищный заговор, способный ввергнуть державу в кровавую смуту, неожиданно обратился оной державе на пользу. И в этом смысле вы совершенно справедливо высказались в письме ко мне, что видите в этом деле «руководство Божие чудное и неиспытанное есть». Господь недаром поставил тут на стражу двух преданных Вашему Величеству и присяге офицеров. Конечно, они ведали, кто живет в сем трепещущем теле безымянного колодника, и убиение сего колодника было для них огромным страданием духа. А посему я ходатайствую о награждении сиих офицеров как героев, остановивших мрачнейшее злодеяние».

Начав произносить сей монолог, Панин пару раз углядывал, как из-за ширмы, разделявшей обширную каюту, мелькали молодые мордахи знакомых фрейлин, по завершении же он уже ничего не видел, кроме пряжки на своем башмаке. Опалы не выдержу, вдруг подумал он. Сбегу на родину предков. Хоть ресторацию какую-нибудь открою в Равенне. Подняв голову, он с удивлением обнаружил, что Екатерина раскуривает трубочку. Заметив его взгляд, она рассмеялась.

«Вот пристрастилась за время балтийского путешествия с легкой руки барона Фон-Фигина. Теперь придется отвыкать: народ содрогнется, узрев «матушку» со шкиперской трубкою». Графу ничего не оставалось, как присоединиться к беззаботной шутке. «Да ведь можно сказать, что сия трубочка – наследие деда вашего, Петра Алексеевича!»

Только после сего дивертисмента императрица вернулась к серьезному тону. «Я к вашим весьма хорошим распоряжениям, Никита Иванович, иного добавить не могу, как только, что теперь надлежит следствие над винными производить как без шумихи, так и без всякой скрытности, понеже немало лиц имеют в нем участие».

Панин вздохнул: бегство в Италию отменяется. С берега через приоткрытые окна кормы донесся до двух собеседников гром военного оркестра и крики толпы: столица готовилась к встрече монархини.

«Этот Мирович, он ведь Смоленского полку, не так ли?» вдруг спросила Екатерина неожиданно тяжелым, едва ли не ужасным голосом. Панин изумился. «Да откуда же вам сие известно, Ваше Величество?!» Она не ответила, пусть думает – откуда.

Она вспомнила, как однажды, тому не более полугода назад, она медленно галопировала на Семеновском плацу перед строем Смоленского полка и обратила внимание на молодого офицера. Как и все прочие командиры, он стоял впереди фрунта, однако не сиял преданностью, как все прочие, но пребывал в едва ли не мраморной застылости. Она заста-

вила коня с минуту поплясать перед ним. Молодые офицеры привлекали постоянное внимание тридцатичетырехлетней вершительницы судеб. Она делила всю эту братию на возможных любовников и возможных бунтовщиков, сиречь убийц, хоть и была совершенно уверена, что в каждом из этих молодчиков с тугими ляжками живет и тот, и другой. Была бы возможность, любого из них сделала бы она любовником и таким способом погасила бы в нем убийцу цариц. Пусть в каждом из них живет хоть бы надежда стать ее фаворитом. «Кто таков?» спросила она командира полка. «Поручик Мирович, Ваше Величество», был ответ. Она улыбнулась мраморному поручику, но тот не ответил на улыбку. Может убить, подумала она и поскакала дальше вдоль фронта, чтобы через минуту о нем забыть. Теперь вспомнился. Жаль, не выдернула тогда этого, с большой подпольной думой, из строя, не спасла, не обласкала, не включила в союз вольтерьянцев.

«Есть еще один вопрос, Ваше Величество», дошел до нее голос Панина. «Член суда, барон Черкасов, представил письменное мнение, что Мировича надобно пытать с целью открыть сообщников или подстрекателей. Иные члены собрания не одобрили письма и даже сочли его оскорбительным. Теперь все зависит от вашего повеления».

Он был уверен, что монархиня выскажется против пыток, однако ответ оказался иным.

Она сказала:

«Повелеваю вам ни присоветовать, ни отговаривать от пыток; дайте большинству голосов совершенную волю».

То ли в этот день, то ли в другой, то ли в нашем отсчете времени, то ли в каком-нибудь еще, то ли во сне, то ли наяву философ Аруэ де Вольтер пребывал на набережной в копенгагенской гавани Нихавн на большом празднике, посвященном завершению последней по счету, то есть Третьей вольтеровской войны. Так, во всяком случае, ему это казалось, у хозяев, возможно, были и другие причины для ликования.

Дело в том, что после ухода российского корабля Остзейское кумпанейство стало стремительно разбегаться с острова Оттец, обрекая сей славный клочок земли еще на пару столетий забвения и убожества. Одним из первых, собственно говоря, уехал как раз Вольтер. Через статс-секретаря Лорисдиксена он получил приглашение стать гостем датского двора. Тут же ответил согласием. Среди причин сей сговорчивости непоследним было желание утереть нос Санкт-Петербургу и прежде всего тому, кто навязался в близкие друзья, «дорогому Фодору». Что за манеры процветают при этом российском онемеченном дворе? Устроить все эти сомнительные машкерады, разыграть философическую гармонию с участием «самого Вольтера», разбередить старые раны, вынудить на откровения интимного характера, а потом в одночасье исчезнуть, не объяснив причины, не посвятив в тайны!

Пусть теперь Екатерина увидит, что на ней свет клином не сошелся и что Вольтер – это не только влюбленный старик, но также и тот, кто в обиходе зовется «светочем человечества»!

Недаром, нет, недаром из Свиного Мунда, чтобы забрать его на борт, приходит лучший фрегат датского королевского флота «Золотая утка»! Датская крона не уступит в твердости царскому рублю! Писатели ваши, мадам, – это жалкие придворные прихвостни, в то время как Вольтер – независимый богач, коего еще надо упрашивать принять многотысячные дары! Пусть Бюффон дрожит перед всеми этими шкатулками с коллекциями медалей, мехами и сибирскими артефактами. Вольтер лишь сдержанно поблагодарит и передаст сопровождающим.

Он прогуливался по опустевшим галереям замка Доттеринк-Моттеринк, из коего по отбытии барона Фон-Фигина испарились даже и привидения, если не считать вконец уже исстрадавшихся чертиков Ферне. Ита-

лия прекратила навещать здешние берега. Кончился июль, и вместе с августовской серой прозрачностью в контурах острова и в низких теченияx волн на мелководьях стала преобладать специфическая балтийская меланхолия. Тут все так расположено, думал Вольтер, что кажется, будто видимый мир пересекается с невидимым. Иногда на закате, когда красное медленно переплавляется в черное, едва удерживаешься, чтобы не схватиться за голову и не исторгнуть бессмысленный от ужаса вопль. В другое время проходишь мимо дерева и вдруг понимаешь, что это вовсе не дерево, прежде всего потому, что оно само не знает, что оно дерево, как ты и сам не знаешь, кто ты таков.

Балтика может в будущем стать бассейном философии благодаря склонности ее народов, во-первых, к специфической меланхолии, во-вторых, к особой тупиковости сознания и, в-третьих, к пиву. Сюда придут своего рода северные аватары. Предположим, в Штеттине, где всего лишь тоидцать пять лет назад родилась Екатерина, появится настоящий, не то что я, великий философ замкнутого круга жизни. В Кенигсберге, отравленном колдунами, возникнет человек, который осмелится сказать о непознаваемости вещей. В Копенгагене, куда мы сейчас отправляемся, будет жить какой-нибудь то ли нормальный, то ли калека, предчувствующий окончательное пожарище. Так или иначе, но сии мыслители пребудут вдали от парижских дамских салонов.

За день до отбытия пришел генерал Афсиомский, «дорогой Ксено», и поклялся Вольтеру в вечной дружбе и в глубочайшей благодарности, кою будет испытывать к нему передовая, то есть «вольтерьянская», Россия. И лишь известная всему миру вольтеровская любезность помешала послать его к чертям. К тому же два чертенка уже сидели на плечах графа Рязанского и заглядывали ему в уши, хоть он их и не видел.

Вслед за этим «Ксено» сказал, что в соответствии с договором Вольтера до самого Ферне будет сопровождать российский эскорт во главе с полюбившимися ему кавалерами Буало и Террано, на коих, как ты и сам знаешь, мой Вольтер, можно в высшей степени положиться.

И наконец третье, мой мэтр и друг, то, что не доверю, кроме тебя, никому, даже и самому высочайшему лицу, вот этот карне мягкой бумаги; здесь мое всё. «Не иначе как векселя», улыбнулся философ.

«Несравненно выше, чем векселя», с грустным достоинством произнес секретчик. «Здесь повесть о путешествиях моего альтер эго, благородного византийского дворянина по имени Ксенофонт Василиск. Как писатель писателя, прошу тебя прочесть и написать мне о своих впечатлениях. Сдается мне, что сия исповедь мятущегося духа произведет в Европе оглушительный отклик». «Ксено, если ты уже знаешь, какой будет отклик, зачем тебе мои впечатления?» с притворной туповатостью удивился Вольтер. «Вот именно с твоими впечатлениями в виде предисловия сии записки и произведут соответствующий отклик», с притворной наивностью ответствовал генерал. «Куда же мне послать впечатления? Ведь ты или твое второе «я», как я понимаю, вскоре отправитесь в очередное маркополовское или колумбовское путешествие», предположил Вольтер. «Просто оставь листок в конверте на окне своего кабинета в Ферне и отвори фортку», скромно предложил граф Рязанский. На том они расстались.

Грусть Вольтера, или, если угодно, его новая «балтийская меланхолия», еще больше усилилась, когда он поднялся на борт фрегата «Гюльдендаль». Он чувствовал, что закрывается еще одна глава почти уже прочитанной книги. Впервые он ощутил тщетность своих усилий перевоспитать человечество. Почему я так надеюсь на этих хитрых скифов, на Россию, если даже сама возлюбленная моя Екатерина вместо самое себя посылает на встречу со мной некий маскулинический фантом, естественный скорее в зоне сна, чем в объективной невтонической реальности? Я теряю грань,

проклятый Сорокапуст, он же Видаль Карантце, вот-вот втянет меня в кошмар, названный по секрету «вольтеровскими войнами», и уж больше нельзя надеяться на появление усатых прелестниц из фон-фигинского полка. Вообще на что еще можно надеяться по прошествии семи десятков лет надежды? Да полно, помню ли я еще те мои, столь парижские, молодые восторги? Вдруг выплыл, как будто отпечатался между памятью и морским горизонтом, старый стих, посвященный Эмили:

Si vous voulez que j'aime encore,
Rendez-moi l'age des amoure;
Au crepuscule de mes jours
Rejoignez, s'll se peut, l'aurore.

А за горизонтом и за памятью кто-то тут же ответствовал русским почему-то понятным, хоть и мгновенно исчезнувшим переводом:

Ты мне велишь пылать душою:
Отдай же мне минувши дни
И мой рассвет соедини
С моей вечернею зарею!

Шелковым платком он посылал приветы остающимся, собравшемуся на северном бастионе цвейг-анштальтскому семейству, и накапливающиеся в угловых лакунах глаз слезы мешали ему увидеть, что и семейство, то есть великий курфюрст Магнус, и великая курфюрстина Леопольдина-Валентина, и девочки, и дамы двора, и некоторые мужья, уцелевшие ветераны европейских ристалищ, чьими усилиями в добрые старые времена обогащалась казна, о разграблении коей только и думает новое поколение, – в общем, что и семейство тоже плачет.

Лишь в Копенгагене, который по праву называют «Парижем Севера», меланхолия Вольтера несколько рассеялась. На празднестве в Нихавне герольды объявили о его присутствии, и тут же тысячи глоток превратили это событие в празднество Вольтера, защитника протестантов. Он сидел на помосте рядом с королем Фридрихом Вторым, в окружении членов королевской династии и главных вельмож скромной страны. Слуги подавали приличное вино. Какой-то человек – или не совсем человек? – на ухо попросил его провозгласить окончание вольтеровских войн. Тут же, словно под ударом докторского молоточка, у него подскочила коленка. Кто проведал тут про существование несуществующего? Он обернулся. Вместо человека у него за спиной стоял большой датский дог. Пришлось встать и удовлетворить просьбу сего порядочного существа. В шуме гульбы никто не расслышал ни единого его слова, но все приветствовали стройным ревом: «Так, так, Вольтер!» Заиграла большая музыка, запел специально приглашенный из его любимой Англии хор Кентерберийского собора; он исполнял ораторию Генри Парселла «Хейл, хейл, брайт Сесилия!»

Слезы текли из глаз и не могли остановиться. Так же не могло остановиться божественное пение, оно напоминало переливы святой воды. У этого пения уже не было ни начала, ни конца, как будто пелось за пределами того, у чего есть и начало и конец. Исчезло все, все радости и обиды, все искрящиеся парадоксы и тяжкие думы, собственное имя и имена друзей, осталось одно лишь переливающееся ликование.

Он лежал на помосте, дергались руки и ноги, он их не чувствовал, как не чувствовал ничего, кроме вливающегося в душу хора. И только губы еще пытались изобразить блаженство.

Позднее в кабачках следующим образом обсуждалось событие. Этот французский Вольтер, он грохнулся в обморок, когда заиграла музыка. Все уж думали, преставился, но тут два молодца из его свиты скакнули на помост. Один хвать его за ноги, а второй стал общупывать грудь, будто ис-

кал там какую-то жизненную жилу, и, что бы вы думали – нашел! Старикашка после нажатия на жилу весь намок, даже изо рта что-то вылилось, пузырящееся, как пиво, однако ожил. Его посадили в кресло, и он помахал толпе превосходным кружевным платком. Я сам не видел, но брат мой сказывал, что будто бы заметил, как какие-то чертики проплясали вокруг оного Вольтера жигу. Вот что я сам видел, так это королевского пса Мальгрема. Готов поклясться, он лизнул гостя – не знаю, уж чем тот так знаменит, – в лицо.

«Клоди, ты никогда не обращала внимания, что после отъезда русских над островом перестали появляться те странные, чрезмерно крупные голуби, которые так нас всех забавляли?» спросила одна из сестер-курфюрстиночек.

Вторая почему-то надулась и даже дернула плечиком.

«В чем дело, мадемуазель, позвольте узнать?» не без вызова вопросила первая.

Сестры сидели в их излюбленных позах, свесив босые ноги со стены замка над бухтой, в которой еще недавно так красочно геройствовали их шевалье.

«Ты прекрасно знаешь, в чем дело», ответствовала вторая. «Когда тебе надоедает быть Клоди и хочется стать Фио, ты называешь меня Клоди, чтобы я называла тебя Фио, и думаешь, что тебе так сойдет. А между тем ты – это Клаудия, а я – это Фиокла по одной простой причине, что именно так мы были наречены».

Первая весело рассмеялась. «А ты уверена, что в младенчестве нас не перепутали нянюшки?»

Вторая подбоченилась. «Ах, так? Вот я сама тебя буду называть то Клоди, то Фио, и пусть у нас и сейчас все перепутается!»

Благороднейшие мадемуазели принялись тут друг друга с притворством дубасить, что завершилось, разумеется, поцелуями. Близняшки так беззаветно любили друг друга, что и сами, как было уже отмечено, иной раз сомневались, кто из них Клаудия, а кто Фиокла.

«А все-таки имеется между нами одна весьма существенная разница», сказала вторая.

«Я знаю, что вы имеете в виду, Ваше Высочество», сказала первая. «Вы правы, Мишель – это мой шевалье, а ваш – Николя».

«Ежели бы только они умели нас различать», вздохнула вторая. «Что за странная между нами, Ваше Высочество, разыгрывается кумедия в итальянском стиле».

И, вспомнив уношей, сестры перешли с восточной стены бастиона на западную и стали смотреть в сторону Копенгагена и чуть левее к югу, в сторону Парижа. Когда уж они вернутся из своей экспедиции, да и вернутся ли, как обещали?

Задержка всего семейства на острове Оттец имела серьезное политическое – а то даже и историческое, как говаривал монарх, – значение. Надобно, чтобы слух прошел по Германии и Скандинавии, что цвейг-аншталтский-с-бреговиной двор сделал сей живописный клочок Европы своей резиденцией. После проведения здесь Остзейского кумпанейства всему миру стало ясно – в том числе и заносчивой Дании, – что за Магнусом Пятым стоит не кто иной, как российская Императрица со всем своим флотом и казначейством. Ну, Дания как-нибудь и без Оттеца перебьется, а вот кому надо утереть нос, так это тетушке, герцогине Амалии, с ея сентиментальными воспоминаниями. Не исключено даже, что почтенная дама придет в конце концов к мысли о слиянии ее пфальца с величественной державой Цвейга, Аншталта и Бреговины, а там, глядишь, и вольный бург Гданьск протянет руку Свиному Мунду, дабы выйти из зоны вечного за себя польско-прусского соперничества.

Таким мыслям предавался наедине с самим собой курфюрст, покручивая оставленный хозяйством Афсиомского глобус и останавливая его всякий раз верным пальцем в верном месте. После отъезда гостей он въехал в покои императорского посланника барона Фон-Фигина. Ему пришлась по душе их ненавязчивая роскошь, а больше всего – по секрету – то, что в разных углах обширного помещения наталкивался он на дамские панталончики. Он складывал их в скрытные ящички за книгами библиотеки и иногда извлекал то одну, то другую шелковистую невесомость, дабы погрузить в нее свой готический нос. Запахи далекого, а все-таки, как мы видим, и не совсем далекого, Петербурга будоражили воображение и исторические амбиции этого, казалось бы, уже замшелого монарха.

Между тем в отсутствие гостей, а в особенности без графа Рязанского с его бездонным бюджетом, замок начал стремительно приходить в упадок. В парке откуда ни возьмись появились и повсеместно разрослись большущие, как слоновьи уши, лопухи. Пруды затянуло тиной, столь плотной, что коты и лисы пробегали по ней, ни единожды не замочившись. Забыв свой патриотический долг, садовники перестали обихаживать недавние насаждения. Да и вообще перестали появляться среди насаждений оных. «Их надо возвращать и сечь!» распорядился курфюрст. Министр внутренних дел племянник Хюнт развел руками. «Кем сечь, Ваше Высочество?»

«Чем сечь? Министр режима должен знать, чем непослушанцев секут! Розгами! А злостных – фухтелями!» «Не чем, а кем, Ваше Высочество, вот в чем вопрос. Те, кому по службе положено сечь, тоже разошлись». Обескураженный курфюрст забегал по своему любимому кабинету. «Да что же получается, Хюнт? Почему весь этот сброд разбежался?» Долговязый племянник всунул голые ноги в деревянные башмаки: кожаные туфли не носил из экономии. «А вот этот вопрос надобно обратить к министру финансов, кузену Людвигу, Ваше Высочество. Неоплаченный народ по своему обычаю разбегается. Остаются только родственники».

Не лучше обстояло дело и с питанием. Огромная кухня, в коей еще недавно кудесничали нанятые Афсиомским шеф-повары, просто повары и младшие повары, отвечающие по отдельности за закуски, супы, главные блюда и десерты, кухня, шипевшая ароматными парами, трещавшая масляными пузырями, оглашаемая бодрыми возгласами на поварском жаргоне столетия «Ж'арив!», «Вуаля!», «Аллез'и!», теперь лишь гудела зловещим хладом, если он может гудеть, этот проклятый хлад, а он может, буде соединен с заунывным гладом.

В начале «эпохи забвения» – как иной раз про себя именовал сию историческую ступень Магнус Пятый – из кабинета министров поступил на кухню намек, что старания кулинарных патриотов будут вознаграждены: каждому в конце дня будет разрешено угощаться из не до конца востребованных кастрюль. Речь шла, конечно, о картофельном супе «Воляпюк», который дольше других изысков подтверждал свою живучесть. Вот именно после этого щедрого предложения кухня и опустела окончательно, а остатки «Воляпюка» превратились в застывшие на дне кастрюль нечистоты.

Несколько дней прошли без горячего. Курфюрст облачился в стальные доспехи. В правительстве, то есть в семье, начались разговоры, не готовит ли монарх набег на какое-нибудь соседнее государство, однако он объявил, что принял важное решение в области укрепления собственной Цвейг-Аншталь-та-и-Бреговины национальной идеи. Будет создан большой портрет государя в боевом «отпаде», как тогда в элитарных кругах называли стальные доспехи. Работа будет поручена двум самым талантливым живописцам двора, принцессам Клаудии и Фиокле. Готовый оригинал портрета с увеличенной яркостью глаз будет выставлен в новой столице на острове Оттец, а несколько копий разместятся в магистратах по обе сторо-

ны пролива. Граждане будут допущены на просмотр за умеренную, но и не символическую, плату. Таким образом им будет дана возможность укрепить патриотизм, а заодно и казну обожаемого государства. Далее вступит в действие секретная часть плана. Собранные деньги как раз и пойдут на разгром какого-нибудь соседнего герцогства. Скажем вперед, что этот секрет так и остался в самом узком кругу, то есть у курфюрста за пазухой.

Девочки пришли в восторг. Давно уж они не писали парсун маслом в две руки. Сердечное томление отвлекало от искусства, и вот теперь появилась возможность заполучить в качестве модели вечно занятого папочку, и даже романтические шевалье были забыты. Холсты, кисти и краски были, разумеется, найдены в запасах генерала Ксено, дальновидного до чрезмерности. И вот троица уселась. Боже, замирали принцессы, как он хорош, этот наш курфюрст, сколько силы может живописец обнаружить даже в его носогубных морщинах, не говоря уже о высоком его челе, вмещающем толь много вдохновенного гуманизма! Что уж тут тужить о горячих обеденных сервировках, можно и сухими бисквитами обойтись, ежели все обыденное забываешь, трудясь в искусстве!

А папочка на сих сеансах едва ли не впадал в сущий родительский трепет. Дочки мои, удвоенный вариант девичьего, да что там, просто человеческого совершенства; какой монарх не поблагодарит судьбу за сей дар небес! Как же так получилось, что я не могу им обеспечить даже горячего питания?! Да я хоть треть нашего пфальца отдам за то, чтобы вздуть огни на кухне, если не дотянем мы до обещанного Фон-Фигиным векселя из Петербурга!

И вдруг оказалось, что можно еще повременить с продажей Бреговины, и произошла сия передышка благодаря героическому подвигу курфюрстины Леопольдины-Валентины-Святославны. Однажды воскресным утром она вышла из замка во главе целой компании статс-дам и фрейлин двора, то есть своих родственниц по линии супруга. Вся эта группа, персон не менее дюжины, в затрапезных платьях пешком проследовала в Цум Линденбрюгге, крошечный городишко рыбаков и овощеводов. Там в тот день все население острова Оттец собралось на базар и молебен в единственной кирхе. Публика была потрясена явлением курфюрстины со свитой. Затрапезные, то есть вышедшие из моды, одеяния показались островитянам верхом роскоши, французскому языку они внимали, как стрекотанию ангелов. Преклонив колени в скромном храме, дамы проследовали в торговый ряд и там обменяли несколько пустяковых колечек на количество лососей и овощей, достаточное для заполнения двенадцати объемистых корзин.

Сей, собственно говоря, первый в истории поход «в простые люди» невероятным образом взбудоражил и вдохновил участниц. Курфюрстине не пришлось убеждать их в пользительности деяния и упрашивать о продолжении усилий. С веселым гоготом гусынь дамы устремились в кухонный зал и вздули там еле тлеющий огонек айне гроссе гастрономи. Плита загудела. На шум, бросив рисование любимого папочки, прилетели курфюрстиночки и, подоткнув парижские платьица, взялись за швабры. В конце концов на помощь высшим дамам отчизны спустились и чопорные горничные. Некоторые еще помнили, как чистят рыбу. Так впервые за две недели в Доттеринк-Моттеринк был приготовлен горячий ужин.

Все пошло если и не хорошо, то вполне сносно. Мужчины, снисходительно похваливая дам за благотворные связи с новыми подданными, после сытных, хоть и слегка подгоревших, чуточку пересоленных ужинов собирались в каминной, где еще недавно звучал звонкий старческий глас Вольтера, и обсуждали кое-какие военные планы на случай изменения геополитической то ли экспозиции, то ли диспозиции. Все почему-то связы-

вали эти планы с возвращением каких-то «наших». Вот наши вернутся – и тогда все будет яснее. Да, с приездом наших разберемся в этой довольно хитрой ситуации. Может быть, наши еще недостаточно опытны, но уж решительности-то у них не отнимешь. Те, кто дрался под Цюкеркюхеном, значит все присутствующие, помнят атаку наших, не правда ли, господа? Помните, как замелькали эти желтые с синим накидки? Мы-то думали, шведы нам бьют в задницу, а это, оказывается, наши со своими гусарами скачут. В этом месте любой, даже невнимательный читатель смекнет, что за словцом «наши» скачут не кто иные, как юные шевалье вольтеровского эскорта, Мишель и Николя.

И никто почему-то не задается вопросом, зачем этим уношам возвращаться на заброшенный островок, всем и так вроде бы ясно, что скачут, скачут на своих мифических конях, чтобы припасть к чьим-то туфелькам, поцеловать краешек платья, раствориться в любовном блаженстве.

Увы, раньше наших унцов на остров возвратились те, кого меньше всего ждали.

Однажды ночью Магнус Пятый проснулся, услышав долгий, будто бы даже бесконечный, идущий снизу, вот именно из утробы, и поднимающийся до самых верхних альвеол вопль своей супруги. Вскочил, налетел в темноте на кресло, зажег свечу, понес ее перед собой, побежал на дрожащих ногах, ничего не понимая, а только взывая к Тому, в ком всегда сомневался. Никогда прежде сдержанная цесаревна ничего подобного из себя не извергала, даже при мучительных родах двойняшек, когда он сам чуть не отдал душу Тому, в ком сомневался.

Первое, что он узрел в ее спальне, были два масляных факела. Их держали два человеческих чудовища. Затем в бликах огня узрел он на кровати растопыренные ноги Леопольдины-Валентины, а между ними, в глубине среди подушек, ея зияющий рот. С одной стороны кровати, завязывая гульфик, спускалось еще одно человеческое чудовище, с другой стороны, развязывая гульфик, громоздилось на кровать чудовище четвертое.

Пятое чудовище, как видно, уже пресытившееся его любимой, его красавицей-цесаревной, всем смыслом его не очень-то лепой жизни, сидело в кресле между двумя факелоносцами. Оно имело примечательную внешность со своей ярко-рыжей бородою и рваной ноздрею. Увидев монарха, как он был, в длинной ночной рубахе и колпаке, без коего в ту эпоху не отходил ко сну ни один джентльмен, чудовище зашлось от хохота. «Сам! Сам пожаловал! Эй, рейтары, встать по стойке «смирно» перед Его Высочеством!» В пасти его нехватало резцов, зато с клыками было все в порядке.

Взвизгнув в полном беспамятстве, курфюрст пронесся от дверей по обширной спальне к кровати и со всего размаху воткнул свечу насильнику меж ягодиц. К воплям курфюрстины и хохоту краснобородого присоединился рев обожженного. Началась страшная возня, в ходе которой вспыхнул и прогорел тюлевый балдахин. Нечеловеческим усилием Магнусу удалось завладеть палашом одного из чудовищ и тут же погрузить его в жирное пузо другого. Хлынула кровища, запахло серой. В конце концов в спальню прибежало еще несколько так называемых «рейтаров». С их помощью удалось обратать обезумевшего монарха. Он был привязан к колонне резного дуба и тут уж обвис в бессильном дрожании.

Краснобородый подошел к нему, поднял за жидкий хохол голову, заглянул в глаза. «Ты неплохо свирепствовал, Магнус Пятый! Эй, рейтары, кто хочет самого курфюрста, ой умру, поставить в раскоряку?» Не дождавшись положительного ответа, он порвал рубашку на плече суверена и своими клыками глубоко прокусил сероватую кожу. «Сорока ты окаянная», почти ласково пробормотал он. Потом крикнул своим, которые уже обирали недвижное тело с проколотым пузом: «Тащите Магнуса в тронную залу, там разберемся!»

«А что с бабой прикажешь делать, Барбаросса?» спросили чудовища. «Пожалеть ее, что ли, под ребро?»

«Да ты чё?! Она же герцогиня тута, евонная типа супруга. Мы нонче Ее Высочество заделали, можем гордиться! Скоро вся Европа и Россия вспыхнут, точите концы!»

Захват замка Доттеринк-Моттеринк был как по нотам разыгран наемной бандой Барбароссы, то есть Красной Бороды. То есть в том смысле, что именно под сим именем оное чудище обло, озорно щас выступает, дрынт его в кульдесак. Сначала подплыли на трех баркасах, числом не менее сотни, к флоту Его Высочества, дремавшему на якорке. Флот Его Высочества состоял из гребного корабля, похожего отчасти на римскую триеру. Гребцов на нем давно уже не было, зато присутствовали четыре пушчонки, взятые якобы в боях, а на самом деле снятые с забытой императорским флотом галеры. Вырезав мирно храпящий экипаж в количестве трех ветеранов шутейных боев из Швейского устья, банда зарядила пушчонки тем, что там было, то ли ядрами, то ли гирьками разновеса. На случай отпора со стен казематов сия разношерстная дезертирская кумпания – иных мы помним еще по славному граду Гданьску – готова была открыть устрашающую канонаду. Оная не потребовалась. Замок, включая и стражу, либо безмятежно почивал, либо странствовал в сновидениях. Выбравшись из своих лодок, мародеры молча, как волчья стая, устремились к стенам. Пройдя внутрь, они разделились на группы и со знанием дела помчались по коридорам и галереям. Красная Борода с подручными почти немедленно ворвались в спальню курфюрстины, где и разыграли только что описанную сцену.

Другим, судя по нарастающим звукам боя, повезло меньше. Услужливое эхо, бессумнительно, связанное с нечистой силой, разносило во мраке то громоподобные выстрелы, то лязг холодного оружия, то бешеные выкрики, то грохот валящихся на каменный пол туловищ в кирасах.

Луна как всегда присутствовала в полном великолепии. Именно она ярко освещала обширную террасу, где еще недавно проходил вольтеровский бал с котильонами и мателотами. Именно туда из глубин замка вытеснена была группа придворных стариков, успевших вооружиться чем попало, в основном – сорванными со стен старинными шпагами и алебардами. Бандиты, почитавшие себя самыми опытными на побережье наемными солдатами, напоролись в сем случае на неприятственный сурприз. Цвейганштальтские старцы и сами ведь в свое время зарабатывали на буттерброттеры воинской службой под знаменами не только герцогов и королей, но даже и восточных владык, будь то Порта или Багдадский халифат. Представляя из себя в сей момент вельми комическую, несмотря на убийственную трагедию боя, компанию в ночных рубахах или в лучшем случае в шлафроках, старики демонстрировали великолепное фехтование с обманными замахами и кистевыми выпадами снизу и сверху, то и дело поражавшими чумные башки или подвздошные органы мазуриков. Кровь взлетала фонтанами или изливалась, как из прорванной трубы, образуя в дверях на террасу липкую и скользкую поверхность. Прибегающие на шум боя новые бандиты оскальзывались в этой луже и тут же падали под старческим фехтованием.

Для преступных кумпаний характерно стадное чувство. Зверея от общих успехов, они показывают чудеса храбрости. Потери весьма быстро рождают в шайках панику. В этом бою один лишь миг отделял шайку от того, чтобы грянуть в бегство. Спасло их только появление за их спинами огромного, в два человеческих роста, скелетоподобного привидения. Ничтоже сумняшеся урод пальнул в героических старрриков из двух мушкетонов. Почти все герои были поражены гороховидной шрапнелью. Один лишь маркграф фон Штауферберг, сводный брат тетки курфюрста, еще

некоторое время вращал алебардой, но и он в конце концов пал, сраженный брошенным абордажным топором.

В этот как раз момент в дальнем кругу террасы появились две тоненькие девичьи фигурки с арбалетами. Фио и Клоди не посрамили свой древний род. Две стрелы были выпущены в гущу банды, еще двое гадов грохнулись в кровавую лужу, многосемейный кормилец Монди Флякк и любимец блядей Хомит Чаррота, и так, впрочем, подыхающий от скверной болезни. Увы, девушки не успели перезарядить свое столь похожее на скрипки Страдивари оружие. Явившийся лично собственной персоной Барбаросса с удалым калмыцким посвистом швырнул башкирский аркан, так что обе девушки были схвачены одной, мгновенно затянувшейся петлей.

Бой был окончен, началась вакханалия расправ. Все уцелевшие члены династии, включая фрейлин, шаперонш и статс-дам, были загнаны в тронный зал и подвергнуты издевательствам. Израненных воинов приволокли туда, как туши мяса. Курфюрст покачивался и слегка вращался, подвешенный на крюке под ребро в середине кошмарного воздуха. Изувеченная курфюрстина медленно агонизировала на мозаичном полу. Из глубин замка доносились сатанинские вопли победителей: шел погром винных погребов графа Афсиомского. Оставшиеся наверху страшные рожи – между ними как на подбор присутствовали все сущие на Земле этнические типы – по приказу сидящего в главном кресле, то есть на троне, краснобородого умертвляли того или другого раненого; кому пронзали грудь, а кому и просто крушили горло сапогом.

Человек десять окружили связанных вместе курфюрстиночек, стояли гогоча, отпуская похабные шутки, делая жесты, перегибая левой ладонью правую вздрюченную лапу, вырывали из-под юбок кружева, однако пока что не бросались: как видно, ждали команды. Девушки старались на гадов не смотреть, неизвестно от чего более страдая, от страха или от омерзения. Вдруг за башками гадов заметили они одного, вроде бы не совсем гадского человека в обыкновенном темном сюртуке сродни тем, что носят какие-нибудь малоимущие химики. Собственно говоря, это был тот же самый гигантский призрак Сорокапуст, но в сей момент уменьшившийся до обычного человеческого размера. Да и смотрел он на них не с гадской алчностью, а с некоторой вроде бы беспристрастностью, как бы говоря, что, мол, поделаешь, вы сами, дескать, во всем виноваты, родившись принцессами, Ваши Высочества. Девушки повернули головы к нему, отчаянно позвали взглядами: «Господин Карантце, ведь вы же были у нас в гостях, участвовали в машкераде! Во имя вольтеровских идей, пожалуйста, помогите!»

«Нет-нет», ответствовал вслух призрак. «Я здесь в роли доктора. Ежели затошнит, позовите меня, я дам вам нашатырного спирту».

Между тем за высокими стрельчатыми окнами начинался восход безмятежного солнца. Мягкий свет растекался по залу, там и сям озаряя недавно отреставрированные фрески с библейскими сюжетами. Факелы погасли, кроме тех, коими поджаривали пленников. Барбаросса махнул рукавицей. Курфюрста опустили пониже, чтоб он повис прямо напротив главного гада. Тот показал ему клыки. «Не бойся, тиран народа, больше кусать не буду, ты не сладкий. А вот дочки у тебя очинно даже сладенькие. Ну, говори, где злато награбленное прячешь, а не скажешь, мы девок у тебя на глазах обдерем!»

Магнус замычал, как бы силясь что-то выговорить. Безумная идея путешествовала в его умирающей голове. Надо время протянуть как можно дольше, и тогда весь этот кошмар внезапно кончится, как кончилось поражение при Цукеркюхене, как будто его и не было. Еще, еще протянуть время, и тогда «наши» войдут во всем блеске молодости и силы имперс-

кой, а мы все живы и целы, словно просто за фриштиком сидим и пьем полезный свекольный сок. Тут всего-навсего смешалось то, что существует, и то, что не существует, но кошмарами подразумевается. Надо просто выговорить зацепку и еще время протянуть. Тут наконец он выговорил зацепку:

«Злато есть, ваша честь. В подвале замка, там, где крипты, там нужно стенку сломать. Найдете двенадцать бочонков, ваша честь, в них злато».

Через некоторое время, которое, к вящему огорчению умирающего курфюрста, шло своим чередом, дюжина гадов, куражась и приплясывая, вошла с бочонками. Один из гадов, некогда бывший трудолюбивым ковалем на Волыни, содрал обруч и ножом развалил бочонок, как арбуз. Вместо ожидаемого золота внутри оказались соленые огурцы, сия любимая закуска руссише фолька. Барбаросса несказанно удивился. «Ты, значит, покуражиться над нами решил, поразвлечься?» сказал он Магнусу Пятому. «Ну чаво ж, давай вместе не скучать. Ну-ка, хлопаки, подвесьте его теперь за нуссе!»

Еще не успели хлопаки вдосталь позабавиться над царскими гениталиями, как десять бочонков были в ярости разбиты о стену. Из одного действительно на пол рухнуло злато, если так можно сказать о германских монетах не всегда перфектного чекана. В других были где огурцы, а где и икра, эти паршивые рыбьи яйца, кои русские дурни ценят на вес золота. Двенадцатый бочонок остался неоткрытым. Кто-то в злобе пнул его сапогом, и он, самый, между прочим, интересный, беспрепятственно прокатился почти до церемониальных дверей. Краснобородый поскучнел. Надоть было теперь закруглять казацкое веселье, кончать всех, кто еще шевелился, из Грудерингов и своих подбирать павших бойцов, дабы не опознали отряд прусские альбо датские власти. Впрочем, девки вон еще остались нетронутые. «Эй, аффеншванцы, давай позабавьтесь с принцессами, вы этих путан заслужили!»

Далее произошло нечто обескуражившее отважных гадов. В руке у одной из курфюстиночек оказался нож, явно острый, как бритва. Мгновенно она рассекла путы, и обе девочки бросились к разным выходам из зала. Одной из них – затрудняемся среди сего ужаса сказать кому, Клаудии или Фиокле, – удалось убежать. Другая, именно та, что была с ножом, стала добычей рассвирепевших гадов. Целая куча смердящих навалилась на нее. Лишь один, первый, рухнул на бок, захлебываясь своей кровью. Остальные пошли друг за другом, выстроилась гогочущая в полном безумии очередь.

Из угла тронного зала за этой сценой наблюдал задумчивый Видаль Карантце. Так, собственно говоря, и получилось, как он задумал, когда передавал нож и шептал «ESPERER!» Именно так и нужно было, чтобы не обе спасли свой девичий цвет, а одна, чтобы одну изнасиловали, а не обеих. А теперь нужно сделать так, чтобы обе остались живы, порченая и нетронутая. Вот такую мы и представим загадку сему куртуазному веку.

Придя к сему решению, Карантце извлек из карманчика на своем захудалом кафтанце серную спичку (надеемся, что к этому времени сии полезные предметы уже были в ходу, если же нет, неважно, заменим ее какой-нибудь одноразовой шпучкой), зажег ее об одну из своих видавших виды подошв и бросил сей почти невесомый огнь через весь огромнейший зал. Пролетев столь солидное расстояние, огнь упал на оставшийся неоткрытым двенадцатый бочонок, и поджег случайно пролитое на него факельное масло. Бочонок рванул (правильно, там был порох)! Тут же вспыхнуло огромное пламя. Лишь немногие из гадов, да и те с горящими задницами и головами, сумели выбраться из пожара. Карантце же беспрепятственно прошагал через огонь, то есть через довольно знакомую ему стихию, к неподвижно лежащей девочке – то ли Клоди, то ли Фио, – за ногу вытащил ее в каменную галерею, бросил там, а сам спрыгнул в море.

Так в то безмятежно солнечное утро погибла вся династия Грудерингов за исключением двух несчастных курфюрстиночек.

То ли в тот же день, то ли не совсем через пролив Свиного Мунда переправились на пароме два шевалье, Николя Буало и Мишель Террано. Уже сидя в седлах, они созерцали с палубы парома вырастающий на горизонте столь желанный их сердцам замок. Тпру и Ну проявляли необычное для боевых коней беспокойство; косили глазами, размахивали хвостами и даже норовили встать на дыбы. Коля и Миша молчали и только ободряюще улыбались друг другу: сегодня они намеревались коленопреклоненно просить у августейшей четы их дочерей.

Паром, что уже две недели как перестал из-за недостатка субсидий соединять остров с материком, теперь был куплен уношами, как говорится, от киля до клотиков. Щедрый дар Вольтера плюс векселя Гран-Пера Афсиомского внушили всадникам несколько преждевременную мысль о том, то теперь в их жизни наступил возраст богатства. Не чурались они и фантазии купить весь остров с замком, чтоб объявить себя герцогами Оттецкими и таким образом вступить в европейскую матримонию на правах равных.

Сначала они увидели дым – это выгорали крыша и рамы каменного великана. Вскоре все строение выросло на горизонте. Кони заржали и, не дожидаясь приближения и медлительной швартовки, спрыгнули в воду и поплыли к близкому пологому берегу. Едва копыта коснулись дна, Коля и Миша пустили верных друзей во весь опор. Теперь видны были местные жители, выносившие из дыма мертвые тела. Пастор Блюмендааль, стоя на краю террасы с поднятым крестом, возносил молитвы. Не спешиваясь, уноши взлетели по парадной лестнице и заколотили копытами вдоль галереи. Буря разорванных чувств охватила их, но среди сих чувств, как у каждого военного человека, преобладала жажда мести. Только после нескольких минут безумных метаний они овладели собой и подскакали к священнику.

«Грудеринги все убиты, царствие им небесное!» поведал тот.

«Принцессы тоже?!» возопили Николай и Михаил.

Подбежали несколько местных жителей, взялись за стремена весьма популярных на острове вольтеровских красавцев и стали сбивчиво передавать, что знали о трагедии. Бандиты с материка вырезали всех, перепились и учинили пожар. Одна курфюрстиночка жива, она прячется в северной башне, мы видели ея ангельский лик, однако, господа офицеры, она явно не в себе, играет на флейте, а взять ее из башни нельзя, потому что все внутри выгорело. Вот сейчас наши мужчины побежали за лестницей.

Уноши грянули с коней, помчались по восточной галерее к северной башне, перепрыгивая через обгоревшие останки неопознаваемых людей. Коля проскочил вперед, а Миша вдруг споткнулся перед поворотом: одно мертвое тело, вернее, тельце, увидел он, приподнялось на локте, попыталось убрать с лица волосы и рухнуло, разметав руки. Боже, да ведь это она, Клоди, моя девочка! Она жива! Он не решался подойти и с нескольких шагов смотрел на растерзанное платье, на ножки ея в шрамах и кровоподтеках, на текущие из нее жидкости, на обезображенную левую половину лица и вдруг с чудовищной пронзительностью понял, что с ней произошло. Не в силах выговорить ни слова, он бухнулся на колени и так на коленях стал к ней приближаться. Едва он нагнулся над ней, открылся правый глаз, а разбитый рот исторг хрип непостижимого, нечеловеческого свойства.

Николай между тем с седла вовремя подскочившего Ну взялся карабкаться по стене северной башни. Он видел: она там, его Фиокла, сидит в проеме узкого окна и играет на флейте безмятежную пьесу Телемана. Дым разъедал ему глаза, но он продолжал, цепляясь за каждый малый выступ в

грубой кладке, подниматься вершок за вершком, не понимая, что слезть оттуда вместе с ней он никогда не сможет. «Фио, се муа, Николя!» кричал он вверх на своем отменном французском. «Иду к тебе, моя Фио!» Игра оборвалась, и он услышал ответ. «Ах, вы вернулись из Швейцарии, господа офицеры, как это мило! Значит, ничего не случилось, и все сейчас за столом, пьют сок корнеплодов, под эгидой Их Высочеств папеньки и маменьки. Ах, Николя, вы напрасно меня называете Фио, ведь я Клоди. Фио сейчас кружится где-нибудь в занебесье, а я ей играю на флейте, я скоро тоже буду там, в занебесье, вместе с сестрою, однако я пока что Клоди, мой дорогой, а вы больше кто, Мишель иль Николя?»

Наконец он перекинул ногу в проем окна, или, вернее, бойницы. Девочка погрузилась в его объятья, сияя безмятежным счастьем. Он целовал ее щечки, и ушки, и губки, не чувствуя близости Эроса, а просто как дочь, хотя никогда прежде не ведал за собой ничего отцовского.

Появились наконец местные увальни с лестницей и веревками. Узница северной башни была спасена, за ней по веревке соскользнул и спаситель. Он посадил девушку в седло и медленно повел верного коня по восточной галерее. За поворотом им встретился Михаил. Тот нес на руках вторую – иль первую? – сестру, обвисшую, как убиенный олененок. Впрочем, она была еще жива, если судить по ручкам и ножкам, которые иной раз на мгновение приходили в спазматические вздрыги, словно от кого-то защищаясь. Тпру шел за ними следом.

«Кого ты несешь?» осторожно спросил Николай Лесков.

«Кто бы она ни была, это Клаудия, моя земная и небесная невеста, и ты тому свидетель, мой друг и брат», ответствовал Михаил Земсков.

И оба разрыдались, держа друг друга за темляки сабель. Над ними новыми трелями пела флейта.

Две уцелевших кровати вытащили на террасу замка и в них уложили сестер. Местные тетушки истово хлопотали вокруг. Опыт рыбацких жен вельми тут сгодился, понеже нередко в сезоны штормов с моря им приносили полусознательных тружеников. Ныне через пролив побежали челны за медицинской услугой. Оба офицера сидели на камнях террасы возле кроватей, сами не в полном порядке.

Сумерки наступали, и небо уже начинало сиять осколками изумрудов. Встал Михаил и подошел к краю, облокотился о балюстраду. Внизу, под отвесной стеною, закручивались и взлетали темно-зеленые волны с белою бахромою. Миша смотрел вниз, медленно страшную мысль соображая. Пора уже прыгнуть мне вниз и уйти навеки отсюда туда, куда так влекло при каждом по голове ударе. Вопрос только в том, взять ли ее с собою, чтоб перестала мучиться здесь и там красотой засияла рядом со мною.

Вдруг из крутящихся прорв поднялось нечто в форме обширного ската и обернулось внешностию Видаля Карантце. С насмешкой он взирал снизу. «Для пущего сведения спешу донести, что злодеяние было совершено по заказу графини Амалии Нахтигальской. Чтоб знали, кому мстить». «Кого изнасиловали, Клаудию или Фиоклу?» с жадностью вопросил Михаил, хотя не раз давал себе зарок не общаться с нечистой силой.

«А вот этого не скажу, чтоб мучился всю жизнь. Это отмщенье мое тебе за грубый пинок сапогом в сраку-с». И с этими словами ушел в глубину.

На этом, собственно говоря, мы можем и завершить нашу отчаянно правдивую историю, которой могло и не быть, о том, как философ Вольтер общался со своими единомышленниками из Санкт-Петербурга. Старинная традиция, впрочем, дает возможность рассказать в эпилоге также о том, как сложилась и вне романа судьба наших любезных – и не очень – персонажей.

Эпилог

как таковой в завлекательных авансах не нуждается

Лето 1812 года в Рязанской губернии задалось важное: и на посевы, и на косьбу выходило вёдро, а меж страдой случались обильные ливни, способствующие вызреванию злаков и бахчевых культур. В июле, то есть ровно сорок восемь лет спустя после описанных в сей повести событий, опять выдалась стойкая жара, что радовало хозяев поместий, равно как и крестьянский люд. Клавдия Магнусовна Земскова, несмотря на почтенный возраст, слыла самой рачительной сельской деятельницей Ряжского уезда. Об эту пору просыпалась она с петухами и до заката колесила на легкой бричке по своим обширным угодьям, обходила поля и огороды, посещала и дальние хутора и везде вела просветительные и указующие беседы с артельными. Возвращаясь же домой, Клавдия Магнусовна отнюдь не падала замертво, а усаживалась к пиано, чтоб услаждать мужнин слух и говорить с ним о прекрасном.

Что касается мужа ее, Михаила Теофиловича Земскова, ему как всегда было не до угодий, однако никто в уезде не ставил ему за то лыка в строку, хоть и считали почтенного отставного генерала заядлым вольтерьянцем. Все знали, что занят Михаил Теофилович делом, быть может, более важным, чем сбор урожая или пестование скота, ведь каждое утро, усаживаясь в своем кабинете под портретом главного вольтерьянца, месье Вольтера, перед собранием различных стеклянных емкостей, перед весами с полупрозрачными чашками, перед выстроившимися, что твоя орудийная батарея, микроскопами, мыслил Михаил Теофилович о сугубых внутренностях человека, о разных его жидкостях, осадках и слизях, равно как и о секретных его «эциях», и все это ради поддержания человеческого, отнюдь не бычьего, здоровья.

Однажды в одно из подобных утр услышал Михаил Теофилович через открытое окно и ветви многолиственного сада шум дюжины копыт и окрики кучера с проселочной дороги. Вынес на террасу свое корпулентное тело и увидел, что в поместье въезжает запряженная тройкой щегольская иноземная карета. Так и есть, Николай пожаловал с регулярным визитом; откуда на сей раз?

Седовласый, хоть и с подкрученным коком, весьма подтянутый в талье – небось, усильями корсета, – Николай Галактионович Лесков чуть ли не выпрыгнул из экипажа, чуть ли не побежал к нему на крыльцо, однако что-то, видно, пронзило седалищное сплетение, и он остановился в мгновенной задумчивости. Тут же, впрочем, двинулся дальше, слегка припадая на ступенях.

«Мишка, видишь, я сразу к тебе, не заезжая даже к Фекле! Черт бы побрал хваленого «честертона», растряс всю задницу, защемил мускулюс глютеус! Ну, как ты, друг мой братский? Дай-ка огляжу! Хорош, хорош, как всегда, со своей неотразимостью! Небось, из младенцев-то на селе половина твои, ха-ха-ха?!»

Они обнялись.

«Ах, Коля-Николя, соскучился я уже по твоему бонвиванству», проговорил Михаил Теофилович.

«А я-то как соскучился по тебе, эскулапус мой уединенный!» в прежнем духе продолжал выкрикивать Николай Галактионович. «Не знаю уж, что и делать-то буду без тебя на сей грешной планете!»

«Это как же прикажешь понимать?» опешил Земсков.

«Ну ведь когда-нибудь, хоть к ста-то годам, небось, преставишься, а, Миша?» весело предположил Лесков.

Земсков с интересом посмотрел на Лескова. «А ты, стало быть, не собираешься еще в дорогу к тем-то годам?»

Лесков с огорчением потрепал дружескую холку. «Ох, не люблю я этих «еще», ох, не приветствую! Ну ладно, хватит шутить, давай начнем с дела».

Земсков провел Лескова с жаркого крыльца в прохладу кабинета и крикнул, чтобы принесли из ледника квасу. «И шампанского!» крикнул Лесков вдогонку. Адъютант Зодиаков (сын упомянутого в главах секретаря Зодиакова) внес за ним в кабинет кожаный саквояж, как и все у Лескова, превосходной работы. Друзья уселись в кресла напротив друг друга, выставив колена, как бы спецьяльно, чтоб бить по ним стариковскими дланями.

В саквояже были карманы с флаконами. Быв извлечены и расставлены на столе, флаконы демонстрировали этикетки с именами петербургских кавалерственных дам и знатных законодателей общества: Шерер, Курагины, Нессельроды и даже главный политический специалист-мыслитель Сперанский. Так уж повелось за последние годы, что в петербургских политических салонах стал появляться чуть ли не на правах отечественного Калиостро известный в прошлом боевой екатерининский генерал Николай Лесков, маркграф Бреговинский. К нему обращались со своими малыми и большими недугами представители высшего света, кои были либо пресыщены, либо не удовлетворены светилами официальной медицины. Точно неизвестно, в какие таинства посвящал свою клиентуру сей представительный и до чрезвычайности светский господин, женатый, как гласила молва, на уцелевшей представительнице одной изчезнувшей в одночасье династии остзейских принцев. Поговаривали, что вовлекает он свою паству, сиречь пациентов, в некое сиамское шаманство, совместную экзальтацию с камланием и тряскою, почерпнутое якобы из трудов своего морганатического родителя, одной из наиболее загадочных личностей екатерининской эпохи, шпиона, писателя и путешественника Ксенопонта Петропавловича Афсиомского, автора прогремевшей во второй половине прошлого столетия повести «Земные и внеземные шествия Ксенофонта Василиска» . Доподлинно было известно, что раз в месяц Лесков покидает столицы с образцами высокородной урины, экскрементов, лимфы в форме экссудативных выделений, запекшейся сангвы, бронхиальных мокрот и даже комочков спекшейся или, наоборот, разведенной до полупрозрачности джизмы. Генерал не делал секрета из того, что направляется он на консультацию к своему партнеру, гениальному целителю и такому же, как и он сам, отставному екатерининскому генералу Михаилу Земскову, барону Оттецкому и Аншталтскому, обладающему даром проникновения в тайны человеческих организмов путем прочитывания индивидуальных выделений. Возвращался в столицы Лесков с саквояжем, полным тщательно рассортированных порошков в облатках из подсушенной лягушачьей кожи, микстур, запечатанных в рыбьи пузыри, пропитанных кое-какими отравами кусочков сахара, пучочков горьких трав, кои надобно было жевать всухую или растворять в перепелячьем бульоне, и тому подобных, всякий раз весьма неожиданных, снадобий. Все это было приготовлено собственноручно самим великим затворником, кому, как гласила молва, случилось быть в молодости конфидантом великого Вольтера и негласным фаворитом Ея Императорского Величества. Все эти процедуры, предоставляемые такими исключительными личностями, стоили огромных денег, однако общество готово было за них платить и больше, и оно платило все больше и больше, поскольку видело, что лечение приносит пользу и что люди улучшаются. Толстые пачки ассигнаций, а временами и золото Лесков привозил в рязанское поместье своего друга, где и делил пополам, без утайки.

Кто бы думал, что так благоприятственно все сложится, когда в возрасте пятидесяти двух лет, сразу после кончины матушки-государыни, оборвалась обоих столь блистательная с начала и до конца имперская служба.

В молодости своей, еще в том памятном 1764 году, после возвращения с острова, получения чинов, титулов и наград, Коля и Миша по совету Гран-Пера вышли из секретной экспедиции. Совет сей, как они поняли, пришел то ли от исчезнувшего без остатка барона Фон-Фигина, то ли от Той, кого он на острове представлял с толь неповторимой куртуазностью. Кажется, было сказано примерно так: «Пусть пребудут теми, кто они есть, ибо секретственные машкерады не всегда способствуют становлению личностей». SIC!

Карьера Миши проходила в кавалерии, в то время как Коля в силу своего раннего французского курса направлен был в артиллерию. И все же наши братственные друзья всегда старались устроить свои службы так, чтоб быть поблизости друг от друга, и если, скажем, Николай командовал батареей при Дубоссарах, он почти был уверен, что в начале общего штурма мимо его редута в составе блистательных лейб-улан проскачет и Михаил.

Их пассии, принцессы уничтоженной династии Грудерингов, стараниями все того же как бы несуществующего барона Фон-Фигина, а стало быть, и стоящей за ним высочайшей персоны, были устроены под покровительство санкт-петербургского двора. Им были выделены такие суммы, о коих не мог даже и мечтать их папенька, геройски погибший курфюрст Магнус Пятый Великолепно-Самоотверженный. Много месяцев ушло на восстановление здоровья бедных девочек, пока наконец под наблюдением лучших медиков Двора они не вернулись к своим неотличимым образам юных красавиц. Юных, но очень грустных. И не совсем еще умственно здоровых, если судить по душераздирающим крикам, иной раз прилетающим ночью из высоких палат.

Каждую раннюю весну по накатанным за зиму дорогам девочек направляли на лечение в швейцарский Давос. Для сопровождения Коля и Миша по высочайшему повелению получали отпуск из полков. Ехали через Германию, и в каждом из пересекаемых германских пфальцев местные владыки устраивали путешественницам, то есть в любом случае более или менее родственницам, радушный, хоть и не без понятной траурной нотки, прием. Кровавое дело на острове Оттец потрясло все существовавшие к тому времени германские государства. Общее мнение сводилось к тому, что дальше так жить нельзя, пора покончить с торговлей полками и армиями и с бесконечными войнами по поводу различных «наследий». В единой Германии такого грязного дела не могло случиться! Иными словами, трагедия Грудерингов исторически внесла вклад в идею объединения германского мира для вящей пользы, как многие просвещенцы полагали, всему человечеству или, как мог иной раз обмолвиться генерал Афсиомский, «всему пчеловодству». Почтенную герцогиню Амалию Нахтигальскую, урожденную Грудеринг, о причастности коей к сему делу пошли нехорошие слухи, подвергли такому остракизму, что правительница сия в состоянии непрекращающейся истерики предпочла исчезнуть, предварительно отписав все свое герцогство королю Пруссии.

По вступлении девочек в совершеннолетие и опять же с благословения российской монархини, переданного через несуществующего Фон-Фигина, состоялись их свадьбы с гвардейцами Ея Императорского Величества, новоиспеченными маркизом Бреговинским и бароном Оттецким-и-Аншталтским. Тому предшествовали тайные, а то и нестерпимо открытые страдания четырех любящих сердец. Во-первых, не совсем было ясно, в кого кто был влюблен еще в идиллический срок влюбленности, хоть и предполагалось, что Николя в Фио, а Мишель – в Клоди; и соответственно наоборот. Во-вторых, совсем уж неясно было, что с кем случилось, Клоди ли была подвергнута массовому насилию гадов, Фио ли пряталась в башне и общалась с ангелами; или наоборот. И, в-третьих, возникла весьма двусмысленная тема мезальянса и жертвенности. Пока династия была жива, двое

худородных уношей не считались подходящим выбором для двух принцесс, кои по династическим канонам могли быть выданы за каких угодно высоких персон, вплоть до великих князей; тому примером была и сама государыня. Ну а после трагедии два блестящих карьериста как бы снисходили до двух несчастных сироток, ущербных к тому же физически и духовно.

Коля, конечно, склонялся к «башенной», что была, возможно, Фиоклой, однако стеснялся, как бы ему не приписали гадливость ко второй, вроде бы Клаудии (а вдруг нет?), порченной толпой вонючих гадов. С другой стороны, как опытный в эротике уноша, он опасался, что у девы после насилия может разыграться то, что в те времена называли «бешенством матки». С этой стороны жалко было и братского друга Мишу.

Что касается последнего, то для него, в общем-то, все было ясно: он женится на порченой, изнасилованной, униженной до самого последнего предела, то есть именно ему суженой, а стало быть, она и есть Клаудия! И он с ней не будет мучиться всю жизнь, как предрекает черт запечный Сорокапуст, а будет всю жизнь наслаждаться высокой любовию! К тому же теперь уж есть приметное отличие от сестры: на шее остались две вмятины, как будто следы от клыков.

В общем, в конце концов разобрались и в один день пошли под венец в присутствии разного прочего блистательного уношества, а также высоких чинов армии и флота; сказывали, что на церемонии побывал и сам барон Фон-Фигин, укрывшийся под машкерадом знатной дамы. У Коли и Фио благодаря сурьезной опытности первого, в общем-то, получилась щастливая, или, скажем так, сносная брачная ночь, а в дальнейшем пошло еще лучше, или, так скажем, не хуже. Что касается Миши и Клоди (будем уж ее так теперь решительно называть в ходе эпилога), то у них все вышло сложнее. Никакого «бешенства матки» у юной госпожи Земсковой не обнаружилось, напротив, матка, как и все другие сокровенные органы, после ужасного насилия погрузилась в состояние полнейшего отвержения любовных утех. Даже и самое нежное к сим органам прикосновение вызывало у Клоди мгновенную окаменелость и болезненный стон. И тем не менее молодожены любили друг друга до самозабвения, до слез немыслимого щастья. «Мишамой», бормотала она, положив свою головку на довольно уже курчавую грудь своего героя, «я люблю тебя сейчас, как, помнишь, тогда ночью на море, на баркасе тебя любила, как будто мы с тобою одно существо, как будто еще не разделились, как будто не изгнаны!» И он отвечал ей, лаская ее мочки ушей, носик, щечки, ключицы, ручки, локотки, но, Боже упаси, не прикасаясь к межножию: «Клодимоя, я люблю тебя даже не вечной, а вневременною любовию, и нас с тобой ничто не разделит!»

У Коли и Фио начали рождаться детки: сначала мальчик, потом девочка, потом близнецы, девочка и мальчик. У братской пары, увы, детки не рождались, пока по окончании Турецкой кампании 1770 года, то есть когда Мишемою исполнилось уже двадцать шесть, а Клодимоей соответственно двадцать один, не отправились они повидать Гран-Пера в отдаленный Сиам.

Ксенопонт Петропавлович как кавалер самой почетной сиамской награды, Ордена Раннего Солнца, получил в Сиаме целую провинцию земли. Ежели говорить по чести, Ксенопонт Петропавлович в 1764 году, к концу экспедиции, известной под именем «Остзейское кумпанейство», чувствовал себя, а вернее, даже и не себя, а то, что выше самого себя, то есть свое достоинство, изрядно ущемленным. Ведь так либо иначе, однако ж всю ту волшебную неделю на острове Оттец он старался ловить взгляды пленипотенциарного посланника, хоть и понимал, что тот его, как говорили тогда в артиллерийских войсках, «вплотную не видит». А ведь задолго до начала экспедиции Никита Иванович Панин, увещевая любимца Европы взяться за сие многотрудное дело, ободрял его высшим благо-

расположением и заверял, что он войдет в историю полноправным участником вольтеровских бесед.

Что же получилось? Если уж удавалось многолетнему уловителю взглядов поймать взгляд барона, тут же виделась в глазах того хладная и властная длань, как бы упреждающая: «Не в свои сани не садись!» Да и друг Вольтер, уж на что егоза егозою, почуял сей нюанс высшего фаворита по отношению к своему Ксено и понял, что тому тут нет шанса примазаться к энциклопедистам, сиречь послужить своей любимой музе Клио. Так и третировали его с утонченными, но изрядно жалящими улыбочками, будто управляющего поместьем, быть может, полагая, что сия упрощенная натура того непроизнесенного третмана не постигнет.

Постиг, судари мои! Вот вам-то знатно было б понять, что Афсиомский хоть тайны государственной и под пыткой не выдаст, однако ж и к прелестным ножкам Государыни не повергнется с жалобой на непреемственность барона Фон-Фигина; честь старинного византийского рода не позволит!

С теми же ущемленными сентиментами, трепеща, хоть и скрываясь за неприступностью челюсти, приблизился тогда Ксенопонт Петропавлович с манускриптом «Шествия Василиска» к тому, кого еще недавно полагал доверительным другом, к Вольтеру. Ну, сему блаженному жантильому лишь бы не уронить репутацию изящества и любезности; сочинение берет, однако ясно видно, что читать не ласкается. Где ж пределы несурьезности сего века, милостивые государи? Ведь ради просвещенности поворачиваюсь плечом к патриотам родины, к самому Александру, как его отчество, Сумарокову! Почему два писателя не могут обняться в дружеском умилении? Откуда ж берется в глазах огонек вечной иронии, сей сестры ехидства и развратницы мысли?

Разочарованный равно и в родине неблагодарной, и в тщеславной Франции, Афсиомский купил в Англии большой корабль, нанял, не щадя денег, опытный до дерзновенности экипаж и отправился в некие дальние страны, чтоб на закате дней повторить долю своего протагониста. Перед отправкой удалось ему сманить из тайной структуризации трех надежных сарымхадуров, дабы с их помощью получать новости из мира тщеты и величия, покуда не развеется на морских путях и в дальних пределах малейшая в них потребность. Среди них был и Егор, сей пернатый рыцарь скорости и надежности, почитавший генерала как возродителя их древнего рода монгольских эстафетчиков.

Не успели они обогнуть Африку, как великий почтарь влетел в каюту разочарованного путешественника с новостями от Вольтера. Книга издана, продается с изрядным успехом, пачка копий отправлена караванными путями в Сиам, к королевскому двору. Нет, недооценил конт де Рязань дружеского пристрастия великого мэтра. О, Вольтер, электрический лебедь Вселенной, смиренный твой Ксено за тысячи королевских миль припадает к ногам твоим! Вот ведь и направление указал для моего вуаяжа – Сиам! Страна, где девы вечно пышут ароматами раннего солнца!

Еще один сарымхадур, Тимофей, доставил на «Энциклопедию» вексель от книжного агента месье Тьер-Долье. В Британском банке Калькутты уровень доверия был так высок, что несмотря на некоторую подмоченность финансового документа генералу был выдан цельный портфолио живых денег.

И вот – Сиам! Это было уже третье его пугешествие в сию державу, и он знал, как тут себя вести. Купив в гавани караван слонов, Ксено вошел в столицу, похожую на миражную варьяцию белокаменной Москвы. Приблизились к королевскому дворцу. Генерал колебался: надеть ли когда-то подаренный Вольтером орден? А вдруг признают подделку, швырнут в узилище, произведут усекновение телес, а то еще выпорют, чего доброго? Все ш таки дерзнул, приколол к шейному банту. Орден тут же дал острейший луч, словно в ответ на запрос витых башенок твердыни. Тут же со стен грянули

горны, вся знать вышла из ворот. Оказалось, ждали и вот признали гостя кавалером Ордена Раннего Солнца и Ясной Мысли, выпущенного когда-то в единственном числе и утраченного в парижских безумиях принцем-наследником, кой щас как раз и стал тайским королем.

Так Ксено и был назван почетным лицом благоуханного царства. Средствами к тому времени он располагал немеряными, поскольку нувель «Земные и внеземные шествия кавалера Ксенофонта Василиска» – заметьте, между прочим, как разница в одной букве рождает из автора протагониста! – прогремела по всей Европе и даже во многих заморских колониях. Сказывали даже, что, когда лондонский журнал «Британский сад» взялся печатать «Василиска» с продолжениями, публика в Нью-Йорке выстраивалась на пирсе в очереди к приходу пакетбота со свежим нумером. В шутку, а толь и всерьез к сему курьезу добавляли, что, мол, недаром теперь участились в океане пиратские абордажи: даже и морским ушкуйникам хотца почитать любопытную штучку.

Успеху сему, понятное дело, способствовало напутствие самого Вольтера. Филозоф, в частности, писал: «...сей муж, Ксенофонт Василиск – друзья, как мне помнится, называли его Ксено, – обладает донельзя сурьезным аспектом зрения на проблемы Земли и Галактики. Повсюду, будь то в Лангедоке, Китае или Сахаре, а то и на периферийных кольцах планеты Сатурн, он оставляет свои следы в виде недюжинных детищ своего искрометного ума и незаурядного тела...»

Солиднейшие ройалтис от многочисленных издателей собирались на счетах графа де Рязань в банковских столицах мира, особенно в неприступной крепости Цумшпрехт. Ходили, правда, слухи, что еще более солидные поступления набрались на оных счетах за счет «отстёга» (так выражались в те времена амстердамские финансовые евреи) от имперских ассигнований на различные, не всегда кристальные проекты, однако слухи сии, по всей вероятности, рождались на мельнице сплетен. Впрочем, если даже и был в них какой-нибудь резон, то кто безгрешен, ведь даже и сам великий Вольтер сколотил свои миллионы не на папертях храмов, а на армейских подрядах.

Так или иначе, но денег у новоиспеченного сиамского раджи хватило и на сооружение величественного дворца, и на содержание закрытой гимнастической школы для юных девичьих дарований, и для встречи своих любимых Миши и Клоди, о подлинной цели визита которых он уже догадывался.

Несколько штрихов этой встечи, взятых из сиамского «Королевского бюллетеня»: «Граф встретил своих наследников (!) верхом на белом слоне. Под уздцы он вел второго такого же слона, предназначенного для маркиза и маркизы. Еще две дюжины таких же слонов образовали аллею торжественной встречи. На головах у них стояли воспитанницы гимнастической школы с павлиньими опахалами».

Ничего спиртного во дворце не подавалось, да оно и не требовалось: что-то такое добавлялось за обедом при смене блюд – то ягодка какая-нибудь, то листочек, то червячок, – после чего дух подскакивал вверх, но не в пьянственном духе (пр. прощенья), а во вдохновенческом. «Вы видите, как я здесь помолодел, дети мои?» все время повторял Гран-Пер. «Видите, что такое Сиам?!» Мише и Клоди не казалось, что он особенно помолодел, однако они не могли утверждать и обратное: Гран-Пер не постарел. Проглотив ягодку, листочек и червячка, они воспарили душой и открылись графу, что хотят детей. Афсиомский хитровато улыбнулся. «Все меры уже приняты. После этого обеда зачатие обеспечено!» Пришлось приоткрыть перед ним штору в их бездну: у них не простая, а ангельская любовь, а потому им нужно не зачатие, а готовые детки, девочка и мальчик. Опытного шпиона ничем было не удивить. На следующее утро уже были предложены два младенца, принцесса Навилатронгтинанаруэкунана и принц Гдеолистрангомнисиликтреокуман, в этом роде, и соответствующие к ним

кормилицы. Миша и Клоди тут же влюбились в малышей, кои вообще-то могли быть им в некотором смысле сводными сестрой и братом, и нарекли их соответственно Натальей и Георгием. Именно там, в отдаленном и вечно сияющем Сиаме, Клоди сказала Мише, что жаждет уединиться с детьми в рязанском поместье. Будет там растить крошек Земсковых в духе европейского просвещенья, приглядывать также за стареющими Мишиными родителями и ждать Мишу со своей вечной любовью и с памятью о той волне Балтийского моря, что соединила их, ну, словом, Мишеля и Клаудию (ежели не была она Фиоклой) навеки.

Узнав о решении сестры, забеспокоилась и Фиокла (ежели не Клаудия). Известно, что однояйцовые близнецы в течение всех их жизней испытывают один к другому почти непреодолимую тягу; что касается сестер Грудеринг, нам уже известна их неотделимость. Если уж выходишь замуж за русского, заявила плодоносная мадам Лескова, надо и самой становиться русской, а значит, надо вместе с детьми поселяться в самом центре сей страны, в загадочной Рязанщине. Николай не имел ничего против, отнюдь! Спасибо тебе, дорогая моя, за то, что разделяешь мои патриотические сентименты. Именно на Рязанщине живут настоящие русаки, не тронутые порчей! Сам же он с еще большей охотой устремился в строительство артиллерийской обороны, в чем и преуспел, но об этом позднее. Так и зажили две прежние курфюрстиночки на двух соседних холмах, разделенных речкой Мастерицей, по которой в жаркое время можно было ходить пешком, а в мороз нестись на коньках. К этому времени существенно сгладилась идеология двух холмов, в частности, между ними шел постоянный обмен томами «Энциклопедии» и парижскими модными журналами, а роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» вызвал на обоих холмах сущую бурю как чувствий, так и предчувствий романтисизма. Вот увидишь, Клоди, скоро появится какой-нибудь аристократ, почему-то мне кажется, что в Англии, ах, Фио, я в этом и не сомневаюсь, он и продолжит жанр самовыражения!

В обычные дни, посреди сельских забот, они уже не пользовали сии клички а ля стиль, но охотно называли друг дружку на рязанский манер Феклой и Клавой.

Нередко при Дворе случались некоторые оказии, когда молодой подполковник Михаил Земсков призывался для оказания особого рода услуг. Речь шла о срочной и быстрой поездке в Ферне для передачи письма, а чаще всего какого-либо дарственного пакета от Государыни ее доверительному корреспонденту Вольтеру. Миша быстро снаряжался и вот уж мчался с каким-нибудь надежным гусаром, а то и с двумя, по знакомым ему, как и нашим читателям, североевропейским равнинам. Всякий раз на тех дорогах вспоминался ему верный друг-жеребец Тпру (он же Пуркуа-Па), погибший в Молдавии при прямом столкновении с турецким визирем, а также и Колин шаржёр Ну (Антр-Ну), доживающий свой век на конном заводе в селе Рыбное Рязанской губернии. Вспоминалось и всякое другое, включая и разные «облискурации» в Ревеле и в Гданьске, в Свином ли Мундо, в исчезнувшей с лица земли крепости Шюрстин; Бог знает, случилось ли все это в его отмеренной календарем жизни или же появлялось из головы? Миша не забыл за собой привычки – или же болячки – выпадать на миг из календаря, а иногда и Колю за собой тянуть – туда, где время катит вперед по-другому, а то и вспять.

Однажды в таком путешествии – кажется, подъезжая к вюртембергской границе майской ночью с соловьями и светляками – почудилось, что светляки сии один за другим начинают с большой высоты падать на него какими-то ревущими металлами. Показалось, что конца этому небесному реву не будет, но потом вспомнил про секунду времени и тут же вынырнул обратно в тишайшую ночь с соловьями и совсем бесшумными световыми мухами. Сопровождающие лица даже и не заметили провала.

Между прочим, все эти экспедиции к Вольтеру чем-то были сродни подобным смещениям времени. В армейской рутине с ее регулярными построениями, проверками и маневрами не замечаешь, как и год пробежит, а тут скачешь по заграницам всего какую-нибудь неделю, а глянь, неделя сия заменила в воспоминаниях весь год. Позволь, позволь, Клодимоя, в каком же году сие было? Ах да, в тот год, когда я Вольтеру от Государыни соболей возил!

И всякий раз возникает восхищение, когда выскакиваешь на холм, с коего открывается перед тобою долина Ферне и шато с восемнадцатью окнами по фасаду, не считая мансард и подвалов, с шестью высокими трубами, с тремя фасадными подъездами. Нет, недаром нашел именно здесь прибежище лукавый старик! Ему нужны были свет и мир, и он их здесь обрел. А потом и дом здесь построил в том единственном месте, где он должен стоять как центр мира и главный светоч! Так, во всяком случае, Миша считал, хотя и знал, как много людей полагают сей светоч ехидною.

Филозоф всякий раз встречал гонца с распростертыми объятиями. «Какая радость видеть тебя вновь, мой милый обскурант! Какие парадоксы ты припас на сей раз в ответ на парадоксы просвещения?» Миша, а вернее, подполковник Земсков, маркиз де Оттец, барон Аншталтский, выдавал что-нибудь вроде:

«Мой дорогой мэтр, всю дорогу к вам я думал о трех главных заклятиях человеческих: о прошлом, настоящем и будущем. Принято думать, что мы сидим в настоящем, вспоминаем прошлое и движемся в будущее, не так ли? Между тем мы не успеваем осознать и единого мига из настоящего, как оно становится прошлым; стало быть, настоящего просто нет, не так ли? Будущее же существует только в наших мечтах, а в реальности оно тоже немедленно всем скопом превращается в прошлое, не так ли? Значит ли сие, мой мэтр, что из трех времен существует только прошлое, то есть единственное то, о чем мы хотя бы с долей уверенности можем сказать, что оно было?»

Вольтер хохотал, потирал руки. «Воображаю физиономию Дидро, ежели ему рассказать, о чем думают офицеры екатерининской гвардии!» После этого он садился писать письмо своей возлюбленной монархине, а Миша разваливался на диване, на коем они когда-то толь беззаботно возились с несовершеннолетними курфюрстиночками.

Перед тем как скакать назад, он тщательно проверял запечатку послания. Всегда напоминал филозофу о необходимости начертания на конверте надписи «Е.И.В.Е2 в собственные руки». На прощанье Вольтеру, которому исполнилось уже семьдесят пять, подчеркнуто говорил: «До следующего раза, мой мэтр!», а тот отвечал с улыбкой: «В любом случае, мой мальчик!»

Чем ближе становилась российская граница, тем выше вздымалось волнение. Отечественные виды, убожество деревень, но особенно почему-то церковные и кладбищенские ограды вздымали в душе какую-то несвойственную веку, то есть не успокаивающую, а бередящую все естество музыку. Не верилось, что в этой стране с ним может произойти что-то чудесное, а между тем понимал, что к чудесному и летит.

Вот именно, дворец всякий раз казался ему после недельных скачек каким-то чудом, чем-то вроде его собственной вздорной башки видений, с той лишь разницей, что картина нигде не морщилась по краям. От первого караула до последнего его передавали из рук в руки, вели по гулким анфиладам, пока не оставляли в пустой приемной зале. Там он стоял один у стены, бледный и, как он прекрасно понимал, неотразимый. Через время появлялась ближайшая фрейлина, чаще всего Протасова или Ташкова, или обе. «Ах, Мишель, вы всех нас погубите!» Перед ним открывались двери, и он проходил дальше уже один.

За окнами Нева либо стояла во льду, либо катила волны, качала челны, либо молчала мраком. И наконец возникала она, Е.И.В. Е2, с ея собствен-

ными руками. Всякий раз ему казалось, что она спускается к нему по церемониальной лестнице в своей любимой меховой шапке, а между тем она стояла на ровном месте и едва доходила ему до плеча, потому что в отличие от барона Фон-Фигина не любила высоких каблуков. Как полагается по уставу, он печатал шаги, с ладонью, приставленной к виску, докладывал о прибытии, вынимал из-за обшлага пакет и передавал адресату. Она протягивала ему руку для поцелуя. Он целовал тыльную сторону ладони, потом ладонь, потом предплечие, потом обе руки, что как бы подражали вспугнутой паре голубков, потом локти, тронутые уже увяданием, потом, все больше теряя голову, отщелкивал на спине кнопки, тянул на себя шнурки, обнажал ея плечи. «Ах, Мишель», шептала она, «пошто вы думаете, что мы ни в чем вам не можем отказать?» И устремлялась вроде в поспешную ретираду, оглядывалась через плечо, беззвучно хохотала, трепетала в жажде быть пойманной, сдавалась в последней из своих комнат и получала все сполна.

Только после того, как первые восторги завершались, появлялись Протасова и Ташкова и вели императорского курьера в туалетную, где за это время приготовлена была горячая ванна. Случалось, что он засыпал прямо там, в аромате лаванды, и, просыпаясь, обнаруживал рядом роскошных фрейлин, ничем не уступающих унтерам Марфушину и Упрямцеву, за исключением волнистых усов. С возгласом «Ах, дети-дети, неразумные дети!» в туалетную заглядывала императрица, и утехи продолжались. Иной раз она входила с только что полученным письмом и зачитывала что-нибудь курьезное от «нашего шаловливого старче». Ну, скажем, следующее: «Здесь ходит по рукам Манифест Грузинцов, объявляющий отказ в доставлении девиц ко Двору Мустафы. Желаю, чтоб это была правда и чтоб все их девицы достались Вашим храбрым Офицерам, кои того стоят: красота должна быть наградою мужеству». Тут все присутствующие начинали бурно и щастливо веселиться, и дамы задавались вопросами, каких же это Ахиллов, каких Антиноев из состава храброго российского офицерства имеет в виду гений человечества? И тут же ответствовали друг дружке: да вот ведь он с нами, наш Ахилл, наш Антиной, наш Мишель де Террано, и теребили обнаженного неотразимца в шесть рук, а потом и обнимали его всеми телами.

Не раз Ея Величество предлагала подполковнику Земскову перебраться во дворец, но он с печальной преданностью шептал: «Нет-нет, Ваше Величество, увы, сие не предписано мне судьбою». Зная о странностях его брака, она не настаивала.

Годы шли, но такие вроде бы случайные встречи происходили с прежней бурностию. Екатерина с возрастом значительно отяжелела, ноги ее опухали, а зубы, невзирая на все старания лондонских дантистов, крошились и выпадали. Михаил между тем, отставая от нее на пятнадцать лет, продолжал пребывать в амплуа красавца-мужчины. Однажды во время ее знаменитого путешествия в завоеванный Крым, то есть когда ей было уж близ к шестидесяти, он догнал императорский караван в свите Светлейшего, князя Таврического. В окрестностях только что заложенного города Севастополя, в укромной и донельзя питтурескной бухте он узрел со скалы царицыны купания. Служанки под руки вводили ее в кристальные воды. Тяжелый сам по себе живот ея отвисал, будто не выдерживая веса грудей. Ступни ног почему-то потемнели и подогнулись внутрь. И вдруг, как легла она на воду и потянулась с наслаждением, так он и вспыхнул прежним страстным желанием погони и захвата. К концу купания он уже бродил в окрестностях ея шатра , ожидая аудиенции у щедрой монархини.

Возвращаемся в жаркое лето 1812 года. Николай Галактионович сообщает о результатах врачевания санкт-петербургских пациентов. Анна Антиоховна Шерер перестала покрываться красными пятнами, урегулиро-

валось мочеиспускание, однако удерживаются крепискьюлы настроения при выходе в свет. Старший князь Ателье-Курагин благодарит за настой галлигалуса осводийского: как рукой снял животные колики. Просит ваше превосходительство обратить внимание на подъем устойчивости и посылает по вашему вызову секретную экцию, добытую по вашей инструкции приемом рукоблудия. Вспоминает ваши встречи при дворе Сириниссимуса. Графиня Бессамучникова считает, что порошки перкулятория буквально спасли ее как личность и как женщину и мечтает о личной встрече с живой легендой для бесед о тайнах организма. И так далее.

Михаил Теофилович расставляет по надлежащим ящикам прибывшие флаконы и с братской улыбкой смотрит на своего Колю, этого вечного петиметра. Вот ведь в прошлом-то веке все мы, включая, конечно, и кавалера де Буало, гладко выбривали свои визажи, а теперь и у него в подражание нынешним молодцам появилась под пучочками ноздревых седин некая хорошо укоренившаяся, да еще и вельми нафабренная гусеница. Ему уже хочется, чтобы сей «наш Калиостро» поскорее ушел, дабы продолжить положенные на сегодня исследования. Николай Галактионович вынимает из своей баулы толстую пачку ассигнаций и быстро делит ее на две половины.

«Ну, что, Коля, говорят при Дворе о происках Буонапарте?» спрашивает Земсков просто так, чтобы что-нибудь сказать, и попадает в точку. Буонапарте, оказывается, привел всю Европу, лё Гран Арме, к нашим границам, и день ото дня ожидается вторжение. Генерал Земсков вскипает: «Нынешние тугодумы хорохорятся, а ведь нет сомнения, что он устроит нам новый Аустерлиц! Неровен час, и Петербург возьмет корсиканец! Не знаю, как ты, Николай, а мы с Ростопчиным уже решили сбирать ополчение. Ей-ей, наш эксперьянс еще поспорит с нынешними военными трутнями! Надо спасать Россию!»

Он долго еще говорит о большой политике, все больше распаляется и неизбежно в конце концов подходит к «греческому проекту», сему гениальному делу, замысленному великой Государыней «с передачи», как в том веке говорили, самого Вольтера.

В 1796 году все уже было готово для взятия Стамбула и проливов и оглашения манифеста о создании Новой Византии под десницей молодого императора Константина, «нашего внука». Армия и флот Порты были в полном расстройстве. Наши, напротив, собирались в противумагометанских тучах. Эскадра адмирала Вертиго нацеливалась на Корфу, дабы осуществить задуманный еще в Доттеринк-Моттеринке остров-базу. Греки по всему побережью готовы были поднять восстание за православную веру. Мечта стольких поколений была близка к воссиянию!

В Петербург съезжались военачальники на решающее совещание у Государыни, были среди них и два пятидесятидвухлетних генерала, Лесков и Земсков. Кто бы мог подумать, что при Дворе развернутся события столь прискорбные – расстройство брака принцессы Александры и шведского оболтуса Густава Четвертого, все отвратительные толки вокруг сего афронта, – что они приведут к кончине Екатерины и к дальнейшему, весьма сумнительному восхождению на трон Павла. Кто бы мог подумать, что генералы предстанут не перед ней, Великой, а перед жалким Ним, который будет кричать о перемене концепций, о выходе из «греческого проекта» и о сближении с Пруссией, тоже лишившейся декларированного Вольтером Великого и возымевшей своего тогдашнего жалкого грубьяна.

Из всех бывших в тот день у Павла генералов только двое, Лесков и Земсков, осмелились воспротивиться резкой смене курса, поднять голос в защиту «матушкиной» политики. Павел долго тогда на них смотрел с жестоким выражением лица, потом начал делать круги вокруг стола, явно чтобы не сорваться в крик, и, наконец, ровным голосом попросил подать репорты об отставке. Документы сии генералами были тут же с поклоном и

предоставлены: подготовили заранее любимчики растленной родительницы, предатели родины! Нелегко они чувствовали себя, идя к выходу из Инженерного замка: могли ведь перехватить, заковать в железа, допросить с пристрастием, бросить в крепость, а то и отправить прямо в Кемь. Обошлось, отставки были по всей форме приняты и подписаны.

Деловая встреча старых братских друзей завершается, семейственная по традиции состоится вечером в поместье Лесковых. Николай Галактионович, с лукавостью напевая старый французский шансончик «Ах, бабушка моя была плутовка», дабы доставить братцу ностальгические воспоминания об улице Травестьер, слегка покряхтывая от своего люмбаго и всякий раз не забывая чертыхнуться в адрес колясочника Честертона, дескать, он виноват, а не шестидесятивосьмилетний возраст, отправляется «домой», как он выражается, хоть и живет в сем гнезде не более двух недель в году. Сын Михаила Теофиловича, сорокадвухлетний экзотический мужчина Георгий с террасы отмахивает Лесковым морской сигнал: «Готовьтесь, маркграф едет!» По прямой-то через речку тут сотни две саженей, а по мосту не менее шести верст.

Михаил Теофилович возвращается в свой кабинет и сразу забывает и Николая, и деньги, и петербургский свет, и даже Буонапарте с его Гран Арме. Наконец-то он снова один с истинным делом своей жизни, исследованием человеческих жидкостей и слизей, или, как позднее стали называть это дело, с гематологией. Позвав казачка Гришатку, крепостного мальчонку двенадцати лет, крутить центрифугу, он углубляется в созерцание четвертной бутыли с мочою дедка Бычкова, сторожа усадебных парников, страдающего изъязвлениями кожи. Как он и предполагал, при добавлении крошеного марганца в смеси с химикатом собственного изготовления, названного арбокрофором, моча начинает выделять в осадок еле видимые кристаллики, те самые глюфанты, о существовании коих Михаил Теофилович давно догадывался. Из этого следует, что язвочки дедка Бычкова вызваны отнюдь не дурной болезнью, якобы подцепленной суворовским гренадером в Пьемонте, а вот именно этими самыми глюфантами, что накапливаются в моче, а стало быть, и в крови в силу печеночной недостаточности. Предположительно и врачевать сию хворобу можно арбокрофором, с Божьей помощью.

Гришатка тем временем с усердием крутит центрифугу, в коей прокручивается унция крови его собственной матери, поварихи Лукерии. Мальчик, весьма похожий на собственный Михаила Теофиловича детский портрет, писанный в один из наездов легендой всего рязанского дворянства Гран-Пером Афсиомским, весьма гордится своей должностью «ассистана» при лаборатории барина. Нужно будет подумать о Гришаткином образовании. К его совершеннолетию, надо надеяться, обрушится проклятая крепостническая система.

Лукерия в последнее время стала жаловаться на перехваты дыхания и на боли в области сердца, просить у барина «верное лекарствие», серчать. Третьего дня прямо на кухне ей стало так плохо, что пришлось отворить кровь. Вот именно эта кровь и подвергается сейчас центрифугированию. Михаил Теофилович давно уже догадывается, что болезни такого рода вызываются тем, что он называет «холиостратиками». Эти вещества циркулируют по всей системе, открытой гениальным Гарвеем, утяжеляют кровь, замедляют ее ток и даже оседают на оболочках сосудов в виде малоприятных наростов. Надобно, наконец, выделить оные холиостратики, чтобы научиться их чем-нибудь растворять.

Вот в таких заботах проводит каждый свой день отставной генерал екатерининской гвардии, который в молодости был известен при Дворе своей удивительной неотразимостью. По завершении лабораторной части трудов он читает справочники и научные журналы, которые получает по подписке из Амстердама, а потом отправляется в отдельное строение,

известное как «павильон», на деле склад, проверяет там наличие необходимых трав и химикатов и составляет заказы в различные химические и фармакологические кумпанейства.

Вернувшись из «павильона», он еще с порога услышал удивительную, как раз ту самую «тревожную» музыку нового века, что он когда-то предчувствовал. Это Клавдия играла германского гения Людвига ван Бетховена на новом типе клавишного инструмента, известного как «форте и пиано». Он вошел, и она сразу повернулась к нему, затрепетав лицом, и, как всегда, даже и сейчас, после стольких лет, задавая ему непроизносимый, но и без произнесения такой понятный вопрос: ты меня еще хоть немножечко любишь?

Он подошел к ней и утешил поглаживанием по седым волосам, поддуванием колечек на шее, притворной сердитостью – почему, мол, так долго была в полях? Потом сказал: «Знаешь, Клодимоя, приехал Николай, ну и, как обычно, будет суарэ у них, так что марш-марш в туалетную и сделай себя красивой». Она вздохнула: попробуй сделать себя красивой с этими опустившимися щеками и подглазиями. Вернулась к Бетховену. Мишель сел рядом в кресло, закрыл ладонью глаза. Откуда знает этот то ли немец, то ли голландец, что у меня на душе?

У Лесковых так совпало, что съехалось чуть ли не все семейство. Старший сын Магнус Николаевич шумно ходил по полам, со всеми слегка, по-доброму, задиралъся с шуткой, заворачивал в буфетную, выходил с рюмочкой, в общем, сиял; и не без причины – третьего дня сорвал большой куш в вист на губернской ярмарке. Этот первенец был любимцем Фортуны. Пойдя по стопам папочки, он окончил курс в парижской Эколь Милитер, быстро возвысился в чинах и сейчас, к сорока годам, в чине полковника занимал пост в штабе генерала Багратиона. К тому же обрел он в дворянских кругах широкую, хоть и несколько фальшивую славу рыцарского наставника молодежи, бретёра и непревзойденного игрока. Жил он быстро, авантюрно, и супруга его, урожденная княжна Чехардия, в нем души не чаяла.

Две его сестры, Леопольдина и Валентина, тоже присутствовали со всеми своими чадами. Для поддержания в детях благовоспитанности и уважения к родовым традициям из глубин дома бабушка Фекла вывозила кресло-каталку со столетней немецкой старухой в голубеньком чепце, с бесконечным вязанием на коленях и с большущим котом на плече, который весьма серьезно относился к своей позиции старухиного телохранителя. Читатель, догадайся, кем являлась сия столь традиционная персона! Правильно, это была не кто иная, как некогда милейшая, а впоследствии зловещая герцогиня Амалия Нахтигальская!

В те еще времена, когда семьи Николя и Мишеля жили в Петербурге одним домом, а Леопольдина и Валентина были крошками, однажды, в канун европейского Рождества, у ворот их особняка остановилась колымага, из коей выскочила всклокоченная старуха, более похожая на истерическую русскую боярыню, чем на чопорную северогерманскую герцогиню. Колымага с гербом, напоминавшим стертую от времени крышку коробки нюхательного табаку, – это было все, что осталось у Амалии от ее государства. Дальше все в том же фасоне «страсти-мордасти»: на коленях поползла от ворот к дверям, рвала крест на груди, кричала что-то невразумительное на смеси русского и курляндского. Сестры ничего понять не могли, однако чувствовали в ужасной визитерше что-то свое.

Только уже в доме, когда все, что на ней намерзло, стекло на паркет, выявились знакомые тевтонские черты. Тетушка Амалия! Та самая, что в незабвенном дворце «Дочки-Матери» во времена их золотого детства вела хороводики маленьких принцесс!

Вечером вернулись из клуба мужья. Вымытая, просушенная и даже слегка накуафюренная старая дама сидела у камина. Известный всему обществу от Данцига до Киля великолепный французский вернулся к ней. Именно на этом языке она и поведала семье свой лё плю гран кошмар. Быть может, именно сие языковое совершенство и повлияло на окончательное решение ея судьбы.

Оказалось, что она даже в самом страшном сне не могла вообразить, что все так ужасно кончится. Конечно, она была до чрезвычайности сердита на старших Грудерингов за то, что те без предупреждения засели со всем своим двором на острове Оттец. Даже датчане никогда бы не пошли на такое безрассудство. В герцогине боролись две сути ее естества, да-да, именно две сути: одна суть любящей родственницы и тети, другая – суть суверена, который не может просто так оставить посягательства на свою собственную, родовую территорию.

Однажды явился какой-то весьма солидный господин и предложил за умеренную плату найти решение конфликта. Он произвел на герцогиню вполне серьезное впечатление, и только потом она вспомнила, что он во время разговора иногда как бы заглатывал свой рот. Как-то весь слегка передергивался, адамово яблоко уходило под подбородок, и рот исчезал, вместо него получалось просто голое место; как колено. Впрочем, всякий раз это длилось не более секунды. Герцогиня решила, что это просто нервный тик, и только потом, уже после трагедии, она сообразила, что это был вовсе не нервный тик, а результат слишком поспешной трансформации. Вы, конечно, понимаете, дети мои, что это значит. Нет, не понимаете? А вот я, к сожалению понимаю и казнюсь, казнюсь, казнюсь. Ну, хорошо, дайте мне еще одну скляночку валерьяны.

Не уверена, что этот господин – его имя, кажется, было Парлеуазо Гельдовский – говорил ртом, нет, в этом я не была уверена, однако, попав под наваждение, я согласилась через его комиссию нанять отряд рейтаров из Гамбурга. Сии рейтары должны были расставить во дворце караулы и попросить Грудерингов во имя мира и справедливости покинуть Оттец. Натюрельман, никакого насилия не предусматривалось, нужно было просто попугать кузена Магнуса и его высокомерную цесаревну. В случае отказа отряд должен был покинуть остров, но пообещать вернуться. Вот и все. Остальное известно. Прощенья мне нет, но клянусь, если вы, мои любимые курфюрстиночки, последние близкие души, оставшиеся у меня на этой грешной земле, соблаговолите дать мне кров и кусок хлеба, я буду самой верной и нежной шапероншей для ваших деток, а также и для их деток, а также...а также... да что я говорю... убейте меня... или... или дайте еще одну скляночку валерьяны!

Потрясенные сей исповедью, а еще более самой личностью кающейся дамы, Николай и Михаил вскочили со своих кресел и зашагали по обширной гостиной. Что делать? Выбросить вон старую гидру? Послать за полицией, препроводить беглую герцогиню в крепость? Самим отмстить за убиенных и испохабленных? Разрядить в нее пистолеты? Нет, нельзя осквернять гвардейское оружие! Поверить во весь этот бред, простить?

Амалия тем временем уже слегка похрапывала под действием благородного корня, являя собой порядочно умильный образ старенькой аристократки с одной лишь необычностью: над ухом у нее вдруг поднялся крепенький цветочек, по виду роза, но с запахом валерьяны. Клаудия и Фиокла, стараясь не глядеть на мужей, подняли тетушку и увели ее в опочивальню. Вскоре они вернулись со странным видом прежних вечно счастливых курфюрстиночек. «Ах, наши милые мужья, попробуйте нас понять! Ведь мы потеряли всех наших родных, а эта несчастная, при всей своей монструозности, все же наша тетушка! Ведь она из Грудерингов!»

Так и стала безобразная герцогиня отменнейшей шапероншей еще по крайней мере двух поколений наследников подсеченного ею под корень рода.

Из всех детей Николая и Феклы Лесковых отсутствовал в тот вечер только младший сын, тридцатипятилетний флотский офицер Аруэт Николаевич. Трудно было даже предположить, на каких градусах широты и долготы находился в этот момент его корабль, представитель уже четвертого поколения многопушечных громад, носивших любезное российскому флоту имя «Не тронь меня!» Последнее письмо пришло из Гибралтара, что давало возможность предположить, что возглавляемый им линкор входит в союзную, то есть в основном британскую, эскадру, занятую пресечением средиземноморских происков Буонапарте.

Своими успехами в морском деле Аруэт, названный так, разумеется, в честь все того же властителя дум прошлого столетия, обязан был славному адмиралу и одному из главенствующих лиц екатерининского «греческого проекта» Фоме Андреевичу Вертиго, ставшему после описанных в сей повести событий верным другом его батюшки. Вышедший в отставку престарелый герой турецких битв как раз в Гибралтаре и обосновался на закате своих дней, вернувшись таким образом к своему исконному британскому имени Томаса Вертайджо. В одном из писем Николаю Галактионовичу он сообщил о недавнем визите коммодора Аруэта Лескова. «Твой сын», писал он, «являет собою идеал флотоводца российского, хотя и удивляет некоторой коловратностью своих политических взглядов. В частности, борясь с французскими эскадрами и честно выполняя свой долг, он в то же время восхищается личностью императора Наполеона и никогда не именует оного Буонопарте. Вельми я опасаюсь, что новое поколение дворян еще удивит мир экстремным выражением вольтерьянских идеалов, унаследованных ими от нас, своих родителей».

Получив сие послание и прочитав вышеуказанный пассаж другу Михаилу Теофиловичу, Николай Галактионович кричал, стучал тростью, однако ж глаза его светились странной гордостью за своего оригинального сына. Михаил Теофилович, кажется, понимал происхождение сей гордости. Новое поколение все-таки должно проявляться с новыми, или, как нынче гласят, «байроническими» (по имени какого-то непутевого английского лорда) взглядами на сущий мир, иначе в мире нарушится циркуляция жидкостей и слизей, иначе холиостратики накопившихся предрассудков приведут к образованию безобразных сгустков и застою необходимых для энергии тела и души эльсистрациратов.

С тою же не вполне отчетливой, но понятной гордостью он относился к своим собственным детям, родившимся у них во время долгого сиамского путешествия. Холостяк Георгий и волоокая красавица Наталья, ныне княгиня Пензовалдайская, несмотря на довольно иноземную внешность выросли настоящими российскими либералами. В Петербурге, где они проводили большую часть времени, они посещали вольнодумские салоны, где говорили более о масонах Радищеве и Новикове, чем о наследии масоноборческой императрицы.

Княгиня Пензовалдайская, антр ну, была весьма близкой, чтобы не сказать, интимной, подругой мореплавателя Аруэта Лескова. Настолько близкой, что у родителей по обе стороны реки Мастерицы возникали опасения по поводу слишком уж родственного слияния кровей. Впрочем, сиамские влияния затемняли славянские черты двух ее деток, так что трудно было сказать, кто на кого похож. Самому князю, человеку намного старше Натальи, сии тонкости были, как тогда говорили, «до свечи». Выйдя в отставку из преторианской гвардии императора Павла, он теперь сиднем сидел в своем огромном тамбовском поместье, злобствовал по адресу новых российских поколений и воспарял душою только в сезон псовой охо-

ты, когда гонял по покатым холмам свои отменные английскую и русскую своры.

Что касается красавицы Натальи, то она предпочитала их богатый петербургский дом, а если уж отправлялась на Тамбовщину, то по дороге надолго задерживалась у маменьки с папенькой и с соседствующей тетушкой Феклой, то есть ликовала в атмосфере фортепианных концертов и регулярных книжных присылок из Европы. Словом, она со своими детьми тоже присутствовала на семейном ужине у Лесковых.

Уселись все вокруг большущего овального стола. Во главе его, разумеется, фигурировал сам маркграф, генерал Лесков, вовсю играющий роль патриарха большого дворянского сельского клана, как будто это и не он хитроумным «русским Калиостро» вот уж пятнадцать лет рыщет по городам и весям России и близлежащей Европы.

Визави от него восседала герцогиня Амалия, то есть можно было и про нее сказать, что это она возглавляет стол. Так или иначе, но по традиции Лесковых-Земсковых предполагалось, что вокруг герцогини собирается многочисленное детство клана, коему она преподносит весь отменнейший «финесс» оверсаленной Европы. Нынче уже не так многого можно было ожидать от полуслепой и на три четверти глухой дамы, однако даже и сейчас она иной раз выкаркивала: «Не путать куверты!» или «Сал-фетку!», а то и целое изречение вроде: «Улыбку – извольте, хохот – на десерт!» В эти редкие осмысленные моменты с основательно усохшей ея головкой происходили необычные явления: ну, скажем, из уха у нее всходил колосок яровой пшеницы, на нижнем веке по соседству с глазом появлялась незабудка, на подбородке вырастал крепенький грибок, или вдруг по неровностям щеки неспешно проползала пушистая гусеница, поглядывающая на собравшихся вокруг довольно вдумчивым взглядом. Дети так привыкли к этим странностям, что не обращали на них внимания.

Вскоре за столом определился и истинный глава пира. Оным естественно оказался не кто иной, как старший сын Лесковых, Магнус Николаевич. Набравшийся грузинских привычек от своей супруги и от генерала Багратиона, он объявил себя «тамадою», постоянно провозглашал тосты и выкрикивал столь благозвучное «алаверды!», а также показывал в лицах всем знакомых помещиков, что «профершпилились» за картами на губернской ярмарке.

В промежутках между блюдами общество непринужденно пускалось в танцы, и тут уж к вящему удовольствию всего детства истовым церемониймейстером становился богатырственный тяжеловес, Гран-Пер Мишель. Именно он однажды между кофием и бланманже начал бухать всеми пальцами, а то и локтями по клавиатуре и в память о юношественных авантюрах объявил матлот-матроску. То-то было визгу среди детства, когда обе бабушки, Клавдия и Фекла, подбрасывая юбки, пустились в пляс. Среди сего всеобщего танцевального варварства никто из детей и не заметил, как бабушки в углу залы уткнулись друг дружке носиками в кружева и содрогнулись в ошеломляющих воспоминаниях. Словом, пир удался.

Дом затихает. Детей развели по спальням. Родители вышли к прудам, на коих, словно отблески празднества, покачивались отражения луны. С колпачками на длинных шестах по комнатам прошли слуги и загасили высокие люстры. Два старых друга, Николя и Мишель, по старой привычке остались вдвоем у большого полукруглого окна с видом на залитую луной обширную и немного слезливую рязанскую равнину. О де ви, похожий на расплавленный янтарь, из тяжелого хрусталя перетекает в два легких и далее через видавшие виды глотки отправляется на соединение с не менее умудренными жидкостями и слизями их организмов.

« Эта твоя сегодняшняя эскапада на фортепьянах, Мишка, напомнила мне знаешь кого? Унтеров Упрямцева и Марфушина, помнишь?» не без

мечтательности вопросил Николай Галактионович и, увидев улыбку на морщинистых губах друга, продолжил вопрос: «Ты их встречал потом в Петербурге?»

«Как же, встречались», ответствовал Михаил Теофилович. «Только без усов и в других чинах. Да и имена были другие. Как ты думаешь, Колька, записана ли сия облискурация в книгу наших грехов?»

Лесков рассмеялся и подкрутил свои новомодные усики. «Можешь не сомневаться, ваше превосходительство, и не надейся на вольтеровские индульгенции! Лучше давай, пока живы, вместе покаемся, только не православному батюшке, а ксендзу в Данциге».

Почти никогда они не говорили о своей второй религии, католичестве, которое тайно приняли по настоянию невест-католичек. В духе цветущего своего вольтерьянства шевалье Террано и Буало мало заботились в те дни о разделении церкви и нерушимости ритуалов. С такой же легкой душою вторично пошли под венец и в рязанских православных краях. С той же степенью легкости, впрочем, они относились и к атеистической догме энциклопедистов, а усмешливую фигуру Бога, известного в предреволюционной Франции под кличкой «Господин Быть» полагали проявлением бойкости языка и слабости духа. Непостижимый Део, вот перед кем они благоговели. Он посылает к людям своих аватаров, Будду, Моисея, Христа, Магомета, дабы очистить их сути от «холиостратиков» догм, но люди из сих посланников творят новые догмы. Таким образом, отрешившись от множественных сомнений, можно легко вскочить в седла и понестись в непостижимом, как сам Део, пространстве, порой проскакивая границы между прошлым, настоящим и будущим.

Между тем тяжелый хрустальный сосуд становился все легче. Почтенные генералы с каждым глотком о де ви становились моложе, и в темных стеклах виделись им отражения их прежних юных лиц. Беседа стала перепрыгивать с темы на тему, подобно тому, как Пуркуа-Па и Антр-Ну перепрыгивали с камня на камень при переходах через швейцарские горные ручьи.

«Мы редко видимся, Мишаня, а я давно тебя хотел спросить: случаются ли с тобой в преклонном возрасте прежние визионы? Шалит ли по-прежнему твоя голова?» спросил Николай.

Михаил усмехнулся. «Ах, Николаша мой Калиостров ич, башка моя нынче затвердела в научной работе, в рутине медлительной жизни. Часто мне вспоминаются прежние ослепительности. Помнишь, я тебе говорил про летающие домы, про визги Орды, про лунное пребывание?..»

Николай мечтательно улыбнулся. «Я помню, как ты в Париже на масленицу нежданно заголосил чудную песню под гваделупский там-там, помню еще твоего бреющего «жужжала»...

«Не жужжала, а жужжалу», поправил его Михаил.

«Да-да, женского рода, как бритва...» проговорил Николай. «Ах, какие были восхитительные облискурации! До сих пор не понимаю, сколько мы сидели в Шюрстине, год или день, действительно ли вели нас тогда на казнь...»

Миша взял его за острое колено крупной своей ладонью и попросил с неожиданной страстью: «Вот ежели бы ты угостил меня поперек головы какой-нибудь колотухой!» Николай сбросил его длань со сгиба своей конечности. «Окстись, мон шер! Мне голова твоя дороже собственной!» Смущенные оба, один юношеским порывом, другой старческой сентиментальностью, два генерала раскурили две драгоценные длинные трубки, добытые еще при взятии Очакова во дворце великого визиря Саламбека-паши. Миша сквозь дым смотрел на своего братственного друга и видел, что еще один вопрос у того назревает, быть может, тот самый, что мучит столь долгие годы. Так и оказалось. С нарочитой некоторой небрежностию, как бы мимоходом при разливании о де ви, тот полюбопытствовал:

«Скажи, Михаил, это правда, как иной раз исторические люди говорят, что ты поял Государыню?»

С тою же мимоходностью, поднимая бокал, Михаил Теофилович ответствовал:

«Случалось».

Ответ сей поверг Николая Галактионовича в какую-то душевную коловратность. Рука его дрогнула, частично расплескав бокал. Страдальческим голосом он зашептал: «Миша, Миша, брат мой, сейчас, когда все уже прошло, скажи мне, сколько раз в течение жизни соединялся ты с нею?»

Земсков положил Лескову руку на подрагивающее плечо. «Успокойся, Коленька, я тебе все расскажу. У нас было в жизни восемнадцать свиданий, а сколько раз соединялся, не сочту. Но прежде ты мне поведай, пришлось ли и тебе познать властительницу?»

«В том-то и дело, что не могу ответить», отчаивался Лесков. «Лишь раз во время Остзейского кумпанейства проснулся я в опочивальне барона Фон-Фигина, но тот уже исчез вместе с кораблем «Не тронь меня!» Так и не знаю, что было в ту ночь, но только после не раз посещала во сне память о чем-то толь величественном, чего уж более никогда в жизни не повторялось». Он опустил лицо в ладони и вконец расхлюпался. «Всю карьеру... галлюцинировал... мечтал предстать... скрежетал по адресу... всех тех мазуриков Орловых... балды Васильчикова... кентавра Сериниссимуса... смазлюшки Ланского... прочих жеребчиков...», он поднял голову. «Однако, Миша, как же так получилось, что ты не въехал к ней во дворец?»

Земсков некоторое время молча смотрел в окно на залитую луной даль, испещренную бестолочью болот, меж коих, как спящая уж, лежала захудалая речка. Наконец изрек: «Потому и не въехал на жительство, что не ласкался быть, как тогда говорили о фаворитах, «в случае», а просто дорожил теми свиданиями, на кои всегда мчался, чаще всего скакал в седле как оглашенный. Для меня в те дни весь мир вокруг представал в каком-то новом виде, всякое древо шумело о чем-то непознанном, и ежели снег в лицо летел, так будто с неведомых вершин, а ежели солнце озаряло окна, так вроде по мановению моей собственной руки, как будто от щелчка пальцев, все поражало неслыханно, тем паче стук ея каблуков, шелест платья. Короче говоря, Коленька мой дорогой, за те годы восемнадцать раз я был страстно, как мальчишка, влюблен и жадно жаждал, как, быть может, когда-нибудь в песне споют, эту Ея Величество Женщину...».

«Ты все-таки безумец», прошептал Лесков. «Или Ланцелот, заново рожденный».

Земсков невесело рассмеялся. «Ланцелот, одержимый Гинервой, что правит сама, избавившись от Артура, так, что ли? Между прочим, ты заметил тогда на острове, как ластились к барону Фон-Фигину всякие твари: кони, кошки, голуби, выжлецы и собаки? Вот и меня, как одну из тварей, тянуло к нему, хоть и страшился того, что казалось мужеложеской похотью».

«А как же наши влюбленности в курфюрстиночек?» со вздохом спросил Лесков.

«Ах, друг мой братский, для меня ведь Клаудия была совсем иным ликом любви», пробормотал Земсков. «Таким иным сей лик и остался наперекор злодейке-судьбе. Екатерина же воплощала всю усладу греха земного. Мы много с ней говорили о сиих предметах».

«Ах так?» удивился Лесков не без толики ядовитости. «Вы, стало быть, не только любодействовали, но и беседовали?»

«Часами, устав от утех, шептались в постели, боясь подслушивания. Иной раз, приблизив свечу, она зачитывала мне куски из писем Вольтера. Причем тут Вольтер, спросишь ты. Да как же, ведь все наши свидания как раз и начинались с передачи писем, ведь я был восемнадцать раз в роли ея спецьяльного и тайного в Ферне курьера. Ох, уж сей сладкозвучный старик! Иной раз мне казалось, что и он влюблен в некое Екатерининское Величество. Запомнились иные из его обращений. «Да здравствует август-

тейшая обожаемая Екатерина!... Ваше Императорское Величество, вы приемлете некоторое обо мне сожаление в рассуждении моей к вам страсти. Вы подаете мне утешение, но в самое то время наводите также несколько и страху и, как видно, для того, чтоб содержать своего обожателя в привычке к терпению... Мне должно онеметь, наложить на изступление мое молчание и остаться в пределах глубокого почтения и преданности, с коими и повергаюсь к ножкам Вашего Императорского Величества на то короткое время, которое еще осталось жить альпийскому пустыннику...» До сих пор не могу взять в толк, чего тут боле: искреннего душевного «изступления» или французской витиеватой любезности? С мнимой шутейностью я спрашивал о сем Екатерину, и она с мнимой шугейностью каялась в грехах с Вольтером. Однажды, впрочем, даже как бы осерчала: «Милый мой друг, то, о чем вы вопрошаете, относится не ко мне, а к посланнику Фон-Фигину!» Как тебе сие понравится, Николай?»

Избранные фразы, взятые автором повести из переписки друзей, кои якобы никогда в жизни не зрили один другого воочью.

От Императрицы. Первое письмо. 1763.

...по обширности России, год не иное что, как один день, как тысяча лет перед Господом. Мне больше нечем извиниться в том, что Я не сделала еще того добра, которое Мне сделать надлежало бы.

Предсказание Жан Жака Руссо, надеюсь, пока Я буду жива, не сбудется. Таково мое намерение, а время покажет следствия. После сего, Государь Мой! хочется Мне вам сказать: Молитесь обо Мне Богу.

От Вольтера. 1766.

...Все ученые люди в Европе должны повергнуться к стопам Вашим.

Чудеса изволите творить Вы, Всемилостивейшая Государыня!.. Щастлива Ваша Академия, имеющая целию образование людей, независимых от Св. Франциска!

...Простите ли, Всемилостивейшая Государыня, дерзость моей маленькой досады на то, что Вы именуетесь Екатериною.

...Вы сотворены не для Месяцеслова.

...пусть Юнона, Минерва, Венера или Церера делают лучший склад (вклад? – **В.А**.) в Поэзии всех народов.

От Императрицы. 1766.

...Я не думаю иметь право на то, чтобы быть воспеваемою... не поменяюсь именем с завистливою и ревнивою Юноною; Я не так тщеславна, чтобы принять имя Минервы; называться Венерою хочу еще менее, потому что сия красавица слишком прославлена; Церерой быть я также не могу, потому что урожай в России нынешний год был очень не хорош.

От Вольтера. 1767.

...Русского языка я не знаю, но могу видеть из перевода Вашего манифеста, который изволили Вы мне прислать, что он имеет такие перемещения и обороты, каких совсем нет на нашем языке. Я не скажу того, что сказала одна Придворная Дама в Версалии, которая сказала: «Жаль, что Вавилонское столпотворение произвело смешение языков, а без того бы весь Свет говорил по-французски».

Сосед Ваш, Китайский Император Камги, спрашивал одного миссионера, можно ли на Европейских языках писать стихи? Он в этом сомневался.

От Императрицы. 1767. Казань.

...не лучше ли, Государь мой, все похвалы человекам отлагать до смерти их... потому что все человеческие дела коловратны и непостоянны...

Законы, о коих столь много говорят, все еще не приведены к концу. Но ах! кто может поручиться за их совершенство? Конечно, не нам, но потомству предоставляется право решить сию задачу. Вообразите себе, что они должны служить Европе и Азии. Какая чрезвычайная разность в климате, в народах, в обычаях и в самих понятиях!

Я теперь уже в Азии... В здешнем городе находятся двадцать различных народов, не имеющих между собой ни малейшего сходства.

От Вольтера. 1767.

...Естьли они (турки. – **В.А.**) объявят Вам, Всемилостивейшая Государыня! войну, то она легко может довести их до того, что в рассуждении их Петр Великий имел в виду, то есть, чтоб Константинополь сделать столичным городом Российской Империи. Сии варвары за малое уважение, оказыванное ими по ныне женскому полу, достойны быть наказаны Героинею. Люди, пренебрегающие словесными науками и содержащие в неволе женщин, непременно заслуживают быть истребленными.

...Мустафа не должен противоборствовать ЕКАТЕРИНЕ. О Мустафе слух носится, что он не умен, что он не любит стихов, что он отроду не был в театре и что французского языка не разумеет; поверьте моему слову, ему не устоять.

От Императрицы. 1768.

...Жаль, что Мустафа не любит ни Театра, ни стихов. Ему будет очень досадно, когда мне удастся завести Турок в тот же спектакль, в котором Паолиева труппа так хорошо играет. Не знаю Я, говорит ли Паоли по-французски, но сражаться он мастер за отечество (Корсику. – **В.А.**) и за независимость.

Что касается до здешних новостей, то скажу вам, Государь Мой! что все вообще охотятся прививать оспу, что и один из Епископов намерен испытать сию операцию и что в Вене в восемь месяцев так много не привито оспы, сколько здесь за один месяц.

...Государь мой! От подателя сего получите вы три пакета под №1,2 и 3... Гвардии моей порутчик, князь Козловский, поставил за особливую к себе милость быть отправленным в Ферней, за что Я им и довольна. Будучи на его месте, Я бы и сама этот случай не меньше уважила... просим вас употреблять сей мех против Северо-Восточного ветра и наносимой с Альпийских гор стужи.

От Вольтера. 1768.

...Хвалю сей знатный мех
Российской Мать-Царицы!
Над Мустафою смех
Пусть громом разразится!

...На табакерке вижу знак
Руки прилежной и прекрасной,
В черты ея вперяю зрак,
В сии черты Авроры ясной!
Когда б я был из удальцов
С великолепными усами,
Я вместо тысячи гонцов
Сам поскакал бы в царство снов,
Но я всего лишь филозóф
И потому леплюсь устами.

...Гром пушек, кораблей услада,
Пусть Византии скажут сказ.
Пусть воссияет над Элладой
Екатерининский «Наказ»!

От Императрицы. 1769.

...в России подати столь умеренны, что нет у нас ни одного крестьянина, который бы, когда ему ни вздумалось, не ел курицы, а в иных Провинциях... стали предпочитать индеек... хлебопашество год от года умножается; равномерно и размножение народное...

Наши законы идут своим чередом: над ними трудящиеся не спешат... Законы сии позволят каждому исповедывать свою веру...Боже нас сохрани от приключения, случившегося с Шевалье де ля Барр (растерзан фанатиками за атеизм. – **В.А.**). Судьи, которые дерзнули бы учинить таковой приговор, заключены бы были в дом сумасшедших.

...Что вы скажете, Государь мой! когда узнаете, что прекрасные Черкешенки, досадуя на то, что их запирают в Константинопольском серале, как скотину в хлевах, уговорили своих отцов и братьев России покориться? Действительно, Горские Черкесы присягнули мне в хранении верности.

...Кстати! Я слышала, будто бы в Константинополе и Париже запрещено продавать мой Наказ для сочинения Уложения.

От Вольтера. 1769.

...Как я ни стар, но радуюсь сердечно, что прекрасныя Черкешенки учинили Вашему Величеству присягу в верности, и оне, конечно, в том же поклянутся и пред своими любовниками. Обе части, составляющие человеческий род, должны Вам быть весьма обязаны.

...в будущем году мне будет точно 77 лет отроду; не знаю однако ж, что бы могло мне воспрепятствовать ехать поклониться Северной звезде и проклинать приращение луны... естьли же умру в дороге, то на маленькой гробнице своей велю изобразить: «Здесь лежит обожатель Августейшей ЕКАТЕРИНЫ, имевший честь умереть на пути для изъявления Ей глубочайшего своего почитания».

Повергаюсь к ногам Вашего Императорского Величества,

Пустынник Фернейский

От Императрицы. 1770.

...В сем новом году желаю вам, чтоб вы были щастливы и чтобы здравие ваше так укрепилось, как Таганрог и Азов.

...На прошедшей неделе получила Я известие о взятии Журжи, что на Дунае, и о разбитии при ней Турецкого корпуса. За сию победу было у нас совершаемо молебственное пение.

...Сказывают, что флот Мой из Порта Магона вышел... Генерал Тотлебен, перешед Кавказские горы, стал на зимние квартиры в Грузии...

...Желаю, Государь Мой! чтобы вы имели удовольствие видеть свои пророчества сбывшимися; немногие пророки могут похвалиться подобною выгодою.

От Вольтера. 1770.

...Прусский король недавно прислал ко мне пятьдесят очень хороших своих французских стихов; но я был бы довольнее, когда бы он послал к Вам 50 000 войска для произведения диверсии, и чтоб Вы между тем напали на Мустафу со всеми Вашими совокупленными силами.

...Одною рукою писать Уложения Законов, а другою поражать Мустафу есть деяние новое и удивительное... Я должен Вас просить об оказании мне еще одной милости. Благоволите поспешить окончанием обоих сих великих дел, дабы я имел удовольствие пересказать об них Петру Великому; ибо я скоро думаю иметь доступ к Нему на том свете.

От Императрицы. 1770.

...Вы меня просите, Государь Мой! привесть немедленно к окончанию войну и законы, дабы вы могли о сем принесть известие на том свете Пет-

ру Великому; но позвольте мне вам сказать, что этот способ не может Меня принудить к скорейшему окончанию. И Я в свою очередь вас усердно прошу отложить исполнение предприятия вашего на самое продолжительнейшее время. Не печальте друзей ваших, пребывающих в здешнем мире, из любви к тем, кои в другом обретаются.

От Вольтера. 1771.

...Вселенна веселится: в России торжество!
Во Франции ж бубнится унылый хор жрецов.
Султанам мира горе несет российский флаг,
Подъемлемый Викторией средь вражеских фелюк!

...Желал бы я, чтоб Аполлон поднес Вашему Императорскому Величеству Магометово знамя и цаплино перо, носимое толстым Мустафою на большой его чалме; однако ж и это исполнится в нынешнем году при окончании кампании.

...По мнению моему, теперь Вы, Всемилостивейшая Государыня, первейшая власть во вселенной... без всякого затруднения поставляю Вас превыше Китайского Императора, несмотря на то, что тот стихи сочиняет...

От Императрицы. 1771.

...Мне кажется... что не имеете еще причины соседом Моим, Китайским Государем, величаться, у которого Я, несмотря на его стихи и возродившуюся вашу к нему любовь (прошу не осердиться), не нахожу почти общаго смысла. Вы скажете, что одна ревность заставляет Меня так говорить; отнюдь нет; Я не поменяюсь Римским своим носом на плоское его лицо; не завидую также и дарованию его сочинять дурные стихи; Я люблю лишь одни ваши читать.

...Лучше изберите господина Алибея Египетского: он справедлив, человеколюбив, вежлив, сверх сего любитель терпимости иноверия; правда любит он иногда и грабить, но иные пороки можно и прощать ближнему своему.

От Вольтера. 1772.

...Я по сие время еще не знаю, была ли распространившаяся в Москве болезнь настоящая моровая язва...

...Другое моровое поветрие составляют Польские Конфедераты; но я надеюсь, что Ваше Императорское Величество истребите их заразительную болезнь...

...Энциклопедию должно бы печатать в Париже, но Инквизиция наша на то не дала позволения...

...Позвольте, Ваше Величество, сказать, что Вы непостижимы. Только что Балтийское море поглотило на шестьдесят тысяч ефимков картин, купленных Вами в Голландии, а Вы уже приказываете привесть картин из Франции на четыреста пятьдесят тысяч ливров; да сверх того Вы выписываете еще из Италии великое множество разных редкостей. По чести не знаю я, откуда Вы берете столько денег? Разве Вам досталась вся казна Мустафы в добычу, так что и в Ведомостях о том не написано?

...Я повергаюсь к ногам Вашим и прошу дозволить мне расцеловать их со всевозможною униженностию; також и руки Ваши, которые по общему мнению суть наипрекраснейшие в свете. Пора бы и Мустафе приехать для облобызания оных с таковым же унижением, с каковым я то делаю.

Больной старик Фернейский

От Императрицы. 1772.

...Многие офицеры наши, коих вы, по снисхождению своему, принимали у себя в Фернее, возвратившись в отечество, кажутся быть вами и вашим приемом очарованными. Поистине, Государь мой! Вы оказываете

Мне чувствительнейшие знаки вашей дружбы; вы распространяете оную даже и к нашим молодым людям, которые жадничают вас видеть и ваши разговоры слышать; но Я опасаюсь, чтоб они не употребляли во зло ваше к ним снисхождение. Может статься, вы скажете, что сама Я не знаю, чего желаю и о чем говорю, в рассуждении того, что граф Федор Орлов был в Женеве, но не был у вас в Фернее; однако Я довольно журила его за то...а естьли сказать вам откровенно, то его удержала от того лишь пустая стыдливость. Ему кажется, что он не может с довольною свободностию на Французском языке изъясниться. На сие Я ему ответствовала, что кто был во время Чесменского сражения в числе главнейших предводителей, тот может извинен быть в несовершенном знании Французской Грамматики, и что приемлемое г-ном Вольтером участие во всем, касающемся до России, и дружба его, мне оказываемая, заставляют меня думать, что (хотя кровопролитие ему и не приятно) он, может быть, без сожаления выслушал бы начальствующего, сколько любезного, столько и храброго офицера, изустное и подробное повествование о завоевании морей (суперлятив может оказаться на совести переводчика, поскольку Морея – это имя Пелопоннеса. Гадайте сами, господа! – **В.А.**) ...и что г-н Вольтер, конечно, извинил бы его, когда бы он не по правилам стал бы перед ним изъясняться на чужестранном языке, который ныне и многие природные французы начинают забывать, естьли станем судить по множеству глупых и худо написанных книг, кои ежедневно из печати выходят...

От Вольтера. 1772.

...Я опасаюсь, чтобы Вам не наскучили письма старого сочинителя, что кричит находящимся в Женевском озере форелям: воспоем Екатерину Вторую!

...Я полагал, что Ваше Величество не заставили безумных наших французов сделать в Сибирь путешествие за то, что они загуляли в Польше, где им вовсе нечего было делать... Я имею великое почтение к Ченстоковской Богородице; однако же при избрании путешествия для поклонения предпочел бы ей Богиню Петербургскую.

...Правда ли, что в Сибири водятся особливого рода цапли, у которых крылья и хвост огненного цвету? В наших книгах упоминается, что сия птица у Вас кречетом, а у турок шунгаром называется.

От Императрицы. 1772.

...Скажу вам, что Я вновь вступаю с Мустафою в пушечные переговоры...

...Государь мой! я не спорю с вами о том, что носороги и слоны не могли перейти в Сибирь... Я послала вам повествование нашего ученого, единственно как любопытное сочинение; признаюсь однако ж, что я желала бы, чтоб экватор мог переменять свое положение: одно предположение, что Сибирь может чрез 20000 лет покрыться померанцевыми и лимонными деревьями, приводит Меня в восхищение...

...Я получила прекрасное и пространное письмо от Г-на Даламберта, в котором он именем Философов и Философии просил об отпуске военнопленных французов, взятых в разных местах Польши. На приложенной при сем записке содержится Мой ответ. Сожалею Я, что клевета ввела Философов в заблуждение.

...Прощайте, Государь Мой! и сохраняйте ко мне дружбу вашу.

От Вольтера. 1772.

...Однако ж я только тем миром буду доволен, по которому Стамбул сделается Вашим владением. Один сей Стамбул был всегда предметом моих желаний, так, как Св. Екатерина Вторая предметом моего священнослужения. Да насладится моя Святая всеми удовольствиями, так как Она славится во всех делах Своих!

Больной старик Фернейский,
живущий без славы и удовольствия

От Вольтера. 1773.

...По всему видно, что россияне одарены умом, и притом хорошим. Ваше Императорское Величество родились царствовать не над глупцами...

...О как щастливы дети Рюриковы! а еще благополучнее их лапландцы и олени их, которые в одном только своем климате жить могут! ...Природа делает каждую шпагу по ножнам!

От Императрицы. 1773.

...Я надеюсь, что вы освободились от той пакостной непрерывной лихорадки, в которой Я вас никак не могла подозревать, судя по письмам вашим, в коих веселость духа вашего непрестанно присутствует.

...Я очень рада, что обе мои комедии вам не совсем дурными показались. Нового вашего сочинения, мне обещанного, с нетерпеливостью ожидаю, но с большим нетерпением ожидаю известия о вашем выздоровлении...

От Императрицы. 1774.

...Из Польши, равно как и из Франции, наиболее рассеиваются ложные новости. Ныне Я готовлюсь видеть праздных людей занявшимися разбойником, который грабит Оренбургскую губернию и который, чтоб устрашить крестьян, называет себя Петром Третьим. Сия пространная Провинция, в рассуждении своей обширности, имеет недостаток в жителях; нагорная ея часть занята Татарами, которых Башкирцами называют и которые от начала мира превеликие грабители. Долины же населены всеми бездельниками, от которых Россия себя освободила в продолжении сорока лет подобным почти образом, как и Американские поселения людьми снабдевались.

Для восстановления нарушенной тишины отправлен Генерал Бибиков с корпусом войск.

...оное буйство человеческого рода не расстраивает Моего удовольствия, котороя Я имею от собеседования с Дидеротом. Ум сего человека составляет некоторую редкость, а свойство сердца, какое он имеет, желала бы Я иметь всем.

От Вольтера. 1774.

...Это приметно, что Ваше Величество немного предприятиями Г-на Пугачева встревожены.

...Вы, будучи обременены тягостью в продолжении войны против обширной Империи (Турции. – **В.А.**), надзиранием за всем и исполнением всего собственно своею Особою, находите еще время, чтоб с нашим философом Дидро беседовать...

...Верно, я при Дворе Вашем пришел в немилость, Ваше Императорское Величество променяли меня на Дидро, или на Гримма, или на другого какого любимца; Вы никакого уважения моей старости не сделали; простительнее бы Вам было, когда бы Вы были Французскою кокеткою. Но как возможно победоносной и законы начертывающей Императрице быть столь непостоянною!

За Вас ссорился я со всеми Турками и даже с Маркизом Пугачевым; в награду же за все сие Вы меня забываете! И так отныне положил я себе законом не любить во всю жизнь свою ни одной Императрицы.

От Императрицы. 1774.

...Вы утверждаете, будто вы при Дворе Моем пришли в немилость... сего никогда не бывало: я вас не променивала ни на Дидерота, ни на Гримма, ни на другого какого фаворита... Я совсем удалена от ветрености и непостоянства.

Маркиз Пугачев наделал мне в нынешнем году множество хлопот. Я принуждена была с лишком шесть недель беспрерывно с великим

вниманием сим делом заниматься; а вы, несмотря и на то, Меня браните и при том говорите, что вы отныне во весь свой век никакой Императрицы любить не будете.

...Впрочем, Государь Мой! имела бы и Я не меньшую причину жаловаться на делаемые вами мне упреки в рассуждении истребленной страсти, естьли бы Я и в самом негодовании вашем не усматривала доказательства вашей ко Мне дружбы.

От Вольтера. 1774.

Я Вашему Императорскому Величеству прощаю и опять Ваши оковы на себя налагаю.

...чем назвать Маркиза Пугачева, Агентом или орудием? Не могу я быть столь наглым, чтоб Вас о его тайнах спрашивать. Я не почитаю маркиза орудием Ахмета Четвертого... Он также не был на жалованье ни у Императора Китайского, ни у Хана Персидского, ни у Великого Могола. И так сему Пугачеву сказал бы я с осторожностью: господин маркиз, кто вы таковы, господин или слуга? чьи это были затеи, ваши или чужие? ...как бы то ни было, но я думаю, что дело ваше тем кончится, что вас повесят, а вы того и стоите...

От Императрицы. 1774.

Государь Мой! удовольствую ваше любопытство в рассуждении Пугачова: ...он с месяц тому назад пойман... теперь уже везут его в Москву... Генералу, графу Панину, он при первом допросе признался, что он козак Донской... он не умеет ни читать, ни писать, но чрезвычайно смел и отважен. До сего времени нет ни малейшего признака, чтоб он какой-нибудь Державе был орудием... Можно наверно утверждать, что г-н Пугачов был самовластный разбойник...

Я думаю, что по Тамерлане не было еще никого, кто бы более его истребил человеческого рода... он вешал без всякой отсрочки...всех вообще Дворян, мущин, женщин и младенцов... никто пред ним не мог спастись от грабительства, насилия и убийства.

...осмеливается еще ожидать пощады. Он воображает, что Я из уважения к его храбрости могу его помиловать... Если бы он одну Меня оскорбил, то мнение его было бы основательно: Я, конечно бы, его простила; но это дело до всей Империи касается, которая свои законы имеет.

От Вольтера. 1774.

...Подлинно Пугачов больше чорт, нежели человек. Удивляюсь, право, чтоб Турецкий Диван не догадался послать ему несколько денег. Может быть, потому, что он, как Генгиз Хан и Тамерлан, не умел писать. Бывали, сказывают, даже и такие люди, которые остались основателями религий, а имени своего не умели подписывать. Все сие не много чести приносит человеческому роду. Всего более делает ему честь Ваше великодушие.

От Вольтера. 1775.

Всемилостивейшая Государыня! Бывши удивлен и восхищен Вашими победами, не перестаю быть в недоумении от Ваших празднований. Я не могу понять, каким образом по повелению Вашего Императорского Величества Черное море перешло в лежащую под Москвою долину...

...Это я знал, что Превеликая Екатерина Вторая в целом мире первая Особа; но того я не знал, что Она и волшебница.

...Повергаюсь к стопам Вашего Величества с униженнейшим прошением прощения в том, что я дерзал Вас беспокоить моими пустыми и скучными просьбами.

От Императрицы. 1775.

Государь мой! Чем более на сем свете живешь, тем более привыкаешь видеть попеременно, что за щастливыми происшествиями наступают печальные позорища; а сии в свою очередь удивительными явлениями последуемы бывают.

От Вольтера. 1777.

Ваш подданный, отчасти Галл, отчасти Швейцар, по имени Вольтер, несколько дней находился при последнем издыхании. Духовный его отец, скороход города Рима и Католической Апостольской церкви, пришел дать ему напутствие. Больной ему сказал: Преподобный отец! Бог теперь меня осудит, не так ли? За что же, мой простосердечный старичок, спросил священник. За неблагодарность. Я был осыпан милостями Самодержицы, Господи, той, которая в этом мире представляет лучший Твой образ, и я не писал ей уже более года!

...О, если это так, так неблагодарность твоя похвальна! воскликнул священник. У нее и без тебя дел хватает!

От Императрицы. 1777.

...Нынешнею зимою читала Я два новые Российские перевода, один Тасса, а другой Гомера. Все их называют очень хорошими; но я признаюсь, что недавнее письмо ваше принесло мне более удовольствия, чем Гомер и Тасс. Забавность и живость, коими оно исполнено, подают мне надежду, что болезнь ваша никаких следствий иметь не будет и что вы очень легко более ста лет проживете.

Воспоминание ваше обо Мне всегда для Меня лестно и приятно; чувствования же Мои к вам пребудут навсегда непременны.

От Вольтера. 1777.

Вчерашний день получил я один из залогов Вашего безсмертия, Уложение Ваших законов на Немецком языке, коим Ваше Императорское Величество изволили меня наградить... оно будет переведено и на Китайский и на все вообще языки. Оно сделается всемирным Евангелием.

...Я бы желал, чтобы назначили награждение тому, кто выдумает лучший и вернейший способ прогнать скорейшим образом всех Турок в ту землю, откуда они пришли. Но я все думаю, что сия тайна предоставлена первейшей из всего человеческого рода Особе, которая Екатериною Второю именуется. Повергаюсь к стопам Ея, крича при последнем моем издыхании: Алла, Алла! ЕКАТЕРИНА, резул Алла!

На сем завершается цитирование, взятое автором романа из издания «Переписки» 1803 года, подаренного Иваном Протасовым Балахнинскому соковаренному заводчику Ивану Тимофеевичу: «г-ну Самарину в день его Ангела 26 сентября 1834 года».

«Когда ты последний раз видел Вольтера?» спросил Лесков. После паузы Земсков промолвил: «За день до его кончины, в мае 1778 года. Мне было тогда, как и тебе, тридцать четыре, а ему восемьдесят четыре. Не знаю, как тебе, но мне иногда казалось, что эти полвека не значат ничего, а в другой раз я начинал задыхаться от ужаса перед сим мафусаиловым возрастом.

Я прискакал тогда на тройке в Ферне, как всегда с посланием Екатерины. Возок был завален подарками из мастерских и складов петербургского Двора. Должен сказать, что к моим услугам чаще всего обращались после неурядиц с регулярными «эстафетами». В ту весну как раз где-то в Вене запропастился курьер по имени Пушкин. В прошлые годы так же вызвали меня, когда на несколько недель запоздал поручик, князь Козловский, погибший потом в бою с турками. Видно, кто-то в почтовой экспеди-

ции догадывался, что я всегда спешу вернуться и предстать с ответным посланием в собственные руки перед Государыней. Да, ей было в том году сорок девять лет, но чувство мое не слабело.

В Ферне мне сказали, что мэтра здесь нет, поелику тот со своей новой пьесой «Ирэн» пребывает сейчас в процессе триумфального возвращения в Париж. Старик Лоншан к тому времени уже почил, младой же Ваньер был уже немолод и шибко серчал на мадам Дени: дескать, это по ея тщеславной воле Вольтер отправился в сей Вавилон, опасный для филозофа от аза до ижицы.

Я прискакал в Париж, но добраться до улицы Травестьер мне не удалось, поелику все близлежащие кварталы были запружены бесноватыми поклонниками Вольтера. «Вышел! Вышел!» вопили они. «Садится в карету! Ура Вольтеру! Слава великому человеку! Да здравствует свобода! Экразе Линфам!» В конце концов мне пришлось забраться на крышу возка, чтобы увидеть его с расстояния полугора сотен саженей. Он выглядывал из окна своей кареты, насильственно улыбался и был бледен до такой степени, что казалось, сейчас падет ниц. Мне захотелось, как тогда, в Копенгагене – помнишь? – разбросать толпу, броситься к нему и, как тогда, тем же макаром отвернуть от его сердца ту же самую обратную чернокровную жилу. Уверен, что сия процедура хотя бы на год продлила ему жизнь.

Увы, в тот вечер это было немыслимо. Толпа разорвала бы меня на куски. Я увидел, что вокруг кареты закрутилась какая-то буча. Толпа распрягала лошадей и сама впрягалась в постромки. Вокруг было море хохочущих морд и ревущих глоток. «Ура Вольтеру! Глуар а лилюстр! Вперед, братва! На штурм Бастилии!» Клянусь тебе, я слышал этот призыв за одиннадцать лет до того, как сей штурм случился.

Только ночью мне удалось проникнуть в тот дом, где уложили Вольтера в постель. Лестницы и залы были заполнены светской толпой. Я объяснил, что прискакал от Екатерины, и меня провели к мадам Дени. Она рыдала. Кровать Вольтера была окружена светилами медицины. Ты знаешь, сколько раз он умирал даже на наших глазах, но на сей раз я сразу понял, что это конец. Он был без сознания. Последнее его откровение, которое донеслось до меня, было не чем иным, как клокотом мокроты, скопившейся в его гортани. Именно тогда я подумал, что в отставке займусь исследованием жидкостей и слизей».

Николай, по всей видимости, был глубоко угнетен рассказом, словно впервые слышал о кончине Вольтера. Петиметровские его усики казались сейчас глупой наклейкой на лице, исполненном мрака. Михаил с тревогой и грустью взирал теперь на «братского друга», как будто только что заметил в нем какую-то иную суть, столь отличную от прежней лихости, перемешанной с плутовством.

«Ты первым, Миша, принес это горе Государыне?»

«Нет, она уже знала. Голуби принесли».

«Знаешь, Мишка, я был тогда в Севастополе, мы воздвигали бастионы. Я напился с горя и пьяный там ходил среди руин Херсонеса. Что теперь остается, думал я. Мир без Вольтера – полнейший вздор, сплошная облискурация. Зачем мы строим сей град, к чему воевать султана, весь этот музульманский мрак, ежели погас наш свет? Скажи мне, а что испытала Она? Ведь всю свою жизнь полагала себя «одной из них»...

«Коля, фемина сия отличалась практическим соображением. Конечно, была она готова к подобной вести: посмотри, много ли было вокруг персон, родившихся в веке семнадцатом? Но также она, владычица, понимала, что с уходом владыки уходит эпоха, а Вольтер был великим владыкой умов. Она рассуждала историческими понятиями. В то же время, ведомо мне по себе, все человеческие чувства были ей не вчуже. Думаю, что потерянность, каковую ты испытал в Херсонесе и каковая гналась за мной всю дорогу из Парижа домой, посетила и ее. Она подходила к окну и подолгу смотрела на поднимающуюся о ту пору Неву. Она ведь души не чаяла в

Вольтере, обожала, например, его витиеватые любезности. Однако ж и думала постоянно о разочарованиях просветительского века. В конце семидесятых разочарования сии постоянно терзали ея душу. В ту встречу на ужине, смешанном с завтраком, она мне сказала: «Ах, Миша, России еще целый век придется расхлебывать вольтерьянские вольности». Знаешь ли, она вообще была глубоко разочарованной личностью. Младые воспарения «Наказа» не воплотились в жизнь. Об отмене крепостного права не приходилось и мечтать. Утопия просвещенной монархии тонула в море жестокости. Исторические предчувствия терзали ее. Уже тогда она опасалась, что разрушение религии, учиненное энциклопедистами, приведет Францию к анархии и далее – к деспоту. Даже и нашу пугачевщину она связывала с поветрием безбожия».

Он замолчал и посмотрел на друга. Ему ведомо было, что тот принимал участие в подавлении пугачевщины, в частности, в боях за Казань, однако всякий раз, как речь заходила о тех кровавых делах, Николай начинал куда-то торопиться или уж в крайнем случае сбивался на известные анекдоты. Сейчас, когда речь зашла о глубоко запрятанных днях жизни, пришло время вспомнить всерьез что-то и из пугачевщины.

Он прикрыл глаза ладонью и так заговорил:

«Кто там, в той армии убийц, ведал об энциклопедистах? Если только не затесался там Видаль Карантце... Придется, Миша, мне все-таки рассказать тебе одну историю, что связывает воедино всю нашу семью. Я ее таил от всех, вот видишь, даже и от тебя. Когда мы второй раз отбили Казань, в тамошний кремль приволокли повязанную банду так называемых «придворных Его Величества». Их взяли пьяными в поместье Беклемишевых, где они развлекались стягиваньем кожи с плененной знати и офицеров гарнизона. По одному их приводили к генералу Михельсону на допрос, и тогда один, когда сабля была приставлена к его горлу, на ломаном русском показал на рыжебородого мазурика по имени, верь-не верь, фельдмаршал Барбаросса. Когда-то мне Фио поведала о сей возмутительной внешности: рыжая растительность, рваная ноздря и выступающие из-за верхней губы два клыка. Он стоял перед Михельсоном гордо, как будто равный по чести воин, а я взирал на него, не отрываясь, стараясь вспомнить, что все сие для меня означает. И вдруг озарило: Гданьск, подвал в «Золотом льве», Казак Эмиль, бой в Мекленбурге, попытка высадки банды на острове, и далее – нестерпимый рассказ Фио о Рыжей Бороде... Тогда я и взвыл, как темный дух мести: «А ты не забыл, вор, про замок Доттеринк-Моттеринк и про семью Грудерингов?!» И тут же он при всех членах военно-полевого суда бухнулся ниц без сознания.

Познав от меня про все те дела десятилетней давности, генерал Михельсон отдал мне злодея на мой собственный суд и правеж. Мы все тогда ходили хмельными от той чудовищной крови. Я кликнул драгунам, чтоб привязали гада к пушке, брюхом в жерло. Он что-то еще бормотал, изрыгал сквернословия, смешанные с молитвой, весь изливался жидкостями и слизью. Я поджег фитиль. Пушка, крепостная коронада, развалила его на две части. Так я стал палачом».

«Сие не казнь, брат мой, а расплата», пробормотал, весь дрожа, Михаил. «Не знаю, мог ли бы я сделать, как ты, но ты ж мой брат... и ты это сделал за нас!»

Опустошив наконец свой хрустальный сосуд, старики вышли из своего алькова, прошли через затихший дом, в коем из светильников осталась лишь луна, пересекли террасу и стали мимо прудов спускаться в парк по направлению к реке. Хор ликующих лягушек сопровождал их медлительное шествие. Иной раз и умудренное болотной борьбой за жизнь жабьё добавляло к сему хору свою хоть и не попадающую в тон, но весомую ноту.

«Как хорошо, Коля, что мы так душевно высказались друг перед другом напоследок», проговорил Земсков.

«Это еще что за шутки – напоследок?!» притворно возмутился Лесков.

«Ну как же, Коля, хочешь не хочешь, а дело идет к разлуке, а там и неведомо, встретимся ли в бестелесном, беззвучном и невидимом мире...»

Лесков перебил его с неожиданной живостью:

«Послушай, Миша, пока мы еще в этом мире, отчего бы не вспомнить, как в корпусе-то шалили, не забыл? Помнишь ли еще нашу забаву, что звалась «Гангут и Полтава»?

Экое щастие, вспомнил Земсков, экая блажь! В огромном дортуаре Подзорного дома, где почивала их третья рота, едва ль не каждую неделю по ночам разыгрывался артиллерийский бой, «Гангут» дрался с «Полтавою». Сурьезнейшая подготовка предшествовала сражению: бросали разного рода жребии, ну и, вестимо, набивали себе пузы моченым горохом. Смешное заключалось в том, что дрались не «русские» со «шведами», а две великия российские виктории друг с дружкой. Плентоплевательство брало верх над патриотизмом.

«Пока мы еще в звуковом мире», хохотнул Николя, «не оскорбишься ли ты припасенной тебе мною на сон грядущий канонадою?» Он прислонился к дереву и поднял правую ногу. Мишель принял вызов.

«Начинаем по команде! Огонь!»

Канонады удались на славу. От смеха старики едва не свалились в мокрые папоротники. Дальше, полвека спустя, дальше пошли, уже отбиваясь отдельными выстрелами, исполненные решимости не сдаваться, вооруженные старческой перистальтикой и мальчишеским азартом. Так и пересекли парк. Возле реки и расстались, не зная еще, что перед ними Стикс. Лесков пошел назад, в свой богатый дом. Земсков, не дожидаясь Харона, побрел по колено в воде к своему берегу, над коим, словно неподвижная картина, стояли без единого огонька, но щедро залитые луною добротные постройки его имения.

В прибрежных камышах с какой-то стати замелькали перед Земсковым некие неведомые, но отчего-то имеющие к нему близкое отношение, рожицы и фигурки. Затрепетали даже их странные имена. Не будучи в течение жизни своей ни в малой мере стихотворцем, он вдруг почувствовал, что слагает строки с рифмованными кончиками; невнятно, на каком из своих языков. Сделаем же попытку передать в словах сию шаловливую, хоть немного и печальную галлюцинацию:

Бродил не раз я в здешних плавнях,
Таща тяжелое ружье,
Но вот впервые в послеглавии
Тебя узрел я, Энфузьё.

Как мимолетности блажные
Вдруг в текстах возникают встык,
Так в наши области ржаные
Вдруг проникает Суффикс Встрк.

И, чу, танцует балаганчик:
Кружат меж слов без панталон
Чва-Но, надменный богдыханчик
И плутоватый Гуттален.

А мусульманин Эль-Фуэтл
Поет, как сорок соловьев,
И на отменнейшей из метел
К нему летит Мадам Флёфьё.

Чертовский рой, кружа меж строчек,
Пошто смущаешь старый слог,
Тревожишь сон рязанской ночи
И нарушаешь эпилог?

Кто все это придумал мудро?
Ответьте, прошлым вас молю!
Блеснет ли свет, придет ли утро?
Мелькнет ли Ангелок Алю?

Уже перейдя реку, он вспомнил, что этой ночью у него назначено свидание с солдаткой Маланьей. Брат Коля, подшучивая утром по поводу незаконнорожденного потомства брата Миши, был недалек от истины. Все село, примыкающее к поместью, знало, что год за годом бойкие девки, а то и иные молодые бабы, навещают барина по ночам в его «павильоне». Зажиточные мужики сего села любили деньги, прекрасно ведали, что женщины выходят из «павильона» с добрым прибытком серебра, а посему не видели в сих свиданках с жадным до телесных утех и щедрым на серебро генералом ничего зазорного. К потомству же барскому относились, как к чему-то вроде улучшения породы, как будто начитались «Земных и внеземных шествий Ксенофонта Василиска», своего знаменитого и ныне испарившегося то ли в азиатчине, то ли в каком внеземном богатырстве земляка-ходока Афсиомского, графа Рязанского.

Вот уже года два, как фавориткой старого генерала-врачевателя стала Маланья, младая краля с налитыми, что груши «душес», то есть не истерзанными еще сосками, с толстенной, как свежевыпеченная булка хлеба, косою. Мужа ее кузнеца Кузьму по разнарядке отправили на царскую службу, и молодуха взвыла от недодоенности. Могла бы, как в тех краях говорили, «по жизни пойтить», иначе – вся потратиться, естьли б не встретилась с добрым в своей неотразимости барином Михаилом Теофиловичем, что старше ее был всего лишь на сорок пять годков.

Перед каждой встречей она намывалась душистым мылом из его подарков, а юбок на голую задницу надевала цельных три из крахмального полотна. Все одно от нее попахивало скотным двором, но она знала, что к коровьему пару он терпим, а вот курей на дух не выносит. Он по ночам засиживался со своими медицинскими открытиями, а когда все семейство его погружалось в сон, шел в «павильон», где уже Маланья ждала его, стоя у стены. Он начинал вроде бы гнать ее, а она вроде бы убегала, убегала, убегала, пока он не настигал, не вздымал все имущество вверх и не удостаивал ее, простую пастушку, императорских почестей.

Так было и на сей раз. Внедрившись, он качал и качал, а она только зажимала себе рот ладонью, чтоб отчаянным визгом не обидеть матушку-барыню. Он залезал ей за пазуху и ласкал герцогинские грушки, и тогда она чуть слышно шептала «ой, батюшка-барин, ой, Михайла Тофилыч». Через двор, на французский манер вымощенный аккуратненьким булыжничком, из своей темной спальни смотрела на темные окна «павильона» Клавдия (а может быть, и Фекла) Магнусовна Земскова, урожденная курфюрстина Грудеринг. Все ей было ведомо в Мишином обиходе, и все она терпела в нем, потому что беззаветно и выспренно его любила. Знала она, что все эти как бы тайные утехи приносят ему не только телесную усладу, но и духовное страдание, колико никого он так никогда не любил, как ее, свою маленькую несчастную.

С тем же обреченным молчанием созерцала она в ту ночь, как, прячась от луны в тени строений, подбирается к «павильону» массивная фигура с ломом в руке. Будучи сведуща в сельских делах, она ведала, что третьего дня муж Маланьи Кузьма вернулся из Польши, где наградили его деревянной ногою. Не знала она, что безобразная деревяга стирает телесный обрубок Кузьмы в кровавые мозоли и делает жизнь его до яростной злобы невыносимой. Лишь раз промелькнула пред ней в лунном луче искаженная физиогномия страдальца, и она вдруг ощутила пронзительную с ним общность муки.

Всякий раз она примерно знала, когда свидание любовников закончится, и в этот раз не ошиблась. Первой обычно выскальзывала Маланья и убегала с усадьбы. Потом выходил Михаил Теофилович. Всякий раз изоб-

ражал некую чудаковатость: то на звезды засмотрится, то рассыпет охапку книг, начинает собирать в темноте. Так вышло и на сей раз. Маланья промелькнула мимо мужа, того не заметив. Миша вышел и сел на крыльце. Снял паричок генеральский, положил рядом, потом стал оглаживать лысеющий череп, будто готовя его для желанного огреха по голове. Скрипнула нога у него за спиной. Можно было ещé убежать. Да просто встать и отойти в сторону. Полуобернувшись, он с улыбкой созерцал приближающуюся темную фигуру. Поблескивали под луною вставные фарфоровые зубы саксонской работы. Лом подъялся. Клодимоя под ночной рубашкой сжала то, что осталось от титек. Лом рухнул на голову Мишимоя. Се фини; не торопясь, она вылила себе на язык то, что всю жизнь от него прятала.

Умирая, он еще понимал на манер живых, что жена умирает рядом, но, сколько длилось это понимание, он уже не понимал, как и не понимал, длится ли оно вообще. Потом откуда-то была вложена мысль, или, вернее, не мысль, а что-то другое, ну, скажем, идея, что придется еще через многое пройти, прежде чем возникнет иное понимание, то есть непонимание понимания как понимания непонимания. Значит, остается еще какое-то движение сродни плаванью, но плывешь не водой, летишь не по воздуху. Так уже было однажды в детстве, когда утонул в омуте возле запруды. Тело дергалось множество раз, как и сейчас оно, бедное, видно, дергается. Он умолял маман его спасти, но называл ее по отчеству Колерией Никифоровной. Так и сейчас вроде бы взывал: Ко-ле-рия Ники-фо-ровна! И вдруг закончились все судороги, и он поплыл, но не в воде или полетел, но не в воздухе. Сказывают, что ребенка-утопленника вытащил мужик, похоже, что двоюродный дед ныне убивающего Кузьмы.

Это псевдодвижение привело Мишу в некое необозримое пространство, заполненное такими же, как он, то есть усопшими. Они сидели, стояли, лежали, то отдельно, то кучами друг на друге, иные висели над другими: притяжение отсутствовало. Не видно было ни одежды, ни голой плоти, ни возрастных, ни половых признаков, однако присутствие несметного числа народу пронзительно ощущалось. Он задал сам себе вопрос, здесь ли находится умершая сразу вслед за ним жена, и тут же получил ответ: да, она здесь.

Тут он заметил, что никто из присугствующих не испытывает от своих странных позиций никаких неудобств. Он сам свисал в какой-то связке, но не ощущал никакого неравенства по отношению к тем, кто вроде бы раскинулся с вольготностью. Он снова задал себе вопрос: возможно ли в этом ландшафте бывших людей присутствие Императрицы? И тут же получил ответ: конечно, возможно. Он вопросил: почему мы собраны здесь в необозримых сонмах? Мгновенно прибыл не очень ясный ответ: накопитель. Он стал вглядываться в иные сути, как близкие к нему, так и непомерно удаленные, и понял, что каждая суть задает вопросы и тут же получает ответы. Он вопросил: смогу ли я общаться с тем, кто ушел из тварного мира до меня? И тут вместо ответа он получил вопрос: с кем ты хочешь общаться прежде других? И он ответил: с Вольтером.

Иди, сказали ему, и он пошел. Теперь он вроде бы переступал ногами и шел как будто по твердой земле. Долетал до лица великолепный ветер. В мышца́х – впрочем, невидимых – играло ощущение молодой зрелости, то есть того, что прежде именовалось «вершина жизни». Вокруг простирался знакомый пейзаж земных красот. Что-то похожее на Ван-Гога. Что такое Ван-Гог? Это то, что жило много лет после него. То, что создано как картина, приходит в движение. Ради чего? Ради встреч. Посредине сего места встреч шумел ветвями Вольтер.

«Привет, привет», напевал он. «Вот и вы наконец!»

Он остановился. «Почему во множественном числе?» «Об этом позже, пока что, Миша, подходи поближе, но не сливайся со мною!»

Вольтер одновременно зеленел свежими побегами, расцветал божественными цветами, отягощался плодами, опадал ими и подсыхал, источая амброзию и яд анчарный.

Миша приблизился, вступил под сень того, о чем даже и не мечтал, заплясал в экстазе, малые духи, лягушечки и черепашки, выпархивали из-под копыт. «Как я рад, мой мэтр, увидеть вас в образе Древа Познания! Ведь к этому, как понимаю, вы стремились всю жизнь? Можете ли вы мне сказать, где мы находимся?»

«Это Элизиум, то есть то, о чем мы с друзьями судили с сарказмом. Кто мог предвидеть всерьез Утешение в мире матерьялизма? В том мире, где все подчинялось правилам гравитации?» Он иронически вздул свою крону, и в этом кипении промелькнули иные из его ликов: задумчивый, гневный, хохочущий и вдохновенный.

«А как тут вообще-то обстоит дело с теми телами небесными?» поинтересовался новичок. «Присутствуют ли все те планеты, кометы, звезды, галактики, перед загадкой коих, мой мэтр, мы так замирали?»

«Ну, конечно, они присутствуют, мой шевалье», ответствовал мэтр. «Но в то же время, вернее, в отсутствие времени, они не присутствуют вовсе. Ты помнишь, мой друг, как ошеломляли нас межзвездные расстояния? Они были так велики, что оставались лишь в математике. Сознание человека не могло их вместить в том, что называлось реальностью, и возникала на миг вспышечка не-присутствия. Для простоты скажу, что ты сейчас проходишь мимо них, или через них, в зазвездность и вновь встретишь их, только если придется возвращаться».

«Боже упаси!» воскликнул Миша, как зрелый ребенок.

«Мне нравится этот возглас», сказал Вольтер и чем-то, вроде бы пальцами, взъерошил Мишину гриву. «Кто знает, а может быть, паки явишься туда, но не в Рязань, а в Тулу, чтоб музицировать трио с двумя соловьями. Теперь расскажи мне, друг, где ты сложил свою голову, в каком побоище?»

«Точно не помню», Миша ответил, «но, кажется, в битве духа и плоти. Плоть победила, но тут же погибла по правилам гравитации».

«Как все это далеко», вздохнул Вольтер всем хлорофиллом своей флоры. «Послушай, не вернуться ли нам к нашим философским дебатам хотя бы отчасти?» Тут на одной из его ветвей возник прежний Вольтер, как был, в хорошо завитом парике, в кафтанчике а ля Версаль времен Регентства; сидел непринужденно, свесив ноги в шелковых чулках и туфлях с большими каблуками и пряжками. Миша был, с одной стороны, вельми рад увидеть привычный образ, даже хвостом замахал от мгновенного щастья, с другой стороны огорчился, что мэтр покинул столь пышный опус Древа Познания. «Нет-нет, не печалься, мон шевалье», утешил его Вольтер. «Я по-прежнему весь перед вами, а то, что вы видите над собою, это всего лишь то, что в будущем называлось «версьён-вэ-вэ»; оно было послано для удобства беседы. Теперь и ты оставляешь образ своей беззаветной любви пастись чуть-чуть в стороне и располагаешься рядом с моим стволом в знакомом мне образе екатерининского офицера. Скажи, много ли ты думал о философии нашего времени после моей смерти?»

М и ш а. О да! Главное, к чему я пришел во вторую половину жизни, это то, что права только ошибка. Вот вы, мой мэтр, полагали, что можно одним умом преодолеть все традиции и все мифы. Вы ошибались, но ошибка сия была нужна нашей безумной расе. Однако какой ценой?

В о л ь т е р. За все приходится платить, но человек не может развиваться без переоценки традиций.

М и ш а. Из поколения в поколение человек пытается оградить себя от дерзновенных ошибок.

В о л ь т е р. Однако разум – это не ошибка, это благородный дар Божий.

М и ш а. Однако разум должен быть слугой любви, но не гордыни, то есть не права на ошибку.

В о л ь т е р. Подчинение разума чувству разрушит мир быстрее, чем подчинение чувства разуму. Согласен?

М и ш а. В мире живых считается, что нет ничего быстрее мысли. Однако и мысль не улавливает некоторых чувств; скажем, сострадания.

В о л ь т е р. Весьма часто мы мыслим, но не улавливаем процесса мышления.

М и ш а. Сострадание – не мысль и не инстинкт.

В о л ь т е р. Согласен.

М и ш а. Тогда признайтесь, что, когда человек смотрит внутрь себя, он ощущает свою суть совсем не как материю, к которой энциклопедисты старались все свести. Взгляд внутрь – это вообще-то свобода воли, вам не кажется?

В о л ь т е р. Свобода воли должна оставаться в пределах логики и детерминизма; иначе она улетучится.

М и ш а. Я так и не пришел в церковь, но я считаю, что каждый человек – это душа. Согласившись с этим, мы все-таки должны усомниться в атеизме и придти к религии. К концу жизни я стал человеком науки, я стал проникать во многие тайны организма, однако я считаю абсурдом предполагать, что музыка Баха или Генри Парселла уже детерминирована первичной туманностью химических элементов.

В о л ь т е р. Гораздо больше абсурда заложено в мифах религии. Все эти асбестовые несжигаемые святые, апостол, шествующий со свой отрубленной головой в руках, возносящаяся в небеса дева Мария... Ах, я этого не перевариваю!

М и ш а. У вас всегда был слабый желудок, мэтр. Помните Мекленбург?

В о л ь т е р. Помню, помню. Однако тогда я немного притворялся. Сотни раз в жизни я немного хитрил и с Богом, и со своим организмом, придумывая, как улизнуть от смерти. Иногда мне кажется, что вера возобновляется не мифами, а поощрением плодовитости. Уровень рождаемости, может, был главным врагом философии в наши времена. Мы рождаемся на дне и умираем на вершине. Плодовитость побеждает интеллект.

М и ш а. Мне кажется, что в будущем интеллигенты по всему миру возвращались к религии; это верно?

В о л ь т е р. Вы только что прибыли, а уже неплохо информированы. Да, это верно. Они просто устали думать.

М и ш а. А мне кажется, они обнаружили, что у атеизма нет никакого ответа, кроме невежества и отчаяния. Человек оказывается в узкой полоске света меж двух бесконечных бездн. Рационалистическая этика провалилась. Вы всегда яростно выступали против концепции первородного греха, однако никогда не полагали ее глубокой метафорой инстинктов жизни. По сути дела, мы, в том числе заведомые вольтерьянцы и вольтерьянки, можем придти к идее того, что религиозная вера – это самое драгоценное достояние человека, только она одна, противостоя гниению и тлену, может поддержать и облагородить наше существование.

В о л ь т е р. Так что Моисей не придумал те беседы с Богом?

М и ш а. Простите, мон мэтр, но меня удивляет этот незрелый сарказм. Неужели вам все еще кажется, что интеллигенция может обойтись без религии?

В о л ь т е р. Во всяком случае, ее философская часть.

М и ш а. Это наивно. Интеллигент без религии может разнести общество на куски. Религия не должна быть догмой, поскольку она не является панацеей от всех бед, однако без нее жизнь человека может в конце концов стать невыносимой.

В о л ь т е р. Ты забываешь, шевалье, о чудовищной доктрине Ада, которая превращает Бога в более ужасного душегуба, чем любой деспот.

М и ш а. Я не знаю, ближе или дальше я стал к этой доктрине после кончины. Прошлое почему-то отодвинулось в невероятное далеко. Однако я могу предположить, что богобоязнь может стать началом мудрости.

В о л ь т е р. Так говорили католические иерархи и, в частности, Папа Бенедикт. Однако, насколько я помню, ты не очень-то был близок к католическому ригоризму.

М и ш а. Моя жизнь – это сплошной грех. Достаточно сказать, что я прошел через множество войн, а ведь любая война, пусть самая справедливая, – это открытое злодеяние. К сему нельзя не прибавить многочисленных женщин. Не устоял ни перед одним соблазном.

В о л ь т е р. Включая и Екатерину, не так ли? *(Он показал лорнетом на склон холма, на котором, очевидно, только что убрали урожай. Одна скирда отличалась от других тем, что в ней воплощалась Императрица России.)* Ты видишь ее?

М и ш а. Да, я вижу ее.

Е к а т е р и н а *(как далекое эхо).* Я простая душа, простая скирда, простая душистая скирда – это я.

М и ш а. Я пойму, если мне предстоит предстать в Аду за войну, но за телесный соблазн – нет, не пойму. Все-таки я женщинам дал больше щастья, чем горя. А горе я принес как раз той, кого любил небесной любовью. Ну и вы, Вольтер, разве не принесли вы щастья тщеславнице Эмили дю Шатле, да и своей неряшливой племяннице, мадам Дени?

В о л ь т е р. Ты чувствуешь, что наши позиции сближаются, шевалье? Церковь требует моногамии, но вы как вольтерьянец, похоже, понимаете, что это неестественно, как и селибат. Однако все эти муки Ада, коими нам грозят... Вспомните у Данте – какие изощренные пытки! Кто это ему внушил: Виргилий или чумной микроб?

М и ш а. Вся первая часть у Данте – это мучения плоти. Мне иногда приходило в голову, что Ад – это когда душа умершего не может освободиться от останков. Все то, что вы подвергаете сомнению как «мифы церкви», Вольтер, подлежит толкованию, осмыслению, переосмыслению, подлежит смерти наконец, но не зубастой насмешке.

В о л ь т е р. Ну вот, параллельные линии опять разошлись! Знаешь, солдат, я старался поверить в Бога, однако Он ничего не значил в моей жизни. Признаюсь, я чувствовал пустоту там, где когда-то жила моя детская вера. Быть может, когда-нибудь по завершении истории возникнут иные люди, веселые в своей свободе и не затуманенные страхом Ада.

М и ш а. Кажется, мы опять сближаемся. Мне кажется, что для верующих смерть – это не бессмысленное похабство, а прелюдия новой жизни, в которой они смогут быть в счастье и мире с теми, кого они любили и потеряли. Мне хочется верить, что там я встречусь с образом, воплощенным в двух близнецах, Клоди и Фио, и в матери-грешнице Колерии Никифоровне, а также в Екатерине и в Маланье. Христианство грандиозно тем, что во главе угла его стоит идея Воскрешения во плоти. Материалистам сие кажется немыслимым, однако Идеал безбрежен. Быть может, после всего возникнет мир общности Бытия и Идеала, видимого и невидимого, в коем растворится порочный круг самопожирания.

В о л ь т е р. Какая благостная утопия! Я чувствую, что остаюсь в одиночестве. Так и в жизни я оставался без иллюзий, почти не помнил свою мать, редко видел отца; детей, во всяком случае, мне известных, у меня не было. Может быть, потому меня и тянуло к моей маленькой племяннице. Я приобрел огромное число учеников, но в будущем, как я вижу, они стали меня покидать. Я знал теологов, а среди них были не дураки, и они мне говорили, что я незавершенный человек, потому и философия моя не завершена. Иной раз мне кажется, что я вообще не был философом, но только поэтом. Один неглупый теолог, он был тогда Папой Римским, сказал мне, что будущие поколения меня отвергли. Он называл мои шутки о Святой Троице ничтожными.

М и ш а. Ну теперь-то вы видите, что можно предстать единым во многих лицах, не так ли, мэтр?

В о л ь т е р. Если бы ты прочел все мои девяносто девять томов, ты бы заметил, что я признаю умиротворяющие мифы. В конце концов это не что иное, как замечательное искусство. Церковь интерпретирует их на свой лад для утверждения своей непогрешимости и власти над людьми. Ах, Мишель, разве мы можем забыть двери инквизиции, злодеяния крестоносцев, заговор против альбигойцев, тех наших драгун семнадцатого века, что убивали во имя отмены милосердия? Христиане убили больше людей, чем римские императоры, несмотря на проповедь Всепрощенья. Меня обвиняли, что я внушил людям порочную утопию о рае на земле, а люди истребили своих властителей и превратили свободу в смирительную рубашку. Но я никогда не призывал к насилию! Меня извратили жрецы революции! Пусть Господь меня простит за утверждение прав мыслящего меньшинства, за попытку борьбы против ортодоксии и нетерпимости!

М и ш а. Прощенье – это слово для всех.

Встреча подойдет к концу. С ветви величественного баобаба скользя исчезнет фигура прежнего Вольтера. Зашумела и шумит благодатная крона. На пригорке скирда Екатерины рассыпается в колосящееся поле. Оно запоет, как пело полотно Ван-Гога. Оно раскатами юного грома напоминает о Балтике. Миша отойдет и сольется с образом Пуркуа-Па. Конь совершает круги вокруг того, что именуется Древом Познания. Он убежал от войны. Играя копытами, наслаждаясь свободою тела, он понимал, понимает, поймет, что Древо Познания превратится, превращается, превратилось и еще раз превратилось, и превратится, и превращается – в Древо Воображения.

●

Ирина БАРМЕТОВА

Облискурация Аксенова

Не ищите это слово в словарях – его там нет, как и слова «плентоплевательство». Их придумал Василий Аксенов для своего нового романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки», полагаю, сидя в саду своего дома. Роман писался три года, почти столько же Аксенов живет во Франции, на берегу Атлантического океана. Ранее обитал на другом берегу того же океана. В Биаррице – удивительном городе – до сих пор живут потомки Оболенских, Рябушинских, в русской церкви настоятель отец Георгий – китаец, в совершенстве говорящий по-русски... Тут жили Чехов, Набоков... Но привела Аксенова сюда случайность. Путешествовал на машине по югу Франции и без особой цели заехал в Биарриц. Почувствовал особый дух города и тогда отвлеченно подумал, что хорошо бы здесь поселиться. В другой раз, первого января 2000 года, поезд привез Аксенова в ночной Биарриц. Город был пуст, светились лишь витрины. За стеклом одного агентства недвижимости висела фотография дома... А когда утром приехал смотреть его и увидел сад, мгновенно решил: «Все, буду здесь жить!» Может быть, этот сад пленил воспоминанием о другом, где стояла бронзовая статуя «Пушкин в возрасте Державина» – «ПввД», которую некий художник привез в дар Вашингтону: «Как сейчас вижу наши шумные завтраки. Народ спускается на кухню, расползается по комнатам и лестницам, иные с тарелками и кружками кофе выходят в сад, усаживаются вокруг Пушкина (скульптуру город не принял, она и по сей день стоит у меня в саду), все галдят о России,.. а я спускаюсь к ним, как благодетельный сюзерен, и стараюсь не обращать на себя внимание».

Живость повествования, обилие комических ситуаций, гротесковых образов, нагромождение невероятных событий, фантастических приключений, претендующих тем не менее на достоверное отображение реалии тех дней – все это присуще новому произведению Аксенова. Как говорил тот же Пушкин: «Улыбка, взоры, нежный тон Красноречивей, чем Вольтеры, Нам проповедуют закон И Аристипов, и Глицеры». А еще автор виртуозно растворил в своем тексте цитаты, размышления, письма, суждения философа и Северной Семирамиды так, что поиски, кто что сказал и кто что придумал, станут делом увлекательным.

Василий АКСЕНОВ. Несколько лет назад я читал книгу о переписке Вольтера и Екатерины Второй, там много было цитат из писем, которые звучали своеобразным диалогом очень близких людей, чуть ли не влюбленных, даже с некоторыми моментами ревности. И я подумал: сочинить бы в английском жанре true stories which newer happened – правдивые истории, которых не было, – такую как бы анекдотическую историю с ощущением правдоподобия, наполнив ее множеством достоверных деталей, не очень серьезную, как часто у меня бывает в начале, а потом углубить... Особенно меня пленяла идея встречи Вольтера и Екатерины. В реальности они не встречались, во всяком случае, мы не знаем об этом, а здесь императрица назначила бы философу свидание где-то в Европе и на свидание выехала на стопушечном корабле... И так, между делом, начал

заполнять альбом, толстый такой, различными сведениями об эпохе, деталями, именами, убранствами мундира Семеновского или Преображенского полков, выражениями, какими-то эпиграммами. Заполнил один, потом второй альбом: то так напишу, то поперек страницы, то косо, – в общем, набралась куча всего. Прочитал дневники Екатерины, которые, к сожалению, так быстро обрываются, серьезный фундаментальный труд супругов Дюранов – «Век Вольтера», без него я бы вообще не написал романа. Какие-то стишки вольтеровские переводил... Все это накапливалось, накапливалось – вдруг появлялся кусок прозы, например, выход линейного корабля в море... Потом перескакивал к другому. Пока не почувствовал: можно начинать последовательное повествование. Сначала возник зрительный образ – двое юношей в треуголках, натянутых на брови, мчатся по обледеневший дороге – тата-тата-тата, – они уже слились с конями, разбивают лужи замерзшие, закат над северной Европой, на закате – тонкий месяц, все это такие видения Европы, и они скачут, скачут... Потом появились, как ни странно, клички лошадей – Тпру и Ну, потом иностранные – Антр-Ну, Пуркуа-Па – значит – они с фальшивыми французскими документами. И так вот два мальчишки стали секретными агентами ...

Ирина БАРМЕТОВА. *Это похоже на игру в роман.*

– Вот именно – просто повествование, сочинительство. Никаких заранее приготовленных идей, планов, интересовало лишь, что получится с этим материалом в результате моей конструктивной такой деятельности. И это был главный кайф работы. Я не знал, что будет на следующей или через десять страниц.

– В результате этой деятельности получился старинный роман, по авторскому определению. Одним из героев которого, причем полноправным, является язык повествования. Он с самого начала властно заявляет о себе, удивляет и притягивает. В нем – сочетание в стиле рококо архаики с языком допушкинской поры, щедро сдобренным калькированными французскими оборотами и словами... Коктейль, из которого, может быть, и вырос современный русский язык?

– Да, самым страшным для меня было – найти язык. Иногда я был на грани того, чтобы бросить все это. Потом все-таки удалось поймать интонацию, в которой можно было использовать архаику и в то же время наш день туда встроить.

– Язык, как и полагается герою, в течение всего романа меняется.

– Потому что по сюжету прошло сорок с лишним лет, и язык начала девятнадцатого века уже другой. А потом, в романе много о Вольтере, и надо было учесть его манеру речи. В сравнении с современным французским он говорил очень витиевато, с невероятными любезностями и преувеличениями. Примерно так, как сейчас французы завершают свои письма: «Примите мои уверения в совершеннейшем почтении»...

– Да, все эти гламурные штучки.

– Эти гламурные штучки у него естественны, когда он обращается к Екатерине: «льщу себя мыслью», «ласкаюсь увидеть вас», «повергаюсь к ножкам невиданной красоты», «ваши ручки известны всей Европе» и так далее и тому подобное.

– Приведенные в романе вольтеровские письма по тональности для современного читателя приторно льстивы. Но Вольтер не был льстецом?

– Вольтер льстецом был. Невероятным льстецом. И в романе я не преувеличиваю, а лишь привожу оригинальные тексты, над которыми трудились переводчики императорского двора.

– Может быть, это такая дипломатическая хитрость Вольтера?

– То ли это хитрость, то ли естество... По-моему, все же это было его естество.

– Как же лесть могла сочетаться с иронией, вольнодумством, сарказмом Вольтера?

– В этом-то и сложность его личности. А еще, надо вам сказать, Вольтер, если выражаться современным языком, был немыслимым пиарщиком. Он обладал грандиозными связями в аристократическом мире и уж никак не упускал возможности умело пользоваться ими.

– Вы хотите сказать, что философ знал толк в бизнесе?

– Еще как! В определенный момент своей жизни он понял, что должен стать богачом. Премьера «Семирамиды» принесла четыре тысячи ливров – серьезные деньги по тем временам, и он сразу отдал деньги в рост. Через «нужных» людей доставал подряды для армии, поставлял в армию сукно, провиант, что-то еще и колоссально разбогател. И все это сочеталось в нем с искренним огромным вниманием к униженным и оскорбленным, с борьбой против лицемерия... Ecrasez l'infame.

– «Раздавить гадину» – так у нас переводили это вольтеровское выражение, мне понятнее все же «Раздавить лицемерие».

– «Раздавить лицемерие» – намного шире, потому что направлено было не только против церковников, религиозного фанатизма, но и против сословий...

– Однако Вольтер родился в зажиточной буржуазной семье.

– Вольтер был сыном нотариуса – в те времена очень средний класс, вначале Вольтера не жаловали в высшем свете. Помните случай, когда в ложе театра на пренебрежительный вопрос одного аристократа, как там вас называть: Аруэ, что ли, или Вольтер? – Вольтер ответил: мое имя начнется со мной, а ваше засохнет с вами.

Во Франции тогда было принято, чтобы поэта приглашала к себе на проживание какая-нибудь покровительница-аристократка. Когда Вольтер находился при «дворе» маркизы дю Шатле, внешне казалось, что она его содержит. Но на самом деле ее муж, маркиз дю Шатле отдал им развалившийся замок в Сирэ (Шампань), который Вольтер отремонтировал, обставил и жил в нем на свои деньги. Маркиза была мотовка, он покупал ей платья, платил ее бесконечные карточные долги и прочее и прочее, обожал ее.

Гиперссылка

«Кое-кто из старых недотрог нападает на нее, но она одна делает больше добра, чем они вместе взятые. Она не допустит ни малейшей несправедливости даже ради большой выгоды; она дает своему любовнику лишь великодушные советы; она заботится только об его добром имени, ибо ничто так не подвигает на благие дела, как любовница, которая является свидетельницей и судьей твоих поступков и уважение коей ты хочешь заслужить».

Вольтер. Мир, каков он есть

Счастливейшие годы пребывания в замке сильно пошатнули его состояние.

– Вольтер у нас порядком подзабыт, на нем незаслуженно лежит печать чего-то скучно-занудного, хотя философствовал он как бы мимоходом, шутейно, чем и восхищался Пушкин.

– У меня такое ощущение, что он и сам говорит: «Я не настоящий философ». Он им и не был. Монтескье, Дидро – философы. Д'Аламбер – человек колоссального интеллекта. А Вольтер немножко поверхностный такой... Но он был демиургом. Мне захотелось, что называется, освежить представление о нем. Сказать, какой он был неотразимый человек огромной созидательной силы. Ему никто не мог отказать, все аристократы бросались ему служить, народ распрягал его экипаж и тащил на себе карету – так все безумно его любили. Откуда бы это все взялось, если бы он был скучным? И поэтому у меня он вспоминает свои любовные дела, и своих друзей, и мадемуазель Лепинас, и Эмили дю Шатле. Кстати, Эмили была далека от идеала красоты того времени и считалась в ту пору уродиной. Так вот, я написал эпизод, как дю Шатле входила в блистательном макияже, в бриллиантах и в шуршащих юбках, которые так резко отбрасывали ее ноги. Вольтеру казалось, что она шла по какому-то помосту, то есть дефиле. Это – современная красавица высокого роста с длинными ногами.

– Не только эта красавица подиума кажется нашей современницей – 70-летний Вольтер у вас предстает не стариком восемнадцатого века, а личностью с феерической харизмой. В принципе, если какому-то политику или писателю сейчас создавать имидж, то следовало бы многое позаимствовать у Вольтера.

– Да, это модель в какой-то степени. Нам не хватает такого, как Вольтер. Не вождя, который поведет за собой армии, а вот духовного лидера, который сдержит и революции своим обаянием, и будет чувствовать социальную справедливость, и будет просвещенным, элегантным человеком с большим чувством юмора. Эпатажным, да, забавным, то есть смешным, как Вольтер, который ходил на своих каблучках. Но, увы, нет даже намека на такого человека в нашем обществе. Александр Исаевич хотел, конечно, стать властителем дум, но вообще время властителей дум прошло, литература сейчас не может состоять из властителей дум, это совсем другое...

– Но Вольтер не был литератором в чистом виде...

– Не был, скажем, романистом. Он написал один роман, вся остальная проза – это «parables», то есть притчи. Либеральные притчи с намеками, с массой подтекстов, контекстов именно политического, вольнодумного характера, страстные трактаты о толерантности, написанные всегда легким, общепринятым языком.

– Действие романа происходит в 1764 году, когда Екатерина только-только взошла на престол и решалась дальнейшая судьба России. Вольтер видел в Екатерине молодого монарха, в котором можно развить республиканский дух, привить либеральные идеи для создания гармонического общества. Сейчас в который раз (!) решается судьба страны и судьба либеральных идей.

– Поразительно, но та ситуация совпадает с сегодняшним днем, с нынешними разговорами о создании либеральной империи. Во Франции «философы» разрушали религию и в то же время боялись революции. Надо сказать, они никогда не думали, что победят: в 60-е годы они просто обалдели, когда вдруг увидели, как широко распространился нигилизм. Кста-

ти, хочу заметить, как меняются понятия. На Западе вольнодумец – это всегда атеист, при советской власти вольнодумец – это верующий. Так же нигилизм. Нигилистом в Европе был человек, отрицающий материю, но стоящий на стороне идеального понимания жизни А у нас в 60-е годы девятнадцатого века нигилист – это Базаров, который стоит только на стороне материи, – полностью противоположное понимание. Конечно, Вольтер и Дидро надеялись на либеральную империю. Они видели в Екатерине идеал правительницы. И потом она была прежде всего женщиной, двухсотпроцентной женщиной, и это как-то влияло на все. Если вы заметили, в романе к ней ластятся животные: коты, собаки, птицы... И так было в действительности, меня просто это поразило: лошади ее обожали, не говоря уже о мужчинах, – мужчины ее очень любили. Это был не просто разврат. Всякий раз она по-настоящему влюблялась, императрица могла босиком пробежать по всем анфиладам дворца к любимому... Такой вот тип правительницы. В общем-то, России безумно повезло: семьдесят пять лет из ста в восемнадцатом веке правили женщины. После чудовищного мужского хамства и кровопролитий, беспрерывных войн появились такие, пусть несовершенные, и Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна, и, наконец Екатерина – это уже следующий этап.

– Если Елизавета Петровна пригласила в Россию Растрелли, то о Вольтере не желала и слышать...

– Елизавета была менее образованной, более импульсивной. Она не обладала аналитическим умом. Хотя тоже была женственна, скажем, велела отменить смертную казнь, пытки еще оставались. Екатерина всегда была против пыток. Когда честолюбивый офицеришка Мирович, пытавшийся вызволить Иоанна – узника Шлиссельбургской крепости, оказался в руках правосудия, должно было неминуемо пройти дознание. Встал вопрос: применять ли пытки? Вот это и вызвало страшную внутреннюю борьбу Екатерины. Панин ждал, что Екатерина скажет: никаких пыток! А она говорит: это целиком оставляю на решение Сената. Аристократы были шокированы, считали это позором. Противоречие это терзало ее в течение всей жизни: запросы либеральной души и требования империи.

– Зло в романе предстает всяческой чертовщиной – то птицей пролетает, то кошечкой-мышечкой пробегает, то существами бестелесными шуршит... И это вначале даже забавляет и не кажется столь угрожающим и разрушительным для героев. Перекликается ли ваше представление с Вольтером, который в «Кандиде» не оставляет никаких иллюзий – зло неодолимо?

– Зло неодолимо, но, помните, последние слова Кандида: il faut cultiver notre jardin. Все-таки сквозь все ужасы он приходит к маленькому садику, который надо возделывать. А чертовщина и Пугачев рассматривались во всей Европе, и не без причины, как результат духовной революции, подготовленной энциклопедистами. На самом деле, конечно, Пугачев и не знал о них, но я его нарочно внедрил в криминальную среду, действующую в романе: то ли он, то ли не он – Казак Эмиль, то ли страшная рожа с клыками – Барбаросса, понимаете, «план Барбаросса», – все это ассоциации.

– Как была придумана вся история встречи Вольтера с Екатериной?

– Вообще сначала я думал написать просто: как Екатерина приезжает, такая вот дама прекрасная входит – и все. А потом что-то мне стало от этого неудобно. Вспомнилось , что тогда очень увлекались маскерадами, была странная такая вещь – андрогинность петербургского двора. Елизавета приказывала кавалерам приходить в дамском одеянии, а дамам в мужском. Сама очень любила носить мундиры. Екатерина то же самое – безумно

любила переодеваться. И как-то призналась, что она в таком виде объяснялась в любви одной даме.

Гиперссылка

«После коронации в 1763 году были маскарады как при дворе, так и у Локатели. В одном из сих надела я офицерский мундир и сверху онаго розовую домину и, пришед в залу, стала в круг, где танцуют. Княжна Настасия Сергеевна Долгорукова, оттанцовав, остановилась предо мною и начала хвалить ей знакомой молодую девицу. Я, позад ея стоя, вздумала вздыхать и половину голосом, наклонясь к ней, молвила: «та, которая хвалит, не в пример лутче той, которую хвалить изволила». Она, оборатясь ко мне, молвила: «Шутишь, маска; кто ты таков? Я не имею честь тебя знать. Да ты сам знаешь ли меня?» На сие я ответствовала: «Я говорю по своим чувствам и ими влеком»... Она спросила: «маска, танцуешь ли?» Я сказала, что танцую. Она подняла меня танцевать, и во время танцу я пожала ей руку, говоря: «Как я щастлив, что вы удостоили мне дать руку; я от удовольствия вне себя». Я, оттанцевав, наклонилась так низко, что поцаловала у нея руку. Она покраснела и пошла от меня. Я опять обошла залу и встретилась с нею. Она, увидев меня, сказала: «Воля твоя, не знаю, кто ты таков». На что я молвила: «Я ваш покорный слуга; употребите меня к чему хотите; вы сами увидите, как вы усердно услужены будете»...

Записки императрицы Екатерины Второй

Это – не просто переодетая Екатерина, это – некий мускулинический фантом, ее мужское «я». В романе также переодеваются, чем создается атмосфера двусмысленности: вроде бы все любовники всех, все смущаются – как это произошло – и с кем они были, не совсем понимают. И Вольтер ловит себя на мысли, что влюблен в Фон-Фигина. Влюблен и очень боится этого. Ему в Сан-Суси Фридрих, совершеннейший гомик, подсовывал своих адъютантов, и очень разочаровался, когда тот не соответствовал... А тут вот нате – безумная страсть к мужчине... Вот такая началась игра. Это, конечно, маскарад, сомовский маскарад.

– *А можно это представить и как заигрывание с читателем .*

– Нет, нет и нет! Мне тоже приходило на ум, что могут подумать о некой спекуляции. Но надо все время иметь в виду – это женственный век. С одной стороны, он приносит либерализм и терпимость, а с другой – вот такие странные ситуации, курьезные даже. Соединение полов, когда мужчины носили драгоценности, завивались, пудрились, даже солдаты отращивали длинные косы, заплетали, салом намазывали – и вот так сражались... Почему, откуда это все взялось? Причем далеко не все были определенной ориентации, абсолютно нет, но вот такой стиль, мода. Это – выражение женственного века. Потом это стало не так явно. Трудно сказать вообще, что такое гомосексуализм. До сих пор это не понято человечеством и как он распространялся. Ведь нельзя сказать, что с развитием цивилизации все больше, больше. Напротив, в древнем, античном мире его было гораздо больше.

– *Конечно, в Греции, в Риме...*

– А потом настало царство суровой религии, а его стало меньше, да?

– *Внешне – может быть.*

– Ницше говорил, мы – «гомо сапиенс» – переходная раса, не окончательное развитие человека. Что следующий – «человек будущего» – появится. Он имел в виду не сверхчеловека, а следующего человека. Не исключено, что тогда не так четко будет выражено различие полов. Вот в моем романе Вольтер, когда преобразился в дерево, спрашивает: «Где ты погиб, Миша, в каких боях?» И тот отвечает: «В бою между духом и плотью». Плоть, как всегда, победила. Та самая мысль, которую вложил когда-то Вольтер в душу Миши, о смехотворности нашей любви: почему господь не дал нам какого-то другого выражения любви? Почему за любовью обязательно стоит такой ридикюльный акт?... Вот эта вот плоть, тяга плоти, не будь у Михаила этой Маланьи, он бы пожил лет десять, правда? А тут вернулся из Польши с деревянной ногой муж Маланьи...

– Когда вы сейчас так рассказываете, получается слишком просто, а в романе это звучит роком.

– Это рок и есть. Потому что все в сочетании: такая метафизика драматургическая, физическая драматургия.

– Авантюрный сюжет, элементы плутовского романа и гривуазной новеллы продиктованы не только восемнадцатым веком, но и самим Вольтером, для которого «все жанры хороши, кроме скучного». Без диалога Вольтера и Фон-Фигина в романе осталась бы прелесть приключений и безудержной фантазии, но был бы утерян главный смысл написанного. Вы не побоялись так много места уделить философии?

– Нет, философия проходит через весь центр романа, где идут дискуссии, в день встречи Вольтера и Фон-Фигина. Здесь и черт появляется, объявляет себя атеистом и требует у Вольтера не увиливать и объявить, что Бога нет. А тот не может этого. В общем, здесь основное столкновение взглядов, идей, возникающий ужас лиссабонской катастрофы 1755 года, циничных разговоров в салоне мадемуазель Лепинас. Я очень долго с этой главой возился, уже все было закончено, и только тогда я стал ее выстраивать.

– Живописные описания русских имений – с чего начинается родина – это лишь вымысел?

– Реальность. Я описал наше родовое, с папиной русской стороны, село – Покровское, Рязанской области. Огромное село такое, раскиданное на холмах. Как при царе Горохе, так и сейчас стоит, по-моему, без особых изменений. На холмах было много усадеб помещичьих: там не один был помещик, много. Когда я первый раз приехал туда с отцом в начале 60-х, мне рассказывали, что на одном холме, вот тут вот, барин пустил лебедей в пруды, там беседки построил... все стояло, как одно целое. Электричества не было, воду из колодца поднимали журавлем... пьянка безумная какая-то... родственница Таня утром нам с отцом выносила яичницу из двадцати яиц и бутыль мутного такого самогона. На наши возражения отвечала: «Вы же на отдыхе...». В избе – корова, куры... Вот я и стал представлять, как жили эти самые Миша и Коля, эти помещики, в Покровском. В романе и название села осталось. Их много, тысячи покровских есть в России, но именно эта глубинка описывается мною, и речка Мастерица, и все-все. И вот оттуда взялись вот эти юнцы.

– Эти юнцы – молодые аристократы – абсолютно новое поколение, с которого, в общем-то, и начались идеи русского европеизма. Отличительное поколение во времена Вольтера называлось во Франции «шестидесятники», а через двести лет – вновь «шестидесятники», уже в России. Такая параллель – случайное совпадение или продуманный ход?

– Все спонтанно возникало и закручивалось...

– И что, «шестидесятников» всех веков и народов всегда неминуемо ждет разочарование?

– Мне кажется, что век Просвещения еще не кончился на самом деле. Пока – мы на развалинах утопии, зародившейся в вольтеровское время. Мы еще не избавились от нее, мы только проходим через различные ее фазы. Возьмем, скажем, время возникновения Советского Союза. Французские философы, поэты, сюрреалисты 20-х годов двадцатого столетия были чистейшими вольтерьянцами, и они аплодировали со своей колокольни Советскому Союзу. Все – Андре Бретон, Луи Арагон и прочие – были страшными поклонниками этой реально вдруг возникшей утопии. Франция не смогла, а вот там, в России, все-таки возникло царство разума, чистого разума. Поэтому для них, для этого направления ума, гибель этой легенды, а потом и всей утопии было крушением основных ценностей.

– Они быстро оправились и теперь говорят, что большевики в процессе реализации их ценности извратили.

– И большевики извратили. Но тем не менее интеллигенция тоже уходит в метафизику – и во Франции, и везде. Единственная успешная революция двадцатого столетия – это революция в искусстве. Она вдруг показала иные измерения видимого мира, о которых не догадывался никто: близость видимого и невидимого миров. Пересечение этих миров. И новокантианский взгляд на предметы вообще. Живопись, предположим, атональная музыка, новая литература – образная система совершенно иная. Вот это уже сдвинуло с точки некоторой схематичности, которая была у Вольтера. В его толковании хотя бы священных книг, священных писаний. Вольтер всегда высмеивал непорочное зачатие. А одна из моих героинь говорит, на мой взгляд, большую мудрость: любое зачатие – непорочное. В самом зачатии есть сакральный момент... Среди порока, среди свального как бы греха, в организме любой шлюхи – не шлюхи, черт ее знает какой оторвы, происходит вдруг что-то священное...

– После советской власти была еще одна попытка...

– А вообще есть ли какой-либо смысл во всех этих попытках, или это просто бессмысленная, кровавая, чудовищная история – и все? С моей точки зрения есть только один определенный смысл существования человеческой расы – это ее попытка самоусовершенствоваться. Я, кстати, в романе пытаюсь дальше развить то, что сказал в «Новом сладостном стиле» – об эволюции и творении. Идея творения и идея эволюции не противоречат друг другу. Эволюция – просто часть творения. Творение произошло, Адам ушел в прах, стал подниматься из праха, поднимался неисчислимые миллионы лет, а не шесть тысяч лет, превращаясь в каких-то там рептилий жутких, летя в виде птеродактиля и так далее, и так далее – это все путь Адама. Это превращение Адама в человеческую особь. Миллионы лет проходили монотонно так, без представления о времени. А сейчас счет пошел уже на сотни.

– Но разве Вольтер не делал попытку совершенствования человеческой расы?

– Вольтер был необходимым ферментом человеческой цивилизации. Именно Вольтер. Хотя его можно представить как безобразного атеиста, предтечу фашизма, коммунизма и так далее и тому подобное. А можно представить как очистителя религии от лицемерия, необходимой личностью, которая продолжит так или иначе поиск. И, в общем, негативный-то опыт

тоже весьма важен именно для движения человеческого духа, и даже движения человеческой идеологии, в каком-то намеченном, непостижимом еще для нас направлении. И в этом есть содержание пути Адама – пути самоусовершенствования.

В наши дни некоторые изменения тоже можно заметить. С одной стороны, чудовищный терроризм, когда темные силы ада действуют, направляя людей от жизни к смерти, глухой, черной смерти. А с другой – гуманитарные акции. Кого когда-нибудь волновало в восемнадцатом веке, что Африка умирает с голоду? Сейчас это безумно волнует всех.

– А там все равно умирают.

– Умирают, но тем не менее туда направляются гигантские какие-то эскадры, эскадрильи с едой, с одеждой, с медикаментами. Мир сейчас планетарно озабочен проблемой избавления от СПИДа... Спасение, благотворительность. В этом есть некоторые моменты пути Адама: дальнейший отход от животного начала к духовным ценностям.

– Как прежде бранным было слово «вольтерьянец», так ныне раздражает понятие «интеллигент», которое заменяется понятием «интеллектуал»...

– Интеллигенции мало вообще осталось... Потом какая она была, интеллигенция? Даже в конце девятнадцатого века. С одной стороны, остатки позитивистов, из них вышли большевики. Большевики – это и есть выражение вот этой интеллигенции. Большевики на самом деле – вообще люди девятнадцатого века, не двадцатого. И Ленин почувствовал, что промахнулся, что уже в вагон двадцатого века со своей революцией не вскочить. В двадцатый век со всеми его физиками, математиками, теориями относительности, футуристическими выставками, абстракционизмом, философией экзистенциализма. Он не понимал всего этого, он был в ужасе, что они пропустили свое время, свою революцию. Его спасла первая мировая война, потому что она затормозила двадцатый век. И тогда он уже не в том, а в другом, в пломбированном, вагоне приехал. Но это была власть девятнадцатого века, власть позитивистов, власть Чернышевского, Писарева... Интеллигенция сейчас должна быть другой по сравнению, скажем, с девятнадцатым веком. Вот мои герои Коля и Миша – предтечи байронизма в России – были отцами декабристов. Декабристское восстание – не что иное, как восстание байронитов, а уже за байронической фазой образовалось за пару десятилетий то, что мы называем русской интеллигенцией. Это властители дум, такие народовольцы, хождение в народ, большие такие прагматисты, в общем-то, атеистический такой мир, позитивисты, короче говоря. Это, я думаю, противоречит байроническому складу. Поэтому, мне кажется, если в России новая интеллигенция начнет возникать, она будет все-таки не позитивистской.

– Неужели байронической?

– Опять байронической. Даже у таких людей, как олигархи, проглядывают черты байронизма. Посмотрите, одному из них дают возможность бегства, он отправляется в тюрьму. Другой приезжает на территорию фактически Советского Союза под именем Платон Еленин. Разве это не байронизм?

– Допустим, это первый признак героя-романтика, но разве данному байроните не присущ практицизм?

– Практицизм присущ, но для достижения своих байронических утопий. Он же не одержим производством денег. Он делает их, но у него совсем другие идеи, куда их употребить. Он человек утопического склада ума.

Если говорить об интеллигентах, то я не думаю, что это будет какая-то определенная модель. Ведь предположим, мы прошли через такое наивное движение неофитов в 70-е и 80-е годы, когда многие интеллигенты уходили в религию, полагая, что, если вернется религия, мир будет совершенней. А сейчас мы испытываем серьезные разочарования в ортодоксальной религии. Она, к сожалению, становится слишком официальной.

– Ну хорошо, возникнут байронические интеллигенты, и что они смогут сделать? Привить аристократизм духа?

– Пожалуй. Они смогут создать новую атмосферу. Новую атмосферу жизни. Наш народ еще, прямо скажем, темный вообще-то. Ему до сих пор кажется, что за границей какие-то чужие совсем люди, для них гораздо ближе какой-нибудь хам, областной глава администрации, чем бизнесмены, финансисты, гуманитарии, благотворительные общества. С опаской смотрят на другие конфессии, экуменизм очень далек от них. Опять вера подменяется ритуалом веры, но не потащишь же всех за уши к философии. Хотя ощущение священности и таинственности необходимо развивать... То есть не развивать – культивировать, как сад.

– Как говорят, по некоторым оценкам, десять миллионов разделяют в России либеральные идеи. Эти миллионы людей после выборов оказались за бортом...

– При таком поражении, как вот мы испытали на думских выборах, сами виноваты, между прочим, уж думаешь, что администрация нынешняя и эта партия «Единая Россия» – все-таки еще сдерживающий момент перед нахрапом людей нацистского толка, нацизма. Другого сдерживающего момента уже нет. В общем-то, я не политик, но мне кажется, нужно создать какую-то единую сильную партию. Назваться «Союзом правых сил» – значит, обречь себя на поражение неминуемое, ну «Яблоко» – это еще непонятно, вкусно – можно куснуть, да? А «Союз правых сил» в сознании миллионов и миллионов людей – это значит союз буржуев с огромными животами и зевами. Этот стереотип жив до сих пор. Они вовсе не правые. Нас, например, в Советском Союзе называли левыми. Левые, фрондеры. Они должны быть фрондерами. Левыми не надо себя называть, но они либералы и демократы. А у нас либерально-демократическая партия – это партия Жириновского. Украли название еще при Советском Союзе – такой сатанински хитрый, дальновидный проект КГБ. И он сейчас вовсю функционирует. Функционирует, отвлекая людей от настоящего либерализма, от настоящей демократии. Надо придумать партию, в которой не было бы среди лидеров амбициозных людей, отрицающих всякое содружество ради победы идей или не победы, хотя бы существования... И кто лидер? Может быть, какая-то новая креатура. Во всяком случае, в одном я согласен с Чубайсом – это не разгром, а поражение в одном сражении. Думаю, что, как ни странно, и правящая партия может быть в некоторой степени гарантом существования оппозиции. Потому что, если придут разноглазьевы, будет очень неприятно. Вообще ситуация неприятная... Все эти разговоры о величии, всегда подкрепляемые каким-то милитаризмом. А величия можно ведь и без армии достичь. Почему так или иначе, но все время мы и НАТО – враги?.. И все же тоталитарный мир всегда слабее либерального. Хоть это звучит парадоксально. Потому что он, как в анекдоте, «сильный, но легкий». Его можно выбросить в окно. И он рассыплется. А либерализм обладает какой-то вязкостью. Его вот вроде забили, вот как сейчас у нас забили, и пребывает он в ничтожестве, а потом начнется опять.

– У вас есть рассуждение о возникновении времени: время наступает после изгнания из рая. Мы идем, и мы никак не можем ни вернуться в рай , ни создать его, мы просто идем по пути изгнания из рая.

– Но когда мы придем или когда мы вернемся – время остановится.

– А что за Пушкин-курьер блуждает у вас по Европе?

– Какой-то родственник поэта. Он потерялся в Вене, его искали Воронцовы, Шувалов. Негодовали: куда пропал Пушкин? Ему совсем нечего было делать в Вене. У меня есть потрясающая книга «Письма к Вольтеру», изданная просто на европейском уровне Академией наук СССР в70-м году. Я купил ее в русском магазине в Вашингтоне. Вот Пушкин оттуда взялся.

– Ваш друг мне поведал, что ваш любимый поэт Пушкин.

– Да, я люблю Пушкина.

– И, кажется, даже кот у вас в доме...

– Это пес тибетской породы. Когда жена увидела его впервые, он был без шерсти, совсем голенький, только бакенбарды висели. Она ахнула – да это же Пушкин! И так сразу и приклеилось.

Я ошиблась, но все же кот был и звали его – Онегин, а его хозяин – одинокий Стас Ваксино.

Гиперссылка

«Вновь мы остались вдвоем с Онегиным в огромном доме. Кот не то чтобы постарел, но изрядно посолиднел. Притворный бандитизм в округе его меньше увлекает. Он любит теперь сидеть на столе в кухне и смотреть на папу, когда тот вкушает свой патентованный диетический ужин. Ты не один, как бы говорит он мне своими круглыми глазищами и подрагивающими усищами, мы с тобой вместе; мужчины, друзья. Я скоро догоню тебя по возрасту, если принимать во внимание ваш дурацкий расчет кошачьих лет – один к семи. Иногда лапой он берет какой-нибудь кусочек из тарелки».

Василий Аксенов. Кесарево свечение. Глава под названием «Роман подходит к концу: народ разъезжается».

●

Владимир САЛИМОН

Настоящим жить приходится

* * *

Хочу, чтоб не виден был мост из окна –
двугорбый, железнодорожный,
стена заводская была не видна
и не представлялась острожной.

Гудят провода на опорах стальных.
Вдали – за стеклянной горою,
поодаль – отдельно от всех остальных
я дом на отшибе построю.

Тому, кто хоть раз из копытца попьет
в отсутствии водопровода,
становится слышно, как сладко поет,
зовя восвояси свобода.

* * *

Острый запах травы придорожной
как по сердцу ножом полоснет,
так наследие жизни острожной
мне таинственный знак подает.

Все, что прежде со мной приключилось,
что случилось однажды со мной,
в неизбывную боль превратилось.

Не подумайте – не со страной
беззастенчиво отождествляю
я себя,

но, когда в полутьме
на рассвете глаза протираю,
может быть, не в своем я уме.

* * *

Лошадь, кусаясь, на девственный снег
кровью плюется рыжей.
Не удивительно, что человек
кличет ее *Бесстыжей.*

Перелетает у нас на глазах
солнце от дома к дому.
Скрежет железный в настенных часах
слышу я сквозь полудрему.

Мальчик, с постели поднявшись, стоит.
Шагу ступить боится –
так на рассвете ужасно скрипит
каждая половица.

* * *

Что ж еще золотое сеченье,
как не ангельский нимб в полумгле, –
в полутьме золотое свеченье,
чуть заметное нам на земле.

Слабый отблеск заметен не сразу
даже тем, кто глядит в небеса
и на черное солнце ни разу
по-кошачьи не жмурил глаза.

Если запросто может Иуда
римским стражникам выдать Христа,
это значит лишь только – покуда
никого не спасла красота.

* * *

Как папоротник, расцветает в ночи
на площади вечный огонь,
и, если во тьме не стучат кирпичи,
во мраке играет гармонь.

Мне хочется думать, что так и должно
быть где-нибудь наверняка,
но нет в расписанье – исчезло давно –
названья того городка.

Куда в поднебесье спешит самолет,
и поезд по полю летит,
и прямо по улице речка течет,
вгрызаясь в прибрежный гранит?

На землю обрушится аэроплан.
Состав полетит под откос.
А речка впадет в Мировой океан,
соленый и горький от слез.

* * *

Душу врачуя некрепким винцом,
сплю до полудня я сном непробудным.
Сад в полумраке шумит за крыльцом.
Кажется мне, как вокзал – многолюдным.

Ясно в тумане слышны голоса.
У отъезжающих скучные лица.
А на желтеющих листьях роса
еле заметно уже серебрится
Можно подумать, что чуть погодя
в утреннем воздухе влаги избыток,
образовавшийся после дождя,
вдруг превратится в серебряный слиток.

* * *

Ветер из рук вырывает газету.
Так и осталось загадкой –
уж не чума ли по белому свету
нас поражает украдкой?

То-то мне чудится звон колокольный
над безутешной равниной,
то-то мерещится дух алкогольный,
крепкий, как в лавочке винной.

Слышится рокот застольной беседы,
медленно переходящий
в песни по случаю нашей победы
давешней и предстоящей.

* * *

Настоящим жить приходится,
а не хочется порой.
Хорошо, что Богородица
за меня стоит горой.

Лес встает стеной над берегом.
Не шелохнется река.
Психопатам и истерикам
страшно здесь наверняка.

Чье-то жаркое дыхание
ужасает их в ночи,
маятника колебание
или пламени свечи.

* * *

Коровы, как колокола,
чьи голоса слышны во мраке,
и богомерзкая хула,
и соловьиный свист в овраге.

И скрип уключин на реке,
и смех, и бабье бормотанье,
и все, что только вдалеке
учует орган обаянья.

Различье в запахах и звуках
с ума способно нас свести.
Здесь внук славян в сердечных муках
свободу тщится обрести.

* * *

Тогда как утренние тени
прохладной нежностью полны,
веранды шаткие ступени
и в жаркий полдень холодны.

По ним, опасливо ступая,
спускаемся в заглохший сад,
и ножка в туфельке босая
невольно привлекает взгляд.

Но более всего на свете
мне хочется сказать тебе:
так сладко пахнут только дети
в воскресной уличной толпе.

●

Андрей ГЕЛАСИМОВ

Зиганшин – буги

РАССКАЗ

Кроженицам в роддом мы не пошли тогда из-за Веньки. Он остановился прямо посреди улицы и сказал, что больше такой возможности не будет. Что если «давим стиль», то надо давить до конца и что Гленн Миллер нам этого не простит.

Мы с Колькой переглянулись и начали считать деньги. На троих нам хватало, но в буфет до стипендии можно было больше не заходить. Ежемесячный перевод из дома к этому времени тоже дал дуба.

– Гленн Миллер будет доволен, – подмигнул Венька, и вместо роддома мы отправились в знакомую нам уже квартиру на Ленинградском.

Размышляя о том, каким образом Гленн Миллер может узнать, на что мы потратили наши последние деньги, я помог какой-то девушке в желтом платье укрепить на стене простыню.

– Спасибо, – сказала она и сделала смешной книксен. – Вы очень любезны.

– Может, вы уйдете оттуда? – начали кричать на нас остальные. – Мы на вас, что ли, пришли смотреть?

Я сел на свое место и стал наблюдать за девушкой.

– Чувак, – толкнул меня через минуту сосед слева. – Эй, чувак, ты вино будешь? Белое сухое. Домашнее. Из Крыма вчера привезли.

– Нет, чувак, – ответил я. – Хочу посмотреть «Серенаду». С вином будет не то.

– Уважаю, – сказал сосед. – Такой ништяк оценить можно только на трезвую голову. А я долбану. Точно не хочешь?

– Да нет, спасибо, чувак.

– Ну давай. Только потом не обижаться. Договорились?

Но фильм я практически не смотрел. Даже когда все в комнате затопали ногами и закричали: «Чу-ча!», я несколько раз довольно вяло притопнул и продолжал смотреть на слегка волнистый экран из простыни, не очень-то следя за тем, что там происходит.

Потому что не было необходимости. «Серенаду солнечной долины» я знал наизусть. Три раза видел ее в кинотеатре, и два – в этой квартире на Ленинградском. Тут жили какие-то Венькины приятели, у которых можно было не только посмотреть «Серенаду», но и купить дорогущий галстук с обезьяной. Венька говорил, что все галстуки прямо из Штатов.

Считая сегодняшнюю оказию с булькающим слева от меня чуваком из Крыма, для нас это была уже шестая возможность сделать так, чтобы Гленн Миллер до смерти ни на кого не обиделся. Я сильно подозревал, что по этой причине даже у себя в Штатах он мог считать себя самым счастливым чуваком.

А если не он, то хозяева квартиры – это уж точно. На те деньги, что мы и все другие стиляги приносили им за просмотр, наверняка можно было купить что-нибудь грандиозное.

Я стал смотреть по сторонам и в мерцающей полутьме, кажется, все-таки разглядел новое кресло. Во всяком случае, в наш первый приход его в

этой квартире не было. Венька сейчас, разумеется, развалился именно в нем. Откинулся на спину и дирижировал.

Вторая причина моего втайне сдержанного отношения к «Серенаде» называлась «Небесный тихоход». Когда Николай Крючков в этом фильме начинал петь «Махну серебряным тебе крылом», по спине у меня всегда бежали мурашки. Может, это было связано с тем, что отец во время войны командовал эскадрильей дальних бомбардировщиков, а может быть, с тем, что меня самого полтора года назад не взяли по здоровью в Актюбинское летное училище, и назло всем этим врачам я поехал в Москву и поступил в медицинский.

Трудно теперь сказать, какая из двух причин была для меня важнее, однако мурашки от песни Крючкова по спине бегали регулярно, и Веньке в этом признаваться я не спешил.

Потому что мы должны были «давить стиль». Или «стилять».

В разном настроении Венька употреблял разные слова. Когда денег хватало не только на мороженое и на то, чтобы торчать целый вечер на улице Горького напротив Центрального телеграфа, прячась время от времени в подъездах соседних домов от комсомольских оперотрядов, мы могли «постилять» в кафе «Молодежное». Там всегда «стиляли» фирменные чуваки и те девушки, которых Венька называл «золотые дукаты». Познакомиться с «дукатом», а тем более уйти с ней из кафе в его глазах было высшей стиляжной доблестью. Правда, пока этого ни с Колькой, ни со мной не случалось. Чаще мы все-таки «давили стиль» на «Бродвее» – или на «броде» – между площадью Маяковского и гостиницей «Националь», разбегаясь, как тараканы, от бригадмильцев и стараясь не угодить в «полтинник», то есть в отделение милиции №50. Из института за это бы точно поперли.

Впрочем, не только за это. Доцент Зябликова давно уже точила зубы на нашу троицу. На первом курсе, когда нас всех привели в анатомку, Венька притащил с собой муляж гниющей конечности, который для этой цели украл из институтского музея, и положил его во время перерыва Зябликовой в портфель.

Нас не выгнали только из-за вмешательства Колькиного отца. Филипп Алексеевич много лет проработал в журнале «Огонек» и был знаком с ректором института лично. К тому же Венька официально числился лучшим студентом на курсе. Профессура носилась с ним, как с писаной торбой. Не знаю уж, как они там чего разглядели, но практически каждый преподаватель время от времени ему говорил при всем курсе: «Вениамин, у вас от Бога медицинский талант. Вы прирожденный врач».

Как будто я или Колька не получали точно такие же «пятаки» во время сессий. Или как будто Венькины «пятаки» были особенно медицинские, а наши – так, из другой оперы. И можно было из шкуры вон лезть, не спать ночами, зубрить бесконечные кости, изображать из себя великого доктора – все равно прирожденным врачом называли одного Веньку. Они его выбрали, и с этим уже ничего нельзя было поделать.

Так выбирают любимый цвет. Никто ведь не сможет ответить, почему ему нравится именно красный или, скажем, зеленый. И уж тем более никого не волнуют чувства того глупого цвета, который не выбрали.

Поэтому мы с Колькой просто получали свои не очень медицинские пятерки и грелись в лучах славы будущего светила.

Зато у Зябликовой теперь появился шанс отомстить. Или по крайней мере сильно испортить Веньке, а за компанию и всем нам, наше безоблачное «стиляжное» настроение.

Это была третья причина, по которой я не кричал теперь вместе с другими: «Чу-ча».

– Жду завтра всех на семинаре по акушерству, – сказала Зябликова и, со значением улыбаясь, посмотрела на нас троих. – Вся группа может готовиться по обычному списку вопросов, а для вас, молодые люди, у меня будет особое задание.

– Сдурела совсем! – сказал Венька, когда мы вышли из института. – Тащиться в роддом обследовать беременных теток?!

Именно в этот момент ему и пришла в голову идея насчет Гленна Миллера. Очевидно, как противоядие.

Впрочем, скоро выяснилось, что у него было много идей.

– Слушайте, чуваки, – сказал он уже у Колькиного подъезда. – Хватит вам дуться. Сдаюсь – «Серенаду» сегодня можно было и не смотреть. Но зато я знаю, с кем поговорить о нарушениях в кровеносной системе в период беременности.

– С кем? – практически в один голос спросили мы.

– С Василисой Егоровной, остолопы. Она же тебя рожала. – Он посмотрел на Кольку. – Должна помнить...

– Ну я не знаю, ребята, – сказала Василиса Егоровна, глядя на нас в прихожей. – Это ведь давно было. Вы лучше переоденьтесь быстрей, а то Филипп Алексеевич может с работы прийти. Уже почти восемь.

Мы пошли в Колькину комнату и начали стягивать с себя узкие, как карандаши, брюки. Василиса Егоровна до определенной степени понимала трудности нашего поколения, а вот Филипп Алексеевич был человеком «на государевой службе» и о нашей непростой «стильной» жизни знать ему было совсем ни к чему. Ради нашего, естественно, блага.

И ради всеобщего торжества широких штанов, воспетых Маяковским, чей памятник, кстати, частенько служил для нас местом сбора.

Потому что широкие штаны Филипп Алексеевич уважал. Замечательный во всех отношениях человек, легкий и остроумный собеседник, он при этом любил цитировать Никиту Сергеича Хрущева и часто повторял, что хороший человек узких брюк не наденет.

Наденет или не наденет – на других мы не проверяли, но Колькин отец в скором времени должен был стать секретарем парткома редакции «Огонька», и, следовательно, он наверняка собственноручно поубивал бы нас из своего трофейного «Вальтера», если бы узнал, что те самые отвратительные стиляги, о которых с таким презрением и брезгливостью пишет его журнал, – это, собственно, мы и есть.

Они самые. Здрасьте.

А «Вальтер», между прочим, был у него знатный. Надежный, увесистый и в то же время поджарый, как породистый пес. С аккуратной маленькой мушкой. Венька, как только увидел его, сразу сказал: «Да, чуваки, это не семьдесят восемь. Это настоящие тридцать три».

Более высокой степени одобрения в его языке просто не существовало. Огромные толстые пластинки на 78 оборотов в минуту с песнями Бунчикова и Шульженко он ненавидел так, как обычный человек, то есть не стиляга, ненавидит смерть, или голод, или капитализм. В то же время редкие пока еще пластинки на 33 оборота были для него символом высшей справедливости и торжества человеческого разума.

Пистолет Филипп Алексеевич разрешал нам подержать только в своем присутствии. При этом обойма – даже пустая – всегда либо на столе, либо у него в руках. Щелкать курком тоже не разрешалось.

– А что если там остался патрон? – говорил Филипп Алексеевич и оттягивал затвор, чтобы показать нам тусклую впадину, где, естественно, никогда никакого патрона не было...

– Нет, я не помню то время, когда ходила с Колькой, – сказала Василиса Егоровна, отодвигая на край стола вазу с цветами и расставляя чайные чашки. – Война была. Все как-то мимо катилось. Куда там за беременностью следить! Выжили – и спасибо.

– Но хоть что-то вы должны помнить, – настаивал Венька. – Токсикоз, головокружение. Нас особенно интересуют вены. Вены под кожей не расходились? Такими крупными синяками?

– Я не помню, Венечка, – виновато сказала она. – Может, вам про что-нибудь другое рассказать?

– Нет, нам про другое не надо, – вздохнул Венька, но через секунду сам неожиданно переменил тему: – А можно нам тогда пистолет посмотреть? Пока Филипп Алексеевич не пришел с работы.

У «Вальтера» была своя история. Колькин отец на войне в атаку, разумеется, не ходил, потому что был журналистом, но в немецких окопах все же бывал. Спускался туда после боя, чтобы собрать материал для статьи – поговорить с бойцами, полистать документы убитых фрицев. И вот однажды под Сталинградом он то ли не разобрал, что бой еще не закончен, то ли немцы решили вернуться в отбитый уже у них окоп, но, когда он спрыгнул в траншею, прямо на него смотрел молоденький фриц.

Филипп Алексеевич рассказывал нам эту историю не один раз и при этом всегда подчеркивал, что фриц был очень молод. А так как сам Филипп Алексеевич нам казался глубоким стариком, то этот несчастный немец в наших мозгах навсегда застрял каким-то почти ребенком. И это было странно, потому что немцы были фашисты и не имели никакого права быть детьми. Их надо было убивать где только возможно.

Но фриц Филиппа Алексеевича был молод. Может, под Сталинградом тогда уже воевал «Гитлерюгенд», а может, все это была только игра воображения не привыкшего к виду живых немцев Колькиного отца.

Так или иначе, но, рассчитывая на то, что в немецких окопах должны быть наши, Филипп Алексеевич и на этот раз не взял с собой автомат. Огромный ППШ мешал ему в узких траншеях.

Оказавшись лицом к лицу с этим немцем, он понял, что не успеет вытащить из кобуры свой «ТТ». В руках у фрица уже был тот самый «Вальтер». Немец навел его на Колькиного отца, но почему-то не выстрелил. Они постояли так несколько секунд, а потом фриц быстро сунул ствол себе в рот и нажал на курок. Почему он так поступил – Филипп Алексеевич так никогда и не понял.

Мы тоже этого не понимали, но были благодарны странному фрицу. Даже несмотря на то, что он был фашист. Потому что без Филиппа Алексеевича стало бы намного скучней...

– Как это ты не помнишь ничего про беременность? – сказал он, присаживаясь к столу. – Эх, Васька, ну что за память? Я лично все помню. Спрашивайте меня, товарищи медики. Что вас интересует?

Венька на секунду засомневался, но все же задал свой вопрос.

– Синяки? – переспросил Филипп Алексеевич. – Да-а, разумеется. По всему телу. И жилы вот такими узлами. Величиной с кулак.

Василиса Егоровна поперхнулась чаем, закашлялась и начала смеяться.

– Филя, им, правда, надо, – переведя дух, сказала она. – Скажи честно – помнишь или не помнишь?

– Все помню, как на духу. У твоей сестры после родов начался геморрой. Простите, не к столу будет сказано.

– Филя!

– Что – Филя? У Фили ничего не было. Ни до беременности, ни после. И у тебя ничего. Только на четвертом месяце возникло небольшое потемнение вот здесь, на локтевом сгибе. Я правильно говорю, товарищи медики? Это место называется локтевой сгиб?

– Перестань врать, Филя! Им серьезно надо для завтрашнего занятия.

– А кто врет? Вот тут у тебя было пятнышко. Васька, ты не поверишь, но я твое тело знал лучше, чем карту нашего наступления. Любо-о-овь! Так, молодежь, а ну-ка заткнули уши...

Они познакомились в декабре сорок первого года. Филипп Алексеевич несколько раз говорил нам, что напишет об этом книгу, но пока рассказывал устно. И видно было, что ему нравится рассказывать.

Редакция «Красной звезды» прикрепила его тогда к штабу 20-й армии, которая должна была отбросить немцев от Москвы в направлении Лобни и Ржева. Колькин отец напросился в передовые части, получил на складе

буденовку и поехал отбивать деревню Катюшки. В общей сложности наши брали ее шесть раз. С Василисой Егоровной Филипп Алексеевич познакомился на третий.

В ту ночь он ползал по нейтральной полосе и разворачивал тела погибших красноармейцев головой к немецким позициям. Это было важно. От того, в какую сторону солдат упал головой, зависела судьба его близких. За трусость и предательство Родины отвечать должны были все.

Под утро он наткнулся на Василису Егоровну...

– Нет, Васька, ты мне скажи, – посмеиваясь, говорил Филипп Алексеевич. – Ведь мародерством приползла туда заниматься. Ну признайся, что за жратвой.

Но Василиса Егоровна уверяла, что хотела помочь нашим раненым, а тот сухпаек, который у нее оказался, она вытащила из немецкого вещмешка. Дохлых фрицев там тоже было навалом.

Потом, даже когда фронт ушел далеко на запад, Колькин отец, отправляясь за материалом на передовую, всегда старался проехать через Катюшки. За что, кстати, то и дело получал от начальства по шапке.

– А буденовка-то все еще, между прочим, при мне, – говорил он, вынимая из шкафа и надевая на голову потемневший остроконечный шлем с синей звездой. – Холодно только в ней было. Зима в тот год выпала, я вам скажу, «Гитлер – капут».

Почему-то так получилось, что бойцы 20-й армии оказались тогда одеты в кавалерийское обмундирование времен гражданской войны. Неизвестно, это ли повлияло на решение Василисы Егоровны, но летом сорок второго они поженились, а осенью, уже в Москве, у них родился Колька.

Будущий стиляга и, может быть, врач.

– Я помню – совсем кормить его было нечем, – сказала Василиса Егоровна. – Вот это я помню. На карточки ничего для грудничков не давали, а у меня не было молока. Почему-то пропало. Наверное, от недосыпания. На крышах по ночам сидели. Тушили «зажигалки». Я все боялась, что усну прямо там и свалюсь с пятого этажа. У нас в Катюшках выше голубятни ничего не было. И то ее потом миной снесло.

Продолжая наступать в декабре сорок первого, 20-я армия все дальше отбрасывала немцев от Москвы, а Филипп Алексеевич не спешил возвращаться в редакцию. За эти несколько недель наступления командующий армией генерал Власов стал любимым военачальником Сталина, и Колькиному отцу было понятно, что ни в какой другой фронтовой части такого материала для своих статей ему не найти. Он много писал о Власове, общался с ним, называл его в своих публикациях «новым Кутузовым» и «спасителем Москвы». Никому даже в голову тогда не могло прийти, что 2-я Ударная, которой Власов будет командовать под Ленинградом, всего лишь через полгода попадет в котел, а сам генерал станет предателем.

– Не знаю, почему он не застрелился, – говорил Филипп Алексеевич, и в его обычно добродушном лице проглядывали такие жесткие черты, что мне, например, становилось не по себе.

После предательства Власова ему действительно пришлось нелегко. Допросы фронтового «Смерша», допросы в штабе армии, допросы в Москве. Когда перевезли на Лубянку, он понял, что оставят в живых. Если бы хотели, могли расстрелять прямо у блиндажа особиста. Со многими так и поступили.

Но повезло. Кто-то на самом верху читал его фронтовые статьи и оценил их идеологическое значение. Ему разрешили вернуться на передовую и продолжать писать. Правда, только с «лейкой и блокнотом». О редакционном «виллисе» он мог надолго забыть. Даже после войны никто не спешил предлагать «власовскому приспешнику» кабинет редактора.

Поэтому теперь, когда Филипп Алексеевич должен был вот-вот стать партсекретарем «Огонька», а в дальнейшем, возможно, и главным редактором, в семье у Кольки царило предпраздничное, слегка нервозное ожив-

ление. То есть ни Колькиному отцу, ни его матери по большому счету не было никакого дела до наших проблем. С доцентом Зябликовой и нарушениями в кровеносной системе в период беременности нам предстояло разбираться самостоятельно.

– Ну что приуныли, товарищи медики? – сказал Филипп Алексеевич, разворачивая газету. – Свет клином на ваших синяках не сошелся... Нет, ты посмотри, что тут пишут! Нашли все-таки солдат на барже. Подобрал американский авианосец. Сорок девять дней в океане болтались... А мне в редакции сказали, что по радио прошло сообщение, но я не поверил... Надо же, как исхудали ребята... Где это, интересно, фотографировали? В Америке, что ли?

При слове «Америка» Венька вскочил из-за стола, забежал за спину Колькиному отцу и впился глазами в газету. Несколько минут они молча читали статью. Мы с Колькой уныло допивали свой чай, а Василиса Егоровна ушла на кухню шуметь посудой.

– А можно, мы у вас газету на секундочку заберем? – сказал наконец Венька, почему-то сильно волнуясь. – На одну секундочку. И тут же вернем обратно.

– Да можете забрать ее хоть насовсем, только мне еще про спорт почитать надо.

Венька не отошел от Филиппа Алексеевича ни на шаг, пока тот просматривал результаты футбольных матчей.

– Да-а, – в конце концов протянул Колькин отец. – Не выйдет, видимо, уже Бобров на поле. Только тренером. А какой был центральный форвард! Я помню, «Динамо» включило его в состав для поездки в Англию, а он...

– Можно газету? – робко попросил Венька.

В Колькиной комнате, едва за нами закрылась дверь, он рухнул на диван, подбросил газету над головой и, стараясь, чтобы его не услышали в гостиной, зашипел, как змея:

– Ура, чуваки! Тридцать три! Говорю вам – это тридцать три оборота! Лабаем джаз!

Мы с Колькой стояли перед ним, как два школьника, и ждали, когда у него это пройдет.

– Чего вылупились? Читайте!

И мы прочитали: «...младший сержант Асхат Зиганшин и рядовые Федотов, Поплавский, Крючков... почти два месяца назад... на оторвавшейся от причала барже... и были унесены штормом в открытое море... Ни продовольствия, ни воды, ни горючего... Потерявшие надежду солдаты... сила человеческого духа наших ребят... оказались вынуждены питаться собственными ремнями, а также разрезанными на кусочки кожаными мехами гармони...»

– Ну и что? – сказал Колька. – А где тут тридцать три? Гармонь, что ли? Я не понял.

– Сам ты гармонь! Ты посмотри на фотографию.

На всех четверых были узкие брюки и стильные пиджаки с широкими плечами.

– Теперь понял? – сказал Венька.

– Нет, – ответил за Кольку я.

– Ну вы оба тупые! Их в Америку привезли! Авианосец ведь был американский! Чуете?

Но мы не чуяли. Нам хотелось, чтобы Венька все разъяснил. Или по крайней мере сказал, что мы будем завтра делать на семинаре по акушерству.

– Вы что, совсем сбрендили? Какой семинар? Какое, на хрен, акушерство? Я вам говорю – нам баржа нужна!

Венька не всегда был стилягой. Сначала он был просто Венькой, потом комсомольцем, потом очень строгим комсомольцем, а потом уже, наконец, стилягой. И в Москве он тоже жил не всегда.

В наш медицинский ему пришлось переводиться из Ленинграда. С потерей года. Но ему было все равно. Его не волновало даже то, что ему демонстративно отказали в общежитии.

– А мне без разницы, где стилять, – небрежно говорил он, выходя по утрам из каморки институтского дворника. – Я Петровича уже научил галстук завязывать. Готовлю его к «шузам» на «манке». Спорим, завтра он будет в них подметать?

Развитию дворника Петровича помешало участие Колькиных родителей. Узнав про Веньку, они велели немедленно его привести и предложили ему перебраться в их квартиру на Маяковке. Он согласился.

В ленинградском «меде» Венька успел проучиться три семестра. Больше они просто не могли позволить ни ему, ни себе. То, что он там устраивал, не шло ни в какое сравнение с нашим патриархальным московским «стилянием».

Но сначала он был комсоргом. И, как все комсорги, ездил с бригадмильцами бить стиляг – на самые разные танцплощадки, к магазину «Советское шампанское» на Садовой, который стиляги сокращенно называли «США», в парикмахерскую на Желябова, где стригли лучшие ленинградские коки, и на площадку у «Европейской», куда стекались самые клевые фарцовщики Ленинграда.

Фарцовщики избивались, коки отрезались, широченные пиджаки и узкие брюки приводились в негодность. Все шло как нельзя лучше.

Пока вдруг не случилось непоправимое.

Посреди всей этой идиллии, как гром среди ясного неба, на Веньку свалился Чабби Чеккерс.

Пораженный страшным открытием, Венька некоторое время просто не знал, что ему делать. Пропускал комсомольские собрания, мучился от бессонницы, худел. Потом, наконец, сдался и, закрывшись наглухо у себя в комнате, сам попробовал танцевать. Со временем в его несуразных движениях паралитика стало что-то проклевываться.

После долгих сомнений он решился на то, чтобы сделать это перед старым шифоньером с огромным зеркалом в комнате родителей, пока тех, разумеется, не было дома.

И понеслось.

Едва нарождающийся в советской стране твист открыл ему то, на что комсомол не был способен. Венька еще продолжал ездить с оперотрядами, но твистеров уже выделял в отдельную касту. Обычных стиляг бил и сам, а за твистера мог запросто врезать кому-нибудь из бригадмильцев. Помогая однажды известному среди стиляг твистеру Толику по кличке Пижон сбежать с оцепленной танцплощадки, он окончательно покинул мир преследователей и стал одним из преследуемых.

Так песенка *«Twist again»* десятибалльным штормом раскачала Венькину жизнь, и вот теперь он хотел баржу.

Убегая с той танцплощадки, он уговорил Толика Пижона показать ему, что такое по-настоящему стильный твист. Полночи они провели в скверике рядом с Венькиным домом. Испещренный призрачной тенью листвы, Толик мягко качался на полусогнутых ногах, скрипел гравием и повторял:

«Вот так, чувачок... Понял, как надо? Плавненько! Ну куда ты рвешь?.. И руками, как полотенцем обтирайся. Как будто оно у тебя за спиной. Туда и сюда... Как мочалкой...»

Венька страшно гордился своим знакомством с Пижоном и через два года, когда тот тоже решил на время «кинуть кости» в Москву, повел его в самые твистовые рестораны. Если бы Чабби Чеккерс узнал, что́ эти двое вытворяли на втором этаже «Будапешта», в кафе «Молодежное», в ресторане «Урал» на Петровке или в гостинице «Советская», он – сто процентов – бросил бы все свои дела в Штатах и примчался первым самолетом в Москву посмотреть на такой сейшн. Потому что это надо было увидеть. Взволнованный «пипл» выносил Веньку с Пижоном из этих мест на руках.

Именно Толик Пижон объяснил Веньке, что «чувак» расшифровывается как «человек, усвоивший высшую американскую культуру».

После той памятной ночи в скверике учебу Венька почти забросил, а вскоре поехал в Харьков на съезд стиляг, который проводила там совсем не комсомольская организация под названием «Голубая лошадь». Вернувшись оттуда, он решил, что ему пора самому играть твист.

Поскольку ни одним инструментом он не владел, ему пришлось для этой цели переманивать музыкантов из институтского духового оркестра. Состав получился немного пестрым, но твист поначалу хотели играть все. Венька день и ночь проводил на репетициях, голосом и движениями показывая «составу», как это всё должно быть. В итоге он так ловко научился изображать саксофон и ударные, что запросто мог бы выступать на концерте вместо них.

Иногда он так, в общем, и делал. Когда очередной музыкант, уставший от натиска и бесконечных репетиций, отправлял его к черту, Венька выбегал на сцену с саксофоном в руках и, не поднося его ко рту, начинал дудеть к полному восторгу своих поклонников. Состав, названный им «Волосатое стекло», почти мгновенно стал популярен во всех ленинградских институтах.

Но Венька упивался славой недолго. Ему захотелось электрогитару.

Один технический журнал сдуру опубликовал тогда статью какого-то пня из самодельщиков о том, как переделать акустическую гитару в электрический инструмент. При помощи телефонного устройства. Через две недели после выхода этой статьи ни в Москве, ни в Ленинграде не осталось ни одного работающего автомата.

Венька успел раскурочить семь. На восьмом его повязали и отвели в отделение, где уже сидело человек двадцать. Всех взяли в телефонных будках.

Когда его поперли из института, рядом с деканатом вывесили плакат: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». Напирая на свои прежние заслуги перед комсомолом, Венька умудрился добиться перевода, а не отчисления. Плакат он привез с собой в Москву и повесил в дворницкой у Петровича. Тому было все равно. Он сам вернулся с Колымы только из-за амнистии пятьдесят третьего года.

Познакомившись со мной и с Колькой в первый же день у нас на курсе, Венька усмехнулся над нашими просторными, как паруса из книги Александра Грина, штанами и сказал: «Ну что, лабухи, дремлет первопрестольная?»

И у нас с Колькой началась новая жизнь...

Перед семинаром по акушерству Венька затащил нас в пустую аудиторию и показал учебник по клинической психиатрии.

– Оцените, чуваки! Еле-еле библиотекаршу уболтал. Упиралась, как бык. Говорила – только для старшекурсников.

– А на фига он нам? – спросил Колька. – Там же нет ничего про кровеносную систему.

– И не надо! – усмехнулся Венька. – Устроим сегодня цирк. Зябликовой будет не до сосудов.

– В каком смысле цирк? – спросил я.

– В самом прямом. Открывайте главу «Симптомы шизофрении». Там всё, что нужно.

Колька автоматически взял книгу у него из рук и начал листать.

– Подождите, – сказал я. – Придуриваться, что ли, будем? Под сумасшедших?

– Поздравляю, – сказал Венька. – Допер наконец.

– Нет, я не буду.

Колька тоже замер и перестал шелестеть страницами.

– Пару воткнет – зачешешься, – пожал плечами Венька. – Но будет поздно. Не допустит к экзаменам – и трындец. А нам надо выиграть время. Я насчет баржи пока еще не до конца все решил. Целую ночь не спал. Про-

блема связи. Нужна будет рация. Иначе американцы нас будут слишком долго искать.

– Ты что, совсем сдурел?

– Пока еще нет. Но вот почитаю учебничек и сдурею.

Мы с Колькой молча стояли посреди аудитории, а Венька спокойно уселся за преподавательский стол и начал просматривать оглавление.

– Так... Абулия... Посмотрим, что у нас тут... «Ослабление и распад волевых процессов... В тяжелых случаях больной настолько пассивен, что не способен обслуживать сам себя»... Клёво... Что еще? «Парамимия – гримасничанье. Парапраксия – вычурные позы, походка, манекенообразность и угловатость движений, манерность жестов»... Чуваки, тут все про Зябликову. Вот по кому Кащенко плачет.

– Венька, ты что, серьезно? – спросил я.

– Подожди, подожди! Кажется, есть кое-что... Кататонические симптомы... «Мутизм – нарушение волевой сферы, выражающееся в остановке речи... Закупорка... Шперрунг»... Хм... Может, шперрунг попробовать? Название стильное... Но если просто молчать, она точно поставит пару. Откуда ей знать, что у меня шперрунг покатил? Подумает – молчит, и фиг с ним. Нет, надо что-то другое...

– Я пошел, – сказал я.

Венька поднял голову от учебника и, прищурившись, посмотрел на меня.

– Чего ты дрейфишь? Не хочешь прикалываться – не надо. Я один все сделаю. Сам потом скажешь спасибо.

Видя, что я не отхожу от двери, он добавил:

– Или стукнуть решил?

Остановился он на атактических расстройствах.

– Вот, чуваки. То, что надо... «Речь становится неконкретной, витиеватой, неуместно абстрактной и символичной. При прогрессировании речевых расстройств теряется логическая связь между блоками фраз и отдельными предложениями. Наконец, возникают логические нестыковки между отдельными словами»... Чуете? Песня, а не симптомы. Двинули на семинар! Весь вечер на арене клоун Бенджамин!

Не знаю, как Зябликовой, но остальным поначалу точно показалось, что у Веньки не все дома. Стоило ей войти в аудиторию и посмотреть в направлении нашей троицы, как он поднял руку и, не вставая с места, начал говорить. Он сообщил ей о том, что советская медицина совершила небывалый скачок в области гинекологии и акушерства; что забота о женщине и о новорожденных в нашей стране превысила все мировые показатели; что капиталистические страны в этой сфере значительно отстают от нас по производству цветных металлов на душу населения; что младенцы в США и в Европе появляются на свет с пятимесячной задержкой, но зато у каждого из них есть свой маячок в качестве компенсации; что его самого зовут Орландо Эстонский; что его замучил постоянный параллелепипед в голове; что буддистская драматургия в нем инкогнито сидит и что албанцы втихую пожирают его мозг...

– Ну и плевать, – сказал он, дождавшись нас на улице после семинара. – Подумаешь, выгнала! Зато пару никому не поставила. Держите учебник. Найдёте мне к понедельнику симптомы ПШД – постшизофренической депрессии. Я уезжаю.

– Куда? – в один голос произнесли мы с Колькой.

– Сказал же – рация будет нужна. У меня в Ленинграде кореш остался, радиолюбитель. И в мореходку зайду. Надо переговорить насчет навигации. Интересно, бывают баржи с мотором? Вы как думаете, чуваки?..

Вернувшись через три дня, он сообщил нам, что с рацией не покатило. Радиолюбителя месяц назад замели за приемничек, по которому он слушал «Голос Америки». И, хотя отпустили его почти сразу, он так перебздел, что по винтику разобрал всю свою аппаратуру.

– С космической скоростью, – пояснил Венька. – И все детали утопил в Неве.

Не успели мы с облегчением вздохнуть, как он огорошил нас новыми планами:

– Короче, летом двигаем на Дальний Восток. Там этих барж немерено. Отвяжем потихоньку и поплывем. Обойдемся без рации. Я к тому времени выучу карту океанских течений. Должна же быть такая карта. Или нет?

Но самое неожиданное, с чем он вернулся из Ленинграда, была песня. Мы уже две недели готовились к институтскому вечеру, на котором собирались танцевать твист, однако Венька решил теперь изменить программу. Изначально мы с ним вдвоем должны были лабать на сцене под Чабби Чеккерса, а Колька выходил в середине танца и начинал читать Маяковского. В том смысле, что мы с Венькой такие уроды, «золотая молодежь» и вообще дрянь, а всем надо типа идти на субботник. После стихотворения Колька бежал за кулисы и возвращался с метлой нашего дворника Петровича, которой прогонял нас со сцены.

Метла и Колькины прыжки с ней были очень важны, потому что иначе мы бы никогда не смогли сбацать твист при всем факультетском начальстве и не вылететь после этого из института. Колька и так появлялся на сцене довольно поздно. К его выходу на голове у декана волосы уже должны были стоять дыбом. Для нас это была единственная возможность показаться у себя в институте в том прикиде, в котором мы давили стиль на «Бродвее». Но Венька решил все отменить.

Он сказал:

– Будем петь буги. В обычном тряпье.

И мы стали петь буги.

А пока репетировали, он продолжал свою «шизоидную» войну с Зябликовой. Из того, что мы подобрали ему во время его поездки в Ленинград, он одобрил только депрессивно-дистимический вариант.

– ПШД, чуваки, должна быть полна грусти. Как песня Элвиса Пресли «Лав ми тендер, лав ми тру». На то она и ПШД.

На занятиях у Зябликовой он старательно имитировал меланхолический аффект, являя всему курсу образ вселенской скорби. Зябликова посмеивалась над ним и вслух сравнивала его с картинами Врубеля, но Венька не собирался сдаваться. Она предупредила, что положит конец серии его блестящих успехов во время экзаменов, а он ответил рассуждениями о бессмысленности жизни, об ощущении собственной малоценности, о том, что он вообще больше ни в чем не уверен, и о странном невыраженном чувстве вины перед своими близкими.

Ко всем этим переменам добавились наши новые имена. Венька заявил нам, что теперь мы будем называть друг друга, как те чуваки с баржи. По его мнению, это было клёво и вообще должно было сплотить нас, объединить, взбодрить и воодушевить.

Удивляясь про себя не столько самой идее, сколько количеству глаголов, я решил, что он все-таки слишком увлекся витиеватостью речи. Зябликовой в этот момент рядом с нами не наблюдалось. Впрочем, я тут же порадовался, что ему не пришло в голову ради тренировки поесть ремней. К этому я точно был не готов.

– Только я буду не просто Зиганшин, – добавил Венька, – а Зиганшн. Без буквы «и». Так вообще суперклёво. По-американски. И поется как рокн-ролл. Ты кем будешь, Колька?

– Поплавским, – сказал тот. – У отца есть один знакомый Поплавский. Генерал армии. В войну командовал стрелковой дивизией.

– Так, может, этот Поплавский его сын?

– Вряд ли. Он теперь в Польше живет. Командующий их сухопутными войсками.

– Клёво, – сказал Венька. – А ты, Саня, кем хочешь быть?

Мне вдруг опять вспомнился фильм «Небесный тихоход», и в голове у меня зазвучала песня «Махну серебряным тебе крылом».

– Я хочу быть Крючковым, – сказал я.

– А Федотовым?

– Нет, Крючковым.

– Ну смотри, – пожал он плечами. – А то был такой знаменитый художник. «Сватовство майора» нарисовал. И еще футболист.

– Футболиста я знаю, – сказал я. – А летчика не было? Боевого летчика?

– Насчет боевого – я, честно, не в курсе. Разве что летчик-испытатель. Но не уверен. Не буду врать.

– Тогда Крючковым.

– Договорились. Слушайте, чуваки, а может, четвертого найдем?..

На концерте наш номер поставили во втором отделении. Мы выступали сразу после танца узбекских хлопкоробов. За кулисами была страшная толкотня, и Веньку несколько раз выталкивали на сцену раньше времени. Оказываясь перед зрителями, он потешно раскланивался, и в зале благодарно смеялись. Им было скучно смотреть на танцующих первокурсниц. То есть сначала им было не очень скучно, потому что только что был антракт, и потому что девчонки все были с косичками, с сотней, наверное, косичек – непонятно, сколько времени они их заплетали, – но потом эти косички тоже достали всех. И тут, к счастью, Венька начал вываливаться из кулис.

Как стойкий оловянный солдатик.

А я к этому времени уже сильно устал и перенервничал. Выступление ректора и первая часть концерта заняли часа два. Все это время мы стояли за сценой и шепотом ругались друг с другом. Мне было странно, что Венька совсем не волнуется, а, наоборот, вовсю веселится, и я об этом ему говорил, но он беззвучно смеялся, показывал мне кулак и прокручивал у виска пальцем. Вот так прошло два часа. Потом объявили антракт и появились узбекские хлопкоробы.

Убегая со сцены, первокурсницы стукали Веньку и, как заведенные, повторяли: «Дурак!»

– Поехали! – крикнул он нам с Колькой.

Мы вышли на авансцену, и я немедленно вспомнил симптомы шизофрении из Венькиного учебника. Манекенообразность. Угловатость движений.

Это было про нас. И вычурность поз тоже. Все совпадало.

Стать шизофреником оказалось очень легко. Я, например, даже не представлял себе, что в нашем зале может уместиться столько народу.

– Шуба-дуба! – страшно закричал за кулисами Венька и выскочил вслед за нами.

В передних рядах кто-то свистнул, но туда сразу же двинулись от входа дружинники из институтского оперотряда. Досмотреть – чем кончилось, я не успел.

Венька, как барабанщик палочками, щелкнул три раза пальцами и весело задудел на своем невидимом саксофоне.

Это были вступительные аккорды к рок-н-роллу Элвиса Пресли *«My Blue Suede Shoes»*. Мы с Колькой качнули головами, но вместо:

One for the money,
Two for the show...

врезали совсем, совсем другое.

Когда после первого куплета в зале поднялся невообразимый крик и дружинники уже не знали, куда бросаться и кого хватать, я, наконец, понял, что должен был испытывать Венька в ту ночь, когда мчался на поезде к нам из Ленинграда в Москву, и как ему, наверное, не терпелось поделиться с нами этой замечательной, этой самой лучшей на свете песней.

Но самое главное – я понял, что испытывал Элвис.

Венька как сумасшедший дудел на своем «саксе», мы с Колькой трясли головами так, что они только чудом не отрывались от наших шей, а зал, завывая, уже повторял припев вместе с нами:

Зиганшин-буги,
Зиганшин-рок,
Зиганшин съел один сапог...

В какой-то момент я поймал взглядом совершенно белое от ужаса лицо декана, но его тут же закрыла от меня огромная спина человека с красной повязкой, и я продолжал своим уже практически сорванным голосом:

Как на Тихом океане
Тонет баржа с чуваками.
Чуваки не унывают,
Под гармошку рок лабают...

И зал опять в восторге ревел:

Зиганшин-буги,
Зиганшин-рок...

Когда мы подошли к последнему куплету, я на мгновение вдруг вспомнил наши споры с Венькой насчет того, надо ли его вообще петь, и теперь прямо на сцене успел удивиться своим глупым, никчемным сомнениям.

Конечно, надо!

И врезал:

Москва, Калуга, Лос-Анжелос
Объединились в один колхоз.
Зиганшин-буги,
Зиганшин-рок,
Зиганшин съел второй сапог!

То, что творилось за кулисами, когда мы ушли со сцены, словами описать невозможно. Примерно, как будто Гагарин слетал в космос еще раз. И опять – в первый.

«Узбекские» первокурсницы набросились на Веньку и начали его целовать, а он кричал: «Отвяжитесь, дуры!», смеялся и хватал их за плечи.

Никогда в жизни я больше не был так счастлив, как в тот момент. С годами я понял, что ощущение полного и абсолютного счастья вообще никогда не длится дольше минуты. Где-то в атмосфере или над ней происходит что-то никому непонятное, и всё на минуту соединяется, сходится, как стрелки на циферблате в двенадцать часов. И у тебя вдруг всё получилось.

Вот только до конца никогда не ясно – полдень это или все-таки полночь.

Нас всех троих тогда почти сразу отвели в деканат, и по дороге на третий этаж мы еще веселились, толкали друг друга на лестнице, а Венька повторял, чтобы мы всё валили на него одного, что песню из Ленинграда привез он и бригадмильцами его не испугаешь. Мы с Колькой мотали головами в знак своего отчаянного несогласия, потому что, с одной стороны, не могли возразить вслух из-за сорванных голосов, а с другой – были уверены, что разлучить нас троих уже ничто на свете не сможет. Но мы ошибались.

Некто по имени Олег Степанович уже поджидал нас в деканате. А с ним – доцент Зябликова. Которая неизвестно по какой причине сообщила ему о Венькиных фокусах. О «постшизофренической депрессии», о меланхолии, о неуверенности в себе. Быть может, она этим хотела нам всем помочь – неизвестно.

Поскольку она уже догадалась, что песня тут совсем ни при чем. Этого Олега Степановича интересовала наша затея с баржей.

Потом уже Венька выяснил, что стукнул на него тот самый знакомый радиолюбитель из Ленинграда, но в этот момент в деканате у нас было такое ощущение, как будто нас предал весь мир.

И в психушке, куда нас привезли через два часа, у меня было точно такое же ощущение. Даже еще хуже.

«...посредством купирующей терапии аминазином и галоперидолом», – сказал Олегу Степановичу главврач, и нас развели по палатам.

Забавно, но Веньке не было плохо даже в дурдоме. Он быстро подружился с главврачом, договорился, чтобы нам не делали никаких уколов, и целые дни проводил в палате у одной странной еврейки, которая попала сюда, пытаясь ночью зарезать своего мужа. Прямо в постели, пока тот спал.

Венька сказал нам, что она сделала это из религиозных соображений.

Но меня не очень интересовали его рассказы. На третий день в психушке опять появился Олег Степанович. На этот раз он вызвал для разговора одного меня.

Оказалось, что Колькин отец, Филипп Алексеевич, накануне чистил свой трофейный «Вальтер» и в результате несчастного случая погиб. У Василисы Егоровны, у которой было слабое сердце, случился обширный инфаркт и она скончалась в больнице. И вот теперь Олег Степанович хотел, чтобы я, как друг, рассказал обо всем этом Кольке.

– Ему будет легче услышать это от вас.

А я потом несколько дней ходил по больнице и думал: как же мне это сделать? Я вообще о многом думал тогда – о том, что было бы, если бы Колькины родители не повели себя так гостеприимно и Венька остался бы жить в каморке Петровича; о том, что Филипп Алексеевич не мог позабыть о патроне в стволе, потому что он всегда о нем помнил; о том, что будет теперь со мной, и о том, как странно это все складывается, – вот люди любят друг друга, а потом – раз! – и умирают в один день.

Но главное – я думал о том, как мне сказать Кольке.

●

Дмитрий ВЕДЕНЯПИН

Озарение Саид-Бабы

1

Вдруг начались серьезные дела.
Как бы погасли солнечные пятна.
Жизнь, что была, взяла и уплыла,
Как облако, немного безвозвратно.

На яблоне сидит «павлиний глаз»,
«Лимонницы» калитку украшают,
Мерцая, «адмирал» пустился в пляс...
Но бабочки уже не утешают.

Горит отдельно эта красота,
Отдельно птицы тенькают и вьются.
Старик в пенсне кричит: «Я сирота»,
Смешно кричит, и в зале все смеются.

Однажды, сорок лет тому назад,
Я тоже был один на целом свете:
Проснулся – дом молчит, и дачный сад
Молчит, пустой, и в нем сверкает ветер;

Мир обезлюдел; никакой мудрец,
Я точно знал, не сможет снять проклятье,
Пока между деревьев наконец
Не замелькало бабушкино платье.

Приходит страх, и смысл лишают прав.
Недаром в мире пауза повисла
Как грустная неправда тех, кто прав,
И стрекоза «большое коромысло».

В огромном черном городе зимой
Метет метель на площади Манежной,
И женщина, укрывшись с головой,
Лежит без сна в постели белоснежной.

Был смысл как смысл, вдруг – бац! – и вышел весь,
А в воздухе, как дым от сигареты,
Соткался знак, что дверь – не там, а здесь
В пещеру, где начертаны ответы

На все вопросы: о природе зла,
Путях добра и сокровенной цели
Всего вообще... Серьезные дела!
Я ж говорил! А вы: «Мели, Емеля».

2

Стеклянная дверь, ночь и лес звезд,
И просто лес, и море холмов, и просто
Море, и – меньше секунды (прост
Странный совет) нужно – не девяносто

(В том-то и дело!) лет, чтобы понять: судьба –
В буквах как звездах-снах в небе пустыни.
«Птица, кот и собака, – крикнул Саид-Баба, –
Вы свободны отныне!

Трусость, спесь и предвзятость мешали мне видеть свет, –
Спохватился Саид, от восторга шатаясь как пьяный, -
Вот и дверь, – ахнул он, – если так, может быть – разве нет? –
Просто дверью – стеклянной».

●

Борис ХАЗАНОВ

Долой историю, или О том, о сем

У меня хранится документ, подписанный вами триста восемьдесят два года назад. Этот документ не отменен... Там стоит подпись: Дракон.

Евг.Шварц

1

Мы начнем несколько издалека. По разным поводам, не имеющим отношения к теме этой статьи, я просматривал материалы о Волго-Вятском регионе, читал рассказы туристов о ландшафтах и достопримечательностях Костромской и бывшей Горьковской, ныне Нижегородской области, о лесах, куда некогда бежали раскольники, о плаванье на байдарках по Унже, по Луху, по Керженцу. Увлекательная литература! В Воскресенском районе Нижегородской области, неподалеку от села Владимирское, расположено легендарное озеро Светлояр. Кое-где сохранились остатки скитов. Путешественник может посетить старинный монастырь в Макарьеве, увидеть крестный ход и старушек, трогательно блюдущих древние обычаи.

Лет сорок назад старушки были молодками из нищих деревень, числились колхозницами и промышляли любовью и водкой, которую носили солдатам-охранникам. Только об этом они не помнят. Никто, ни местные жители, ни туристы, не вспоминает о том, что некогда здесь существовало обширное феодальное княжество со своим сувереном, вассалами, слугами, дружиной и крепостными. Княжество носило кодовое название ИТЛ «АЛ», иначе Унженский исправительно-трудовой лагерь, в просторечии Унжлаг. Оно было основано в тридцатых годах, сперва состояло в подчинении НКВД, а потом – ГУЛЛП, Главного управления лагерей лесной промышленности Министерства внутренних дел.

Кого и от чего исправлял Унжлаг, сказать трудно, однако известно, что заключенные выполняли важную народнохозяйственную задачу: поставляли высокоценные сортименты – рудничную стойку, авиасосну, авиафанеру, шпальник и прочие – для угольных шахт, где работали крепостные других княжеств, для военных заводов, где заключенные выполняли задачи оборонной промышленности, для лагерей, строивших в тайге и тундре города и железные дороги. Составы доставляли лагерную продукцию по железным дорогам в северные гавани, там заключенные грузили ее на океанские пароходы – лес шел на экспорт в чужие страны.

Размеры Унжлага были сравнимы с небольшой западноевропейской страной; он и сам был в своем роде государством, верным подобием Большого государства. Чтобы добраться от столицы лагеря Сухобезводное в Горьковской области до крайнего северного лаготделения в Костромской области с его головным лагпунктом Пыж, надо было ехать по лагерной железной дороге всю ночь. Найти эту железную дорогу нельзя было ни на одной карте – как и весь Унжлаг. Топонимы, восходящие ко временам татаро-монгольского ига, –

Колевец, Керженец, Лапшанга, Белый Лух – были названиями лагерных пунктов и подкомандировок. Где бродили лоси и медведи, где скрывались раскольники, там заключенные прорубали просеки, выволакивали на себе баланы из хлюпающей трясины, прокладывали усы – деревянные круглолежневые дороги для вывоза древесины, строили сторожевые вышки и проволочные заграждения для оцеплений, после чего армия строителей коммунизма вгрызалась в тайгу. Сколько людей лежит среди болот на полях захоронения, неизвестно, ныне опубликованная официальная статистика не внушает доверия. Великие князья, начальники центрального управления лагеря, сменявшие друг друга на протяжении десятилетий, – некий старший лейтенант внутренней службы Ф. Автономов, какой-то Ф. Озеров, полковник Г. Почтарев, инженер-майор Г. Иванов, майор Г. Щербаков, полковник Н. Алмазов, еще кто-то – покоятся в своих могилах. Дела давно минувших дней, история.

2

Можно вывесить над храмом истории предупреждение: кто старое помянет, тому глаз вон. Кому охота вспоминать о веревке в доме повешенного? История не преодолевается – она отменяется. Можно даже говорить об историческом процессе истребления истории. Нам приходилось видеть разнообразные проявления этого процесса, от выборочного выскабливания имен и событий до систематического переписывания прошлого, от подтасовок до мифологизации. Монструозный всадник перед зданием Исторического музея – не символ ли совсем недавней истории, превращенной в великодержавный миф?

Что такое история?

Услыхав этот детский вопрос, профессионал-историк пожмет плечами. Объяснит, что историческое знание есть именно знание, а не сказка, что оно предполагает задаваемый современностью вопрос, изучение источников и методически безупречный ответ. Но писатель (чья профессия – дилетант) смотрит на дело иначе. Писатель возразит, что древние считали историю не наукой в нашем нынешнем понимании, а искусством: хоровод муз, ведомый Аполлоном, замыкает муза истории Клио.

Мы получили историографию из рук античных историков, между тем каждый знает, что ее лучшие образцы – это прежде всего образцовая проза. Речь Перикла над телами павших, как ее передает Фукидид; рассказ Тита Ливия о переправе армии Ганнибала через Рону; сумрачный пафос Тацита (opus aggredior opimum casibus, «я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий...»). Но не только историография древности. Возьмете ли вы характеристику Цезаря у Теодора Моммзена, или Жанну д'Арк у Мишле, с ее «состраданием к Франции», или рассказ Ключевского о девочке из захолустного Цербста, которая стала матушкой-государыней Екатериной Второй, или портретные главы «Немецкой истории XIX и XX вв.» Голо Манна: что это, как не примеры высокоталантливой художественной словесности! «Лишь историография создает историю, – говорит Себастьян Гафнер («В тени истории», 1985). – История не есть реальность, история – это отрасль литературы».

Но ведь история все-таки не вымысел беллетриста, а нечто такое, что было на самом деле, о чем свидетельствуют документы, материальные памятники, археологические находки. История есть совокупность фактов, выстроенных в хронологическом порядке. История растолкует, почему то, что случилось, случилось так, а не иначе; разъяснит закономерности исторического развития. Чтобы окончательно закрепить за собой статус науки, история нуждается в фундаментальных концепциях, в общей теории. Всякая теория не только объясняет, но и прогнозирует; освещенный теорией, как ночная дорога – фарами автомобиля, исторический процесс в самом себе содержит собственное предопределение; история есть научно обоснованная судьба.

3

Мы знаем такие теории – по крайней мере слыхали о них. Одна из самых знаменитых книг только что ушедшего века открывается фразой: «Здесь впервые делается попытка предопределить историю». Шпенглер заблуждался: такие усилия уже предпринимались. Историософские концепции, попытки подобрать ключ к истории человечества, претензия истолковать прошлое с единой точки зрения и на этом основании предсказать будущее – все это было и до автора книги, которая в русском переводе не совсем точно, но эффектно называется «Закат Европы». Несчастье в том, что книга предсказала закат самих этих концепций.

Среди них – надо ли напоминать? – схема, предложенная в блестяще написанной, вышедшей в Брюсселе в 1848 году брошюре под названием «Коммунистический манифест». Вся прежняя история человечества, говорится в нем, была историей борьбы тех, кто, владея средствами производства, ничего не производит, и тех, кто производит, но ничем не владеет. Последним классом собственников-эксплуататоров является буржуазия, последний класс неимущих – пролетариат. Растущее противоречие между трудом и капиталом будет рано или поздно разрешено – чем раньше, тем лучше. Класс тунеядцев загнивает, дни буржуазии сочтены; пролетарская революция сметет стяжателей и эксплуататоров и установит бесклассовое общество. На смену царству необходимости придет царство свободы.

Автор «Заката Европы» явился со своим трактатом-пророчеством спустя семьдесят лет. Подобно Марксу и Энгельсу он все знает заранее. Но Маркс пророчил человечеству лучезарное будущее. Историософия Шпенглера дышит смертью. История общества есть история смены культурных организмов, в главных чертах они повторяют друг друга. Но, как и биологические организмы (ближайшая аналогия – растения), культуры самодостаточны, замкнуты в себе и – ничего не поделаешь – располагают ограниченным сроком жизни: возрастают, цветут, вянут и умирают. Истории известно восемь культур: египетская, греко-римская, индийская, китайская и другие; последняя, западноевропейская, иначе фаустовская, доживает свои дни. На очереди девятая, еще не состоявшаяся, русско-сибирская культура. Что ж, спасибо и на этом.

4

Здесь можно упомянуть еще несколько универсальных доктрин, например, выдвинутую незадолго до Шпенглера, но оставшуюся малоизвестной схему истории как цепи колец-звеньев: каждое звено замкнуто и вместе с тем связано с предыдущим и последующим. Имя автора этой теории – Ульрих фон Виламовиц-Меллендорф – знакомо каждому, кто занимался классической филологией. Не забудем и Константина Леонтьева, предвосхитившего многое из того, что было развито впоследствии то Ницше, то Шпенглером. Каждая цивилизация, по Леонтьеву, переживает один и тот же циклический процесс созревания, цветущей сложности, старческого смесительного упрощения и умирания. Такова судьба Западной Европы, то же в конце концов ждет и Россию. «Странное суеверие XIX века, – заметил по этому поводу С.С. Аверинцев, – согласно которому заимствованные из естественных наук сравнения немедленно приобретают силу доказательства в науках социальных».

Остается добавить к этому перечню – кого же? – Гитлера с его расово-кровяной историософией, как она представлена в хаотическом сочинении «Моя борьба». Здесь снова, уже в совершенно карикатурном исполнении, решающим аргументом служит биология. В главе XI первого тома, «Народ и раса», говорится, что железным законом всего живого является размножение, равно как и неравенство видов; при этом разные виды не смешиваются. То же самое народы и расы, для которых «кровь» служит определяющим фактором. Все живое утверждает себя не в смешении, если же таковое случается, последствия гибельны. «Исторический опыт дает этому бесчисленные доказатель-

ства... при всяком перемешивании крови арийцев с низшими расами в результате наступает конец носителей культуры». История человечества – это история борьбы, высшие расы противостоят низшим, раса, призванная побеждать и править миром, – германцы, раса, подлежащая искоренению, – евреи, и так далее.

5

Отцом всего этого систематизирующего и пророчествующего философствования был, разумеется, Гегель. Его диалектика и его историческое мышление, покорившее и поработившее XIX век, покоились на вере в исторический разум. Божественный промысел уступил место самодвижению мирового духа. Иудейская стрела приняла вид дорожного указателя с надписью «Прогресс».

Но мы помним, что нашелся ум, который не поддался этому совращению. Это был Артур Шопенгауэр, родившийся на десять лет позже Гегеля. Не более ста экземпляров его главного сочинения, выпущенного в конце 1818 года, было продано в первые полтора года, тираж пролежал еще пятнадцать лет без движения и пошел в макулатуру. Время Шопенгауэра еще не наступило. Он объявил цикл лекций в Берлинском университете, это был вызов: по настоянию философа лекции были назначены на те же часы, когда читал свой Hauptkolleg (академический курс) ординарный профессор Гегель. Двести пятьдесят студентов слушали Гегеля. Шопенгауэр вошел в аудиторию, где сидело пять человек.

Известно, какого мнения он был о Гегеле: шарлатан! Его система – ложь, абсурд, если она так популярна, то виноваты в этом ослы-профессора, и – «не современникам, не соотечественникам – человечеству вручаю я ныне завершенный труд мой, в уверенности, что оно оценит его значение». Этим скромным заявлением было предварено спустя четверть века второе издание трактата «Мир как воля и представление», теперь уже двухтомного.

Никакого разумного плана, никакого прогресса франкфуртский мыслитель не находит в истории; никакой закономерности, если не считать законом бесконечную смену масок на одном и том же кровавом карнавале. В великой и жалкой драме человечества меняются только декорации и костюмы.

Eadem, sed aliter – по-другому, но та же. Вот девиз истории, вот единственный урок, который можно из нее извлечь. Та же в смене эпох и событий – подобно тому, как всегда равна самой себе в круговороте объективаций безначальная, беспричинная, иррациональная сущность всего сущего – черное пламя мира: воля.

6

И все же: так хочется думать, что «все не напрасно»! Хочется говорить о борьбе прогрессивного с ретроградным, о постепенном росте благосостояния, о совершенствовании человека, о построении справедливого общества. Идет ли человечество к какому-то финалу или кружится по замкнутой кривой? Какая из двух моделей исторического процесса верна: иудейская стрела или греческий круг? Или, может быть, соединение двух чертежей, спираль Гегеля: кругами, но все выше и выше?

Историософские построения обладают свойством, которое сближает их с романами. Они заражают нас чем-то лежащим по ту сторону логики. Вдобавок они обладают насильственной тотальностью. Они всеобъемлющи и просты, потому что дают единый ответ на множество вопросов, предлагают окончательную разгадку.

В 1933 году, после нацистского переворота, 48-летний Эрнст Блох бежал в Швейцарию, оттуда перекочевал в Америку, где написал свой главный труд «Das Prinzip Hoffnung» («Принцип Надежда»), одну из самых завораживающих книг XX века. Огромное – 1600 страниц – сочинение представляет собой

и философский трактат, и род рапсодии, может напомнить книги Ницше. Но Блох отнюдь не следовал Ницше, своим учителем он считал Маркса.

После войны он вернулся, правда, не в Западную Германию, а в Восточную, и занял кафедру в Лейпциге. Он был превосходным лектором, блестящим говоруном, одним из тех, кто живет в замкнутом мире идей, похожем на роскошный заоблачный замок. Над этим замком реял флаг «первого социалистического государства на немецкой земле». Президент ГДР Вильгельм Пик наградил Блоха орденом. Вскоре, однако, начались неприятности, профессор оказался строптивым, был отставлен от должности, кончилось тем, что он снова эмигрировал, на этот раз в Федеративную республику. Здесь вышел в свет его труд.

Философия Блоха представляет собой попытку соединить Гегеля с утопией иудаизма – Царством Божьим на земле – и привести все вместе в единую систему с помощью диалектического материализма. Человек победит социальное отчуждение, и тогда – что тогда? Гигантский опус, обетование надежды, заканчивается такими словами:

«Человек все еще живет в своей предыстории, собственно говоря – даже до сотворения мира, подлинного мира. Настоящая Книга Бытия пишется не в начале, а в конце – когда общество и бытие станут радикальными, то есть – буквально – доберутся до самых корней. Корень же истории есть трудящийся человек, творящий, преобразующий и перешагивающий наличные данности. И когда он овладеет собой и утвердит себя и свое достояние без всякого отчуждения, не уступая своих прав, в реальной демократии, – вот тогда в мире возникнет нечто такое, что, мнится, осталось в детстве, земля, где никто еще никогда не бывал: родина».

Какие слова!

Хочется в батистовый платочек
Высморкать прекрасные мечты.

(Из юношеского стихотворения Якова Сергина, 1929–2002).

7

За всем этим слышится какой-то плач. Блоха уже давно нет в живых, нет многих и славных, а их ученики и наследники сидят вокруг пепелища. Праздник утопической мысли отшумел, и нужно довольствоваться скучной обыденщиной, суровой прозой. Скучно жить в обществе, где задают тон не мечтатели и пророки, а бизнесмены. Тошно просыпаться утром в понедельник, когда за окнами брезжит XXI век. И это еще хорошо, если ждет обыденное существование...

Дело не в том, что всемирно-исторический прогноз Маркса и Энгельса провалился – как и всякий другой. Дело идет о крушении веры в исторический разум. Метаисторические построения молчаливо исходили из постулата, что в истории кроется некий смысл, ratio, Sinn, raison. Этот смысл, эту разумную необходимость они должны были открыть и продемонстрировать. Иначе говоря, *оправдать* историю.

Что такое оправдание? Обоснование целесообразности, закономерности, справедливости. Что такое смысл?

В Четвертом евангелии сказано: в начале был Логос. О том, что означает греческое слово, написаны фолианты. Обычное объяснение – Слово и Смысл. В русском толковом словаре говорится: смысл – это внутреннее логическое содержание, значение, постигаемое разумом. По Людвигу Витгенштейну, смысл мира должен лежать вне мира.

Последняя фраза как будто обесценивает историософию. Ведь и Маркс, и Шпенглер, и кто там еще – хотели убедить нас в том, что смысл истории не есть нечто привнесенное извне, но лишь расшифровка того, что содержится в ней самой. Смысл имманентен истории. Какой же?

Никакой, ответил пророк мировой воли, но приходится возразить и Шопенгауэру. История не вечно одна и та же, и, например, время, в котором нас угораздило родиться и жить, демонстрирует кое-что новое. За спиной у нас уже не XIX век, а XX-й, с ним пришло то, о чем не ведали прежде. Явились концентрационные лагеря.

Явилось тоталитарное государство. Народились «массы» (прежде называвшиеся народом), для которых вездесущая пропаганда, лживая по определению, оснащенная новейшей технологией массовой дезинформации и всеобщего оглупления, заменила религиозную веру. Почувствовалось повсеместное присутствие тайной полиции, государства в государстве. Расцвел культ ублюдочных вождей. Оказалось недостаточным одной мировой войны, разразилась вторая. Ничего подобного никогда не бывало. Апокалиптические разрушения, астрономические цифры жертв. Стало возможным в считанные минуты уничтожить с воздуха целый город, плоды труда и культуры многих поколений. Стало возможным, руководствуясь безумной теорией, истребить в короткий срок, с помощью специально сконструированных газовых камер и печей, шесть миллионов мужчин, женщин, детей и стариков. И так далее. Спрашивается: во имя чего?

Для всего нашлись объяснения, всему были свои причины. Все – казалось бы – тщательно обдумано и расчислено. Построено на рациональных основаниях, распланировано, бюрократизировано, оснащено изумительными достижениями техники, санкционировано идеологией, выдающей себя за науку. Но за этой техникой и наукой, логикой и организацией скрывается пустота – черный провал. Двигаясь назад по цепочке причин, следствий, оснований для поводов и причин для причин, мы в конечном итоге наталкиваемся на абсурд.

8

Ближайшей иллюстрацией может служить отечественная история. Эмиль Чоран говорит о том, что «дьявол – это полномочный представитель демиурга... ангел, на которого возложена грязная работа вершить историю» («Злой демиург», пер. Нат. Мавлевич). Стоит только оглянуться на последние восемь – десять десятилетий. Сгнившая монархия и безумная мировая война четырнадцатого года, в которую неизвестно зачем ввязалась Россия. Военное поражение и спровоцированная войной революция как возмездие за обветшалый, изживший себя политический и социальный строй, как месть ничем не желавшему поступиться, ничего не желавшему менять правящему классу. Октябрьский переворот, этот российский термидор, гражданская война, еще яростней, еще ожесточенней, чем мировая. Голод, разруха, массовое бегство за границу; новый порядок, рядом с которым старые времена стали казаться каким-то потерянным раем. Чернь, дорвавшаяся до власти, режим бессмысленных жертв, опустошения культуры, злодеяний неслыханных в русской истории, отнюдь не образцовой по части христианской человечности.

Дела давно минувших дней, история... Но она продолжается – кровавой бессмыслицей Афганистана, Чечни.

Есть любопытная страница в «Размышлениях о мировой истории» Якоба Буркхардта, швейцарского историка культуры и искусства: он делит исторические события на счастливые и несчастливые. Это деление более или менее удается, пока речь идет о древности, о Средних веках, даже о Новом времени. Но чем ближе к современности, тем решить труднее, слишком часто последствия противоположны тому, что ожидалось. Слишком часто историк сталкивается с тем, что можно назвать коварством истории. Не говоря уже о самих участниках событий: ведь никто так плохо не знает свое время, как тот, кто в нем живет.

На этом фоне победа в войне 1941–1945 гг. выглядит единственным по-настоящему достойным того, чтобы им гордиться, событием. Счастливым? Да, конечно. Страшно подумать, что стало бы со всей страной, со всеми нами, если бы не победа. И все-таки... Тот, кто помнит 9 мая 1945 года в Москве, эти счастливые толпы, песни, танцы на улицах, объятия, слезы, это небывалое и

никогда больше не повторившееся чувство, что все страшное позади, все прекрасное впереди, тот, у кого этот день, как у меня, все еще стоит перед глазами, будет, наверное, возмущен, если ему станут возражать. Если скажут, что победа мало чем отличалась от поражения, может быть, самого страшного за всю тысячелетнюю историю нашей страны. Ибо эта победа была оплачена ценой, сопоставимой с той, которую заплатил агрессор за свое нападение, и повлекла за собой последствия, каких мало кто ожидал.

9

Вот она, дилемма Буркхардта, никак не решаемая, а вернее, решаемая так, что лучше бы ее не предлагать вовсе. Тогда, в мае 1945-го, газеты называли Сталина Спасителем с большой буквы – он отождествил себя с Христом.

Война, докатившаяся до Москвы и Сталинграда, закончилась в Берлине, на Эльбе и в Северной Италии. Война привела к расчленению Третьей империи, дала возможность отхватить изрядный кусок Польши, аннексировать Восточную Пруссию, создать послушные Советскому Союзу тоталитарные режимы в государствах Восточной и Центральной Европы. В конце концов она превратила СССР во вторую великую державу. Кто спорит? Но это был триумф разбитого и обескровленного победителя.

Многие десятилетия война была спасительным якорем пропаганды. Можно было с успехом списывать на войну все долги. Сославшись на военные трудности, оправдывать все ошибки и преступления. Победителей не судят, не так ли?

Нам говорили, что колоссальные жертвы, принесенные ради победы, оправданы победой, что в конце концов никакая цена не была слишком высокой, жертвы неизбежны, необходимы. Не вернее ли будет сказать, что гибель миллионов людей была нужна по понятиям советского режима и его вождя, не знавшего иных методов решения военных задач; что жертвы оказались непомерны не только потому, что страна испытала небывалое в ее истории нашествие, но и потому, что в стране существовал этот режим и страной управлял Сталин. Абсурд нашел свое воплощение, свою персонификацию.

Многие задавались вопросом: почему удалось победить? Причин, вероятно, много, но ответ один – потому что военачальники не щадили солдат. Жестокость высшего руководства не знала границ. Американцы, даже немцы, по возможности берегли живую силу. Советские командиры, от высших до низших, знали: невыполнение приказа грозит опалой, трибуналом, смертью. Выигрыш должен быть достигнут ценою любых жертв. Такой подход был основан на молчаливом – и, разумеется, спорном – допущении, что другим способом, не столь дорогой ценой одолеть врага не удалось бы. Шапками закидаем! Людские ресурсы России неисчерпаемы. Они, однако, оказались почти исчерпаны. И мы знаем, что последствия катастрофы не изжиты до сих пор.

Вождь, не имевший военного опыта и образования, надел погоны маршала, а затем стал генералиссимусом, полагая, что таким способом он сравняется с Суворовым; на самом деле он оказался в одной компании с генералиссимусом Чан Кайши и диктатором микроскопической Доминиканской республики генералиссимусом Трухильо. Вождь объявил себя «величайшим полководцем всех времен и народов» – буквально так же именовался Адольф: größter Feldherr aller Zeiten.

Правитель, облеченный всей полнотой власти, должен нести и всю полноту ответственности. Этот спаситель объяснял неудачи первых военных месяцев внезапностью нападения, и никто не смел возразить, что неожиданность и неподготовленность как раз и были самым оглушительным свидетельством его военной и политической несостоятельности. Недолговечная дружба с нацистской Германией была одним из его самых печальных просчетов, не говоря уже о постыдности этой дружбы. Узнав о вторжении, он исчез, и почти две недели никто не знал, где он. Этот полководец ни разу не был на фронте. Многие и сегодня думают, что он выступил 7 ноября 1941 года на параде перед войсками, которым предстояло отправиться на фронт. Парад состоял-

ся, но вождь на нем не присутствовал; то, что было показано в кино, – Сталин в шинели на трибуне мавзолея, – было инсценировкой в студии.

Лживая пропаганда (другой не бывает) убедила народ и самого вождя в том, что от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней. Один просчет повлек за собой другой. Армия ввязалась в открытые бои с явно превосходящими силами врага, вместо того чтобы использовать преимущество России – колоссальную глубину ее тыла, как это сделали в 1812 году Барклай де Толли и Кутузов. Ошибка стоила Красной Армии неисчислимых потерь. К концу декабря сорок первого года передовые части армейской группы вермахта «Центр» оказались в двадцати километрах от Кремля. Врага удалось отогнать. Но вождь приказал наступать на всем гигантском фронте от севера до юга, и результат был прискорбен. Весной Верховный главнокомандующий отдал приказ о новом большом наступлении на Юге; кончилось тем, что вермахт опрокинул Красную Армию и на всех парах понесся по степям к Кавказу и Волге. Неисчислимое множество молодых солдат погибло в последние дни войны в Берлине только потому, что город, заведомо обреченный, лишенный подвоза и задыхающийся в дыму пожаров, надо было взять непременно к 1 Мая. Надо было рапортовать вождю, что знамя победы водружено над рейхстагом. Почему именно над рейхстагом? Опустевшая руина, бывший парламент, который в гитлеровском государстве не играл никакой роли, почему он должен был выглядеть как конечный пункт и символ победы, почему не подлинное сердце нацистского режима – помпезная Имперская канцелярия, почему не Бранденбургские ворота? Это осталось загадкой.

10

Сова Минервы расправляет крылья на закате. Мы, конечно, не умней и не проницательней наших отцов, но у нас есть то преимущество, что мы пришли позже. И наша оглядка на военное и послевоенное прошлое не может не отличаться от стереотипа, который пропаганда внушила трем поколениям советских граждан. Триумф оказался мало отличим от поражения и потому, что не оправдались надежды и ожидания, связанные с победой. Напротив: ее результатом было новое ужесточение режима. Ни о каких реформах не могло быть и речи. Вождь известил свой народ о том, что капиталистическое окружение сохраняется, – это была условная формула, сигнал к возобновлению террора. Растущий, как на дрожжах, аппарат тайной полиции поглощал все новые отрасли – военные, идеологические и хозяйственные. Тайная полиция переросла сама себя. Эта универсальная организация выполняла и сыскные, и следственные, и псевдосудебные, и карательные функции, служила одновременно инструментом тотального контроля и устрашения и рычагом экономики. Органы безопасности гребли рабочую силу из лагерей советских военнопленных и в бывших оккупированных областях; для той же цели был изобретен указ о «расхищении социалистической собственности» и использован на всю катушку: 25 лет и 5 «по рогам». Поезда с заключенными непрерывно поставляли трудовые контингенты для концлагерей. Ничего другого, чтобы заставить людей работать, режим придумать не мог, принудительный труд в той или иной форме вытекал из его природы, был условием его существования. Тотальная пропаганда превзошла все прежние достижения. Воспевание вождя, истерический культ приняли характер какого-то массового безумия. Еще далеко было до агонии режима, до гниения заживо в семидесятых и восьмидесятых годах, и все же это было началом конца.

Через пятьдесят лет после смерти Иосифа Сталина мы спрашиваем, что осталось от вождя. Осталась память о победе, которую он приписал себе. Остались сочинения, поражающие убогостью мысли и языка. Остались воспоминания о нищете и голоде, о двадцати миллионах расстрелянных, замученных, закопанных на гигантских полях захоронений, погибших на этапах, в концлагерях и ссылках. Осталась толпа почитателей, с морковными знаменами, с нестареющим портретом на палке. Остались сапоги.

11

Забыть, забыть этот кошмар... Кто старое помянет... Вот тайная подоплека всеобщего желания отгородиться от прошлого утешительной мифологией, откреститься от монстра, враждебного человеку, – от истории.

У истории есть фактотум, мальчик на побегушках; для краткости назовем его политикой. На фоне живой, реальной жизни, той жизни, которой живет каждый нормальный человек, политика представляется чем-то мнимым. Но этот фантом обладает неслыханной властью. Эта власть чудовищно раздулась за последние сто или сто пятьдесят лет. Никогда еще политике не удавалось так успешно побеждать живую жизнь.

Никогда прежде зловещие абстракции – История, Нация, Держава и как они там еще называются – не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость человеческой жизни не падала так низко. В девятнадцатом столетии говорилось об отчуждении человека-производителя от производства. В двадцатом обозначилось отчуждение человека от истории.

Политики заботятся о человеке. Так они по крайней мере говорят. Об этом твердят они на трибунах и в телестудиях. Что из этого получается, хорошо известно. Под натиском политики ваше существование, ваши заботы, чувства, любовь, семья – все, что по-настоящему ценно и дорого, что составляет реальную жизнь человека, – не стоит ровным счетом ничего. С человеческой точки зрения частная, интимная жизнь и есть подлинная жизнь. С точки зрения истории и политики она значит не больше, чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви, корилки сдирают кору. Лагерные лошади выволакивают голые стволы с делянок на лесосклады. Зеленый убор сгорает на кострах. Остаются кладбища пней и поля черного праха.

Перед лицом истории вы ничто. Вы абсолютно бессильны. Вы, как муравей в щелях и трещинах лживой, политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального достояния, размалеванной, словно труп в палисандровом гробу, навязанной вам истории. Она преследует вас повсюду: помпезными памятниками на улицах, парадированием войск, болтовней домашнего экрана, газетной дребеденью, ангажированной публицистикой и псевдолитературой.

«Что вы хотите сказать? – не понял мистер Дизи.

Он сделал шаг вперед и остановился, челюсть косо отвисла в недумении. И это мудрая старость? Он ждет, пока я ему скажу.

– История, – произнес Стивен, – это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться». («Улисс», гл.3. Перевод В.Хинкиса).

12

Говорят, Джойс, услыхав о том, что началась мировая война, сказал: а как же мой роман?.. Книга, действие которой укладывается в один-единственный день, четверг 16 июня 1904 года, была, как известно, опубликована после войны; книга рассказывает о блужданиях по городу некоего агента по рассылке рекламных объявлений: Леопольд Блум – дублинский еврей, совершенно незначительная личность, но за спиной у него – тень бессмертного скитальца Одиссея. Книга представляет собой реализацию тезиса, приведенного выше: история как кошмарный сон; и хорошо бы наконец от него пробудиться.

Легко сказать!

Игнорировать историю? Но семена, сыплющиеся на жернова, не могут «игнорировать» мельницу.

Бежать? Из своего века не убежишь.

В одном английском стихотворении Бродского сказано:

As you're adjusting your tie,
People die.

«Ты поправляешь галстук, а в это время умирают люди».

И вдобавок нам твердят, что мы жили или живем в «великое время». Были ли когда-нибудь невеликие времена?

13

Возможно ли (прежде это удавалось) связать то, что никак не связывается, соединить два времени, историческое и человеческое, найти волшебное уравнение литературы – нечто сравнимое с физическим соотношением неопределенностей Гейзенберга?

Что делать русской литературе – той ее части, которая существует в России, и той, которая вегетирует за рубежом, что делать литературе, которая в конце концов ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только индивидуальной, тайной, внутренней, интимной жизнью человека, – литературе, для которой нет великих и малых и слезинка ребенка дороже счастья человечества, не говоря уже о том, что и счастье-то оказалось мнимым?

Как всякое искусство, литература существует ради самой себя, другими словами – ради человека. Литература абсолютна: человеческая личность – ее абсолют. Человек не как представитель чего-то, будь то профессия, социальный слой, общество или нация, – но прежде всего человек сам по себе, «просто так», хоть он и живет – где же ему еще жить? – в своем веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и приковали его к себе общество и государство и сочли его своей собственностью. Фет на вопрос, к какому народу он хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к какому».

Если художественная литература несет какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (чаще всего не хочет). Но так он устроен. Такова природа существа, наделенного индивидуальным сознанием; литература же, по выражению Сьюзен Зонтаг, есть воплощенное сознание. Человек заперт в своей свободе. Человек постольку человек, поскольку он свободен; литература напоминает ему об этой – иллюзорной, как может показаться, – свободе.

Литература есть воплощение его достоинства – в этом ее скрытый пафос. В этом, может быть, и ее последнее оправдание. То, чего не добилась религия, чему не смогла научить гуманистическая философия, взваливает на свои плечи художественная литература.

Твердить посреди сумасшедшего дома истории об абсолютном приоритете человеческой личности? Это звучит риторически. Между тем это то самое, чем наше скромное ремесло занималось со времен Гомера. Писатель живет в своем времени и вопреки ему. Литература не аполитична, она *над*-политична. В старом романе Виктора Гюго, читанном в детстве, командир отряда санкюлотов грозно спрашивает женщину, которая бежит куда-то, подхватив детей, спасается: ты с кем, гражданка? С Революцией или со старым режимом? Я с моими детьми, отвечает она. Я с тобой, говорит писатель. Литература есть последнее убежище человечности. А великие исторические и патриотические задачи оставим журналистам.

●

Сергей СОЛОУХ

Коллеги

ПРАВЫЙ ЛЕВИН

Все счастливые семьи
похожи друг на друга.
Л.Н. Толстой

Любому сочинителю всегда понятны и близки предшественники. Они живут в его плоти и крови, внутри, поэтому совершенно свои. Конечны и очевидны.

Современники где-то там, снаружи, пугающе непредсказуемы, как варианты новых геометрических построений на множестве звездных точек ночи.

Инородные фигуры. Марсиане.

Тем поразительнее совпадение. Цвет, группа крови, химический состав вдыхаемой и выдыхаемой воздушной смеси. Я ведь тоже родился в маленьком городе, Ленинск-Кузнецкий, бывшее Кольчугино. Точно в середине западносибирской неизменности. А жена моя, Ольга, в Анжеро-Судженске, на транссибирской железной дороге. Мой отец – беглый белорусский еврей, ее – сын башкирских кулаков, спецпереселенец. Нас с детства окружали люди с двумя высшими образованиями.

Московский университет, Южкузбасслаг.

Первый украинский фронт, СибУЛОН.

Надо ли говорить, что роман-идиллию Александра Чудакова я читал запоем. Хотя, казалось, и давно физически на такое не способен. Даже вино цежу, пью долго, медленно, глядя в окно и разговаривая. А тут буквально залпом. Стакан за стаканом. Невероятно.

Но, впрочем, Боже мой, это, конечно, сопли, слюни, непрофессиональный разговор. Песня «Пой, ласточка, пой» тоже бередит душу, но со стихами Мандельштама никак не соотносится. Вопрос, который оказался однозначным для Букеровского жюри, решением окончательным этого же самого синклита не снят. Наоборот, открыт и требует ответа. Что перед нами, проза или нет? «Ложится мгла на старые ступени» – роман или записки антрополога, дневник историка, отчет путешественника по времени воображаемому Императорскому Географическому обществу?

Ответим. Начнем с того, чем, по всей видимости, закончила шестерка судей. С отсутствия сюжета. Два, три стежка трифоновскими нитками даже не намечают, слегка только обозначают типичный городской конфликт наследников. Они не в счет. Пальто не сшито все равно. Отдельно рукава, отдельно хлястик. Подкладка на столе, а пуговицами играет дочь. Ну и отлично. На самом деле в сюжете нет никакой нужды. Для современного романа необходимость в хребте завязки и развязки отпала с изобретением телевизора. Стала опциональной. Проза больше не обязана копировать часовой механизм, где все колесики жестко и однозначно сцеплены. Компьютерные спецэффекты лишили очарования старый фокус. Секрет в другом. Человека эпохи беспроводной связи и коммутируемого доступа может завораживать только одно – подлинное чувство. Только оно может порождать художественный текст на-

шего времени. Не кованые ребра скелета делают ныне роман, а невидимое электричество натянутых нервов. Попросту лирика, которой переполнен текст Чудакова, как воздух летнего леса свистом и стрекотом прямо- и перепончатокрылых.

Роман о смерти. О русской смерти. Он только так и мог быть написан, организован грядками, как огород. С ботвой, цветами и собакой. Он заканчивается там, где начинается французский. И это как всегда не поняли люди с одним образованием. Филологическим.

Но, впрочем, снова не о том! В конце концов ведь правда прозы не в медалях и триумфальных лентах. Она в образе. И здесь главная победа Александра Павловича Чудакова. Он проиграл «Букера», но выиграл у Толстого. У графа Льва Николаевича.

Ходульный Левин, убогий Левин, столь же нелепый, как сапоги, что под расписку яснополянский дед навялил, всучил слабовольному Фету. Гадость. Наказание за счастье вкушать главы о несравненном Стиве. Картонный человечек, порождение ума, не сердца.

Типичный случай, когда обрести правоту, живым стать можно только через расстрел, повешение, колесование.

«В Чебачинск! В Чебачинск!» – должны были кричать чеховские сестры. Москва – неверное направление. Русское благородное сословие в девятнадцатом, двадцатом веках делало все, чтобы погибнуть. Никто только не мог понять: зачем? Теперь нам объяснили: чтоб по-толстовски духом и делом доказать свое величие и благородство.

Вот как. Теория соединяется с практикой на границе Сибири и Казахстана. Левин варит мыло и садит морковь. А его умница-внук сочиняет правильную «Анну Каренину». Пусть только одну треть, пусть четверть книги книг, но это уже счастье, которого сам себе только и может пожелать любой пишущий по-русски. По-чешски, по-китайски, по-немецки. Неважно. Просто любящий жизнь.

ПАРАСОЛЬКА

Я всегда радовался тому, что не родился на Украине. Не оказался каким-нибудь Изей Львовичем Мордюховичем из города Станислава. И не должен поэтому зонт называть парасолькой, как конюх пана Потоцкого.

Стыдно сознаться! Но наказание за глупость и высокомерие все равно пришло. Писатель Клех не поленился. Дзекуе. Поставил все-таки меня в галицкий угол. Заставил восхититься выражением «космический харч».

Именно так. Честное слово. Мистикой, белыми аистами с черной отметиной, витражами и карпатской кафкианой, усами и песнями сечевиков меня, сибирского пельменя (три части свинины, две части говядины и лука, лука от души), как ни старайся, не тронешь, не возьмешь. Не стану сидеть с открытым ртом, и все тут.

Я должен щупать. Нюхать. Рассматривать. Бесплотный дух мне непонятен. И неприятен. Для меня вещь, только вещь одухотворена. Прекрасна и волшебна в своей определенности. Каждая штука на белом свете. А Клех умеет эти штуки подсовывать под самый нос, прямо в руку вкладывать, бросать за шиворот и к пузу прижимать. Вот как.

Удивительный дар. Способность превращаться в одно из чувств. Собаки, кошки, муравья и стрекозы. К предметам подходить много, много ближе, чем это дано обыкновенному человеку. На расстояние прозрачной лапки и нежного усика. В этих запредельных, пограничных точках счастливо являются писателю невиданные цвета, неслыханные звуки и открывается наука геометрия, непостижимая для разума двуногих. Абсолютно иррациональная конкретность. От которой мурашки бегут по коже.

Что поразительно, при этом мистика лесов и гор присутствует, реют над Клехом аисты, скачут гуцулы и пишет Бруно Шульц, журчат реки Полесья, стоят костелы Львова, шумит та самая карпатская пурга, что мне, сибирскому валенку (на два кило картошки пакет лисичек и лука, лука не жалеть), чужда и

подозрительна по определению. А результат вне времени, национальности и географии. Как слово Коперника.

Вы открыли закон всемирного тяготения. Второй закон термодинамики. Это самое лестное и замечательное, что можно только сказать о писателе и его слове. Сравнить сочинителя с математиком и астрономом. Иметь на это право. Беллетрист завидует Конан Дойлю. Настоящий поэт – только Галилею. Радость узнавания способствует хорошему сну читателя. А радость открытия умножает обаяние. Превращает читателя в птицу, рыбу и юркую ящерицу. Делает равным автору. Если, конечно, он Игорь Клех.

Что касается меня, сибирского котелка (огурчик покрошить, яичко, кислый квас и лука, лука с черемшой побольше), то мой предел – все тот же Изя Львович. Метр с кепкой Мордюхович. И ладно, я не жалуюсь!

Ведь парасолька, как выяснилось, просто время солить борщ и гулять в ночном тумане по росе. Счастливая сказка о Парасе и Ольке.

Две нотки соль, ни бемоли и диеза, а гамма, целый мир, фортепианный аршин, разбегающийся во все стороны бесконечного и неисчислимого предметами своими света.

И каждый чист, прекрасен и неповторим. Sztuka.

ПИСАТЕЛЬ С ДЕТСКОЙ ФАМИЛИЕЙ

Был когда-то, то есть писал хорошо, чудесный сочинитель В.П. Аксенов. Про местных хулиганов и бесконечную дорогу на Луну. Легко и жизнерадостно. А потом как-то неожиданно «босоногое детство» у него стало «голожопочным». Таких слов не бывает в инструкции по пользованию катапультой. И в руководстве по запуску перпетуум-мобиле подобных не найти. Другой жанр. Неинтересный. Массовый.

А хочется по-прежнему индивидуального. Ясного и светлого. Как наставление по игре в баскетбол за ленинградский «Спартак». Ведь в жизни всегда есть место четкому стуку и тихому звону. Такая уж у человеков физиология. Схема перетоков жизненных веществ. Главная муза хорошей литературы.

Критика чистого разума и теория прибавочной стоимости, идеи вообще – разъединяют. А внешняя схожесть и функциональное подобие сердечно-сосудистых систем, наоборот, объединяют. Не буквы на скрижалях, а тайна обмена веществ в собственном организме приводит человека к мысли о том, что себе подобных надо любить.

Надо быть добрым, черт побери. Просто потому, что умрешь. И друзья твои умрут, и подруги. И враги, конечно. Которые, понятно, не враги, а так. Просто ненужных, нехудожественных книжек начитались или не ели никогда немытых лесных ягод на ночь.

А хорошая литература – это постоянство. Сказка на сон грядущий. Всегда одна и та же, только слова меняются. Как в биографиях Гагарина, Титова, Терешковой и Джона Гленна. Я рад, что у нас снова есть сочинитель простых историй. Оле Лукойе. Писатель с настоящей, правильной фамилией. Детской, не испорченной каким-нибудь лысым логопедом. Андрей Геласимов.

У синеглазых и нескладных все как у больших, которые с паспортом и удостоверением, все так же, но только по правде. Потому что еще не пришлось ни разу предавать, воровать, убивать, а равно быть преданными, обворованными и убитыми. Романтика и вера праведных красит. И вообще они милы, прекрасны в любом виде – щенки, котята, жеребята, пионеры.

Их только трудно, очень трудно разговорить. А вот Геласимов умеет. Все же, наверное, Андрею помогает славная фамилия. Его, почти сорокалетнего, принимают за своего скворцы, щеглы и юные футболисты. Существа с законным правом на румянец. На марки острова Маврикий и резиномоторный планер. Счастливцы, которым знакома мышечная радость и сердечная печаль. Основа философии любви и равенства, рожденной, освященной единством кожно-гальванических и соматических реакций людиков и звериков.

Это здорово, что с нами кто-то снова говорит хорошим, ясным языком, ничто не радует так душу, как короткие, простые предложения журнала «Моделист-конструктор». Самого элитарного издания из всех. Там ни Сорокин, ни Проханов напечататься не могут. Кишка тонка. Нужно по меньшей мере знать, как и почему работают тиристор и транзистор.

Андрей Геласимов знает. Конечно. Он, может быть, во взрослой жизни не очень разбирается. Он явно не трудился никогда на режимном предприятии и не видел серого, напрочь лишенного картинок журнала «Коммунист», однако нет никаких сомнений, что правота за ним.

Конечно. Да.

Поскольку, потому, что кто-то должен, обязан постоянно, ежедневно нам всем напоминать, что мы умрем. Исчезнем.

То есть на самом деле нет. Никогда. Если, конечно, только захотим.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ПАЛЬЦА

Я ср...ть сюда пришел,
Но ср...ть не стану,
Свободу я потребую
Луису Корвалану.

Писателя с приятной, артистической внешностью обвинили в изготовлении порнографии. Это унизительно и обидно. Человек всю свою жизнь делал фальшивые деньги. Переставлял нули и единицы. Подобно Мичурину, Стаханову и летчице Гризодубовой умножал народное богатство.

По крайней мере создавал иллюзию, как станция метро «Арбатская-кольцевая» и высотное здание на Садовой-Кудринской. А тут раз, вдруг, ниоткуда такая беспонтовая, подзаборная статья. Это нечестно.

Ведь никакой грязи. Только клей и ножницы. Метод называется «деконструкция». Некоторые думают, что его изобрел Билл Гейтс. Несчастное поколение мягкий знак. Более подкованные, продвинутые граждане уверены, что деконструкцию придумали французы. Такая хитрая нация. Парикмахеры. Плодиться не хотели. Чресла берегли. Надеялись мир перекроить одним шиньоном и щипцами для завивки. Увы, это чудовищное заблуждение. Механистическое по сути, расистское по содержанию. Ведь лягушатники дали человечеству в двадцатом веке таких замечательных людей, как Эйнштейн, Фрейд, писатель Башевис Зингер и футболист Михаил Гершкович. А значит, одной расческой, даже с ручкой, никак не могли обойтись.

На самом же деле метод сборки и разборки симулякров придумали посетители общественных туалетов. Заскочил после очередной динамы на улице Тверской и ну сверлить в фанере дырки. Глаголом жечь. Крючок накинул, щелкнул шпингалетом и обладай. Пусть дверью, но зато в любую сторону души.

И это правильно. «Настоящий большевик не лезет на, а пилит броневик», – писал Владимир Ильич в своем основополагающем тексте «Партийная печать и партийная литература». Имея в виду то, что тактика должна быть гибкой. Если нет под рукой клея и ножниц, используй другие подручные материалы. Как Жанна д'Арк, Патрис Лумумба и подводный водолаз, капитан Немо, – передовые представители народа, пролетариата и революционного крестьянства.

В любом случае стены уборной, крашенные водостойкой краской, – идеальное место для деконструкции Некрасова, десакрализации Пушкина и демистификации декана шахто-строительного факультета политеха. Проблема писателя с оперной растительностью на лице не в том, что он использует бумагу. Это допустимо. Беда в том, что нерационально. Это уже уклон. Отрыв от вскормившей его и воспитавшей трудовой интеллигенции.

Деконструктивный период должен быть строго равен периоду истечения струи. Как у лучших сказителей, акынов и боянов. Оскара Уайльда, Жана-Поля

Бельмондо и князя Петра Андреевича Вяземского. Не более шести-восьми строк. Только в этом случае он гармоничен и смешон, как сто рублей с тремя нулями. Как хокку, танка и рязанская частушка. Роман же в двадцать авторских листов рассчитан на мочевой пузырь слона или носорога. Человеку столько не выпить. И не съесть.

То есть никакой порнографии в желудке нет. В наличии избыток жидкости. Воды. Не более того. Преступление писателя с красивыми глазами должно быть переквалифицировано. А сам он немедленно амнистирован. Освобожден со снятием судимости. Поскольку, гражданин прокурор, несмотря на всю тяжесть им содеянного на каждой нарисованной товарищем банкноте, на каждом левом казначейском билете, четвертаке, катюше, четко и ясно написано: сделано пальцем.

H3-CH-OH-CH3

Синонимы: изопропанол, 2-пропанол, пропан-2-ол, диметилкарбинол.

Я даже не знаю, как это правильно изобразить. Может быть, в виде пары свободных радикалов? Вот так.

```
Г а          А
  в          н
  р          а
  и      Г   т
  л ий   а в р и л о в
Анато          и
  в            й
```

Его дар – обезжиривать. Удалять инородную пленку. Снимать муть амальгамы, обнажая металл. Абсолютную суть. Молекулярный уровень. Это против правил. Это потрясающе.

Похоже на следственный эксперимент. Все раскладывается по полочкам. Раз, два, три и четыре. Натуральный, естественный вид. Форма и содержание. Невероятно.

Обыкновенный писатель. ГОСТ 17237-93. Алхимик. Хитрец. Парфюмер. Он смешивает. Детство и юность. Пепел и кровь. Подливает. Капает. Взбалтывает.

Суспензия. Эмульсия. Варево. Сертифицированный продукт творчества. А «Берлинская флейта» – спектральный анализ. Движение вспять. Чудеса самости и обособленности. Вселенная до изобретения сложения и умножения. Первозданный божественный хаос. Чистые цвета атомизированного мира.

Ломоносов, Менделеев, Лавуазье.

```
  рилов          Г
  в              а
  а              в
Анато Г        Анато рилов
  л              л
  и              и
  й              й
```

Музыка как универсальный растворитель слипшейся реальности. Жидкость для промывания глаз. Катализатор воображения. Триумф сопротивления современной народной беллетристике. Повествовательному идиотизму бытописания. Почесухе клинического морализаторства. Стакан чистой воды. Приглашение не прочесть о чужом оргазме, а испытать свой. Прочувствовать собственный! Каждой клеточкой кожи. О!

АГаврил ГАнатол
н о а и
атолийв врилови

Потрудиться! Качество прозы измеряется в килоджоулях. Оно равно работе, производимой читателем. Вектор первоначального усилия. Это сродни механике любви. С качественным текстом невозможно быстро перепихнуться. Только жениться. Причем по классической схеме. Долго стесняться, томиться, ухаживать. Наконец в один прекрасный день решиться. Снять томик с полки и раскрыть. Путь бесконечного, как жизнь, познания. Себя и другого.

Так собирают грибы. Один за другим. Словно ноты. Восьмушки сыроежек и ми-соль подберезовиков. Аккорды опят и целое, черное ре груздя. Каждый сам по себе. А вместе лукошко. Симфония. Итог прожитых дней.

Бутлеров, Зелинский, Кюри.

А
Анато рилов н
л в атолий
и а врилов
й Г а
Г

«Берлинская флейта» – чудо химии познания и соучастия. Обратная задача обмана. Свежая, как озон. Цель сочинителя – до блеска отмыть, очистить все компоненты реальности. Освободить. Расщепить. Готовые, мономолекулярные, они засыпаются. Поступают в колбу читательской головы. Высушенные и обезжиренные. В заданном темпе, строго отмеренными порциями и периодами. А дальше свобода. Работа. Цепная реакция читательской фантазии. Свет и тепло.

Кольбе, Бертло, Марковников.

А автор? Автор, сделавший свое дело, похож на чайку. Даже не спорьте!

Ана лов
то ри
лий Гав

НАШЕ ВСЕ

Поэт Сергей Самойленко – замечательное воплощение поморских грез о собственных российских Платонах и Невтонах. Ну да. Просто не надо, глядя в немецкий монокль, надеяться, что если уж таковой и появится из леса, то непременно с циркулем и рейсшиной. Сказано же: наш, собственный, родной, не шведский химик-фармазон.

А наш естествоиспытатель в инструменте не нуждается, зачем ему пинцет и микроскоп, да еще с дюймовой шкалой, куда с ним, когда вперед пятьсот, назад пятьсот?

Нет, Родина измеряется исключительно ямбом и хореем, и именно потому поэт здесь больше, чем поэт. Он наши глаза и уши. Вообще наше все. Обоняние, осязание. Рецепторы. Не будь их, разве узнали бы мы, например, что между молотом и наковальней наливается кровью звезда?

То есть без поэта лишь копоть, грязь и суета, а с ним и смысл, и идея, и связь времен. Все очень ясно проступает: и обратная перспектива декабря, и четырехмерность лесов.

Цифры когда начнешь складывать, вечно не то выходит, не бьет, сомнения, а пришел поэт, рифмами оперил, и все на место встало, абсолютная ясность, полная видимость. Необъяснимое объяснилось. Красота!

Сергей Самойленко – металловед и физиолог. Предмет его исследований – воздействие стужи на одушевленную и неодушевленную материю. Через него мы узнаем, что

позвоночник Уральской гряды
выгибает звериную спину,
и поджилки железной руды
так дрожат, что трясутся осины.

Без этого знания совершенно невозможно понять, почему длинная сибирская ночь для идущего вдоль нее наполнена скрипом и хрустом. А просто продрог этот чертов кит, на котором стоит наша Азия. Шевелится – значит, пока жив кормилец!

Только благодаря поэту картина мира делается цельной. Потому-то и неизбывен и вечен вопрос в читательском сердце: «Сережка Есенин, видишь ли ты меня, Володьку Телескопова?» Если нет, то беда, пиши пропало, так и будет ни свет, ни заря никакого числа мартобря, помрешь и не поймешь зачем.

Сережа Самойленко нас всех видит.

Сменился ракурс, новый горизонт
открылся вещей оптике разрыва.
Ты не ослеп, и в этом весь резон.
Ты плачешь и на мир глядишь в упор,
глаз обретает резкость объектива,
и беспристрастно щелкает затвор.

Готово! И вот мы уже знаем, все разложил по полочкам поэт – как полномочный представитель реальности, нам данной в этом мире через слово, в чем суть и смысл неполного смыканья век.

Вы думали, трамвай, зима, усталость? Вовсе нет. Чтобы видеть будущее через снежинки ресниц и прошлое в морозном зеркале изнанки век. Причем одновременно! Одновременно!

Обмирая от вкуса свинца, холодея от запаха йода, невозможно бесконечно дрожать на ветру, рано или поздно должен кто-то прийти, взять за руку и ласково растолковать: «Успокойся, это не черти, это элементарное эхо».

Явление природы, такое же, как кельманда и комцумир.

А кто на подобное способен? Только поэт, краевед и натуралист, он единственно верным силлабо-тоническим методом постиг непостижимые тайны мироздания, и его пониманию доступны как высокая органика крови и спирта, так и неорганическая простота стекла и металла.

Вся жизнь ночная, вплоть до подноготной,
просвечена рентгеновским неоном.
И этот негатив наоборотный
развешан на веревках кленов.

Замечательно, теперь не пропадем. Просто не выйдет, мы остались в словах, впечатались в строки, как в глину, потому что поэт не просто глаза и уши, он еще наша память, он вообще наше все, Менделеев, Мечников, Микоян и Гуревич.

Поскольку жизнь в конечном итоге лишь предисловие к тексту. Да, да, именно так, и это все, то есть точка в переводе на идиш.

КАТАКОМБНЫЕ ЛЮДИ

«Женя, вы оптимист собачий!»
Илья Ильф – Евгению Петрову

Илья Арнольдович Ильф – чемпион недосказанности. Один из самых знаменитых молчунов двадцатого века. Впрочем, все они были такими. В двадцатые, тридцатые и позже, в сороковые. Даже говорливый и смешливый Петров. В стране Советов.

Люди с двумя половинками мозга. Публичной и интимной. Несоединяющиеся сосуды. Как стаканы на свадьбе. Или на похоронах. Так бывает всегда, когда во что-то очень и очень веришь. Всем сердцем. Всей душой. За полноту

чувства расплачиваешься дробностью мыслей. Разделенными косточками одного яблока.

Хвост и ящерица никогда не срастаются в голове счастливого человека. Улыбка на свету, а слезка в темноте. Без телефонной и телеграфной связи.

Это и есть подвиг по Маяковскому. Наступить на горло собственной песне. Отрезать провода.

Илья Арнольдович Ильф очень любил Владимира Владимировича Маяковского. Поэзию и прозу. Поэта и скорохода. И он был счастлив, Илья Арнольдович Ильф. Революцией призванный и мобилизованный. Он работал на Республику. Не разрешал общаться. Правому полушарию радировать левому.

Но они перестукивались. Пытались. Искали точку соприкосновения. Это так естественно для заключенных в одном теле. И он нашелся. Общий горизонт. Вид из окна. Буквально.

Я думаю, именно это, магия синтеза, невербального соединения, и сделало фотографию столь популярной среди советских писателей двадцатого века. Катакомбные люди. Инженеры человеческих душ обретали цельность, припадая к видоискателю «Лейки». Илья Григорьевич Эренбург. Илья Арнольдович Ильф.

Фотографический процесс – заменитель свободного высказывания. Важный, как акт. Сам по себе. Техника замещения, а не соревнование с Родченко и Эль Лисицким.

– Скажи «Уржум».

Александра Ильинична Ильф по отношению к объекту изучения, соавтору «Стульев» и «Теленка», похожа на астронома. Она не помнит отца. Свет звезды идет к ней через космическую толщу лет. Вакуум. В апреле 1937-го, когда Илью Арнольдовича принимали в свою компанию Диккенс и Рабле, ей было всего два года.

А еще она похожа на нас всех. Не вооруженных инструментами. Письмами и документами. Ей видна лишь одна половинка луны. И только. Профиль. Сыр – рекордсмен. Но Александра Ильинична делает все, чтобы увидеть обратную, домашнюю сторону. Вторую половинку. Родинки. А не увидеть, так вообразить. Реконструировать.

Именно ее стараниями впервые изданы в оригинальном, полном виде записные книжки Ильи Ильфа («Текст», 2000). Предпринята попытка додумать за Петрова. Сложить по его схеме из чужих кубиков биографию соавтора и друга («Текст», 2001). Но самый трогательный результат этих усилий дочери – фотоальбом. Конечно. Вечная птица с крыльями страниц к шестьдесят пятой годовщине отцовского ухода.

«Илья Ильф – фотограф. 1930-е годы». Альбом. (М., ЗАО «Московский центр искусств», 2002.)

Только название мне кажется неудачным. Точнее и правильнее было бы Илья Ильф – человек. 1930-е годы. Ведь он не мог и не хотел откинуть шторку. Соединить две перспективы. Прямую и обратную. Он мечтал о счастье. Своем и общем. Но он оставил шанс. Дал его нам, которые уже ничего и никого не боятся. Не верят и не ждут. Побыть в его шкуре. Вжиться. Глянуть на мир глазами современника первых колхозов и пятилеток. Соединить несоединимое и полюбить. Илью Арнольдовича Ильфа, советского писателя, отца и мужа. Молчаливого человека.

И текст альбома работает на это идеальное, почти лабораторное слияние с другим, далеким, неизвестным. Фраза за фразой словно специально созданы, выращены в пробирках «Правды» и «Известий» времен канала Москва-Волга. Особенно обширная статья Алексея Логинова. Цитирую.

«С целью развития фотолюбительского движения с 1926 года издается журнал «Советское фото», впоследствии ставший единственным периодическим фотоизданием в СССР, на страницах которого обсуждались все вопросы фототворчества».

Еще.

«Массовое распространение фотографии в СССР в начале 1930-х годов сдерживала лишь нехватка фотоаппартов и фотоматериалов».

А вот апофеоз:

«В первом же номере нарком просвещения Анатолий Луначарский писал: «Но как каждый передовой товарищ должен иметь часы, так он должен владеть фотографической камерой. И это со временем будет. В СССР будет как всеобщая грамотность вообще, ток и фотографическая грамотность в частности».

«Ток» вместо «так» – смешная опечатка. Вполне в духе Соплей и Воплей молодого Ильи Арнольдовича. В книге подобных огрехов много, ошибок, ляпов. Мой экземпляр – вообще недоразумение. Дважды вшита, спина к спине, одна и та же тетрадка. Стр. 37-48. Но это уже не так смешно. Скорее естественно. Проходит. По части воссоздания советской ауры. Душка. И он воспроизведен со стопроцентной идентичностью. Полное погружение в вату эпохи. Сверху кумач, снизу сатин.

А между ними художник. Мышцами глаза управляет правая половина мозга, мышцами пальца – левая. Единство и борьба противоречий. Объектива и затвора. Общественного и личного. Человека думающего и человека верящего.

– Скажи «Батум».

Это не приказ. Просьба. Словно Киршон у ясеня, Ильф спрашивает. Илья Арнольдович. Ищет ответа на незаданный вопрос. Солдат революции. Сержант изящной словесности при майоре госбезопасности. Интересуется. У городов, друзей и большеглазой жены Маруси. Все правильно? Это и есть счастье?

А на той стороне линзы, окна, такие же катакомбные люди. Смотрят прямо. И улыбаются. Наверное. Будем надеяться.

И только Михаил Булгаков. Михаил Афанасьевич. Единственная шляпа в море кепок. Отводит глаза. Похороны Маяковского. 17 апреля 1930 года.

Двери закрыты. Письма не ходят. Просто за стенкой кто-то дышит. И точно так же прикладывает ухо к тонкой холодной перегородке. А ухо к уху – просто море. Неясный шелест, трепет и печаль. Чистая лирика. Стихи, которые в иные времена ужимаются до знака. Одного символа. Черно-белого иероглифа. Человеческого следа. Отпечатка. Фотографического.

На той стороне Соймоновского проезда, прямо за окном комнаты, в которой был написан «Золотой теленок», взорвали храм. «Ровно в 12 часов», – сообщила «Вечерняя Москва» назавтра. «Величественное здание словно зашевелилось... и «только «горестные руины», – написала спустя годы дочь. А отец? Он быстро-быстро отвернулся и щелкнул «Боты».

– Какой же вы оптимист, Илья Арнольдович. Котячий! Недоверчивый, но неисправимый.

Конечно. Настоящий и безнадежный. Так ему мог сказать Создатель. Мог! Определенно. Он и не такое может. А кроме него, единственного, кто же еще посмеет?

●

Павел БАСИНСКИЙ

ВОЛГОГРАД

Витя ДОЛГАЛЕВ. ЖЕРТВА И ЖРАТВА. Камышин, 2001. Без указания издательства и тиража.

Начну с земляков, поскольку сам родился в Волгоградской области. Вот такое из Камышина пришло письмо с книжкой:

«Я коллекционирую стихи (те, что ложатся на сердце, определяют, решают мою судьбу), поэтому ежемесячно листаю в библиотеке периодику. Обнаружил <в «Октябре»> необычную рубрику – «Русское поле». Как бы корзина для мусора. Она и в компьютере тоже есть – корзина. Вот это то самое место, где я должен обязательно присутствовать. Можешь занести меня туда, Павлик. Да напиши, что моя книжечка имеет успех в местном дурдоме.

Заранее спасибо!»

Письмо не столько раздосадовало меня своим закомплексованно-развязным тоном, особенно неприятным со стороны именно провинциала (у провинциалов должна быть «особенная гордость», а главное – сознание того, что Россия – это они), сколько заставило всерьез задуматься над смыслом рубрики «Русское поле».

В самом деле: это «отстой» для провинциальных неудачников? Корзина для литературного мусора?

Я считал и считаю, что нет, нет и еще раз нет. И никто не сможет убедить меня в обратном. Просто реализация таланта в провинции идет труднее, мучительнее, зато графоману в провинции иногда легче (ибо «свой»). В этом особенность провинциальной литературной ситуации. От Москвы она безусловно отличается «плотностью» как талантов, так и графоманов, что и позволяет Москве быстрее и эффективнее реализовывать некие новые литературные «качества», если можно так выразится. Но не надо забывать, что зарождаются эти качества, как правило, в провинции.

Кроме того, задача «Русского поля» – посильно связать между собой регионы, дать им позволить узнать друг о друге.

И все в общем-то.

Книга Долгалева представляет собой любопытное исследование классической и современной поэзии с точки зрения религии и историософии. Цитаты от Фета до Людмилы Абаевой.

ТВЕРЬ

Георгий СТЕПАНЧЕНКО. НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. Стихотворения. Тверь: «Русская провинция», 2003. Тир. 500 экз.

«Дорогой, уважаемый и любимый всеми провинциальными авторами...» Это тоже из предваряющего книгу письма и тоже – обо мне. Понимаю, что с иронией, но – с доброй. «Пишет Вам тот самый ржевитянин, который, наверное, уже надоел Вам своими книжками и которого Вы как-то сравнили с Приговым (по мне, лучше бы с Глазковым, но дареному коню, как известно, в зубы не смотрят)...»

Принимаю благодарность за «коня» и упрек за Пригова. В самом деле, рецензируя в одном из прошлых номеров «Русского поля» стихи Степанченко, я «клюнул» на интонацию, напоминающую приговскую, забыв о том, что интонация эта не вместе с Приговым родилась.

В новой книге автора стихи читал через призму Глазкова. Многое в своем прежнем мнении скорректировал:

Я смертью храбрых пал в Библиотеке,
Блуждая по ее немым просторам...

Эй, ребятушки! Не трусь!
К топору зовите Русь!..

И еще – заметил, что ерничество Степанченко часто по-грустному обманчиво:

Тихо ходики стучат.
Мышки спят, и кошки спят.
Всё на свете мирно спит.
Если сердце не болит.

У кого – не болит? У мышек-кошек или у лирического героя? Это – важно. Это определяет смысл стихотворения.

Все равно Степанченко – поэт интересный. И хорошо, что издательство «Русская провинция», получившее свое название от лучшего в России провинциального литературно-художественного журнала, редактируемого Михаилом Петровым, существует. Хотя журнал, увы, недавно закрылся.

БРЯНСК

Иван СОРОКИН. ПОКА ГОРИТ МОЯ ЗВЕЗДА. Брянск: Фонд им. Св. блгв. Кн. Олега Брянского, 2002. Тир. 250 экз.

Стихи, характерные для российской «глубинки», желающей поэтически выразить злобу дня:

Ныне в прошлом копаются,
Раскрывают гробы.
Больно в нас отзываются
Грани нашей судьбы.
Кто-то с ним даже судится,
Кто отречься готов.
Коль оно позабудется,
То вернется к нам вновь.
И опять натыкается
Все на то же страна.
Ей бы взять и покаяться.
Вот и все, но она...

Иван Матвеевич! Как вы представляете себе «кающуюся» целую страну? Ведь это гипербола, не более того.

ЛУГАНСК

СЕМЬЯ. ОТЧИЗНА. ВСЕЛЕННАЯ. Сборник участников IV Регионального фестиваля литературного творчества детей и молодежи. Луганск: «Янтарь», 2002. Тир. 200 экз.

Стихи и проза юных луганских дарований вперемежку на русском и украинском языках. Невозможно все процитировать и даже назвать – много места займет.

Прозу луганские дарования пишут иногда такую:

«Вырвавшись путем невероятных усилий из тюрьмы, Гливерс подбежал к одному-единственному боевому шатлу и, взобравшись на его крыло, нажал на кнопку «Вход в корабль». «Как приятно оказаться вновь за штурвалом корабля!» – подумал Кевен».

Или такую:

«Весна – прекрасная пора. Пожалуй, никто не сможет этого отрицать».

Или такую:

«По старой пыльной дороге, ведущей в Киото...»

Почему в Киото?

ПЕГАСКА. Литературный сборник. Приложение к газете «Здравствуй». Выпуск 4. Луганск: «Янтарь», 2003. Тир. 100 экз.

Вот и объяснение, почему в Киото. Оказывается, школьники Луганска пишут хокку.

Лунный свет в саду
Разбудил хризантему.
Сердце согрелось.

Или:

Мне впервые дано
Оценить одиночества прелесть.
Береза одна хороша.

Или:

Опала листва с деревьев,
Созрела рябина.
Моя душа в смятении.

А ведь – хорошо! Особенно последнее.

ОРЕЛ

В. В. СВЕЧКИН. ПОВЕСТЬ-ХРОНИКА ТРЕХ ДНЕЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКИХ СТУДЕНТОВ ДАЛЕКОГО 1981 ГОДА. Орел: Издатель Пикалин, 2002. Тир. 500 экз.

Зачин почти как в «Школе» Аркадия Гайдара:

«Институт наш невелик и провинциален...»

«Городок наш Арзамас был тихий и весь в садах...»

Читать интересно. Во всяком случае, забавно.

КИРОВ

Александр ПОДЛЕВСКИХ. ПАПИК И ЧАСИКИ. Киров, 2002. Без указания издательства. Тир. 2000 экз.

«Октябрь» уже писал об одной книге Подлевских, за что он сердечно благодарит в письме, прилагаемом к этой, уже второй его книге. А мы благодарим за благодарность.

Дело не в обоюдной сентиментальности. Подлевских пишет действительно хорошие короткие рассказы. Не знаю, как кто, а я люблю эту зощенковско-шукшинскую интонацию:

«Бывает, что нет в человеке злобы, – и все тут. И неглупый человек, все видит, все понимает, черное от белого отличает, а разозлиться до остервенения не может. А по наивности думает, что и все остальные точно такие же» (рассказ «Высказался»).

Это очень верное наблюдение... Есть люди, органически лишенные злобы или, например, зависти. И поскольку они этих чувств органически лишены, понятия об этих чувствах просто нет в их голове. И наоборот – пишет кто-то о другом: он, мол, злобен или, скажем, завидует, или, упаси Боже, антисемит. Это значит, что пишущий и есть злобный завистливый антисемит.

Проверено.

ЧЕЛЯБИНСК

Николай ГОДИНА. ГРАФОМАН. Новые стихи. Челябинск: Редакционно-издательская группа «Центавр», 2002. Тир. 500 экз.

Не удержусь, чтобы не процитировать одно стихотворение Николая Годины полностью, хотя оно и длинное. По-моему, это прекрасный образец гражданской лирики, извините за немодное определение:

«Не забуду марксистские лекции!» –
Так бы выколол тушью на лбу.

Часовой в состоянье эрекции,
Вождь сушеный в стеклянном гробу.

Марширует, пыля, комсомолия.
Где-то я топочу налегке.
Путеводит звезда, будто молния,
Грубо скомканная в кулаке...

Так мы жили бесправые – правые
В том, что жизнь эта нашей была.
Ну а вы, телепузики бравые,
У чьего суетитесь стола?

Как их кличут, господ ваших: лидеры,
Шефы, боссы – поднесь паханы?
Мы их знаем в лицо, мы их видели,
Промышлявших судьбою страны.

Не к тому я, что прошлое – праздники,
Настоящее – будние дни.
Просто пьесы у нас с вами разные,
А вот роли, как видно, одни.

УФА

УФИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА. Сборник литературно-критических статей и очерков. Выпуск 1. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003. Тир. 50 (пятьдесят) экз.

А вот это уже «фактическое» (как говорил булгаковский профессор Преображенский) возрождение. Когда, будучи аспирантом, я занимался историей русской критики конца XIX -начала XX веков, то был поражен обилием критиков в Казани, Астрахани, Омске и так далее. Причем писали они не о своих соседях по улице, а о Чехове, Горьком, Мережковском. В советские годы провинциальная критика была сведена на нет. Провинциальный критик мог реализоваться как критик, только переехав (именно переехав) в столицу. Так было со всеми. Пример: Чупринин и Курицын. Что между ними общего? Оба приехали из провинции и как критики реализовались здесь. Только так быть и могло.

Есть исключения – Валентин Курбатов в Пскове, Михаил Петров в Твери. Но чего им это стоило!

Сборник критики, выпущенный в Уфе, – это замечательно. Названия статей примерно такие: «Наш ответ «магическому реализму».

От меня лично привет Айдару Хусаинову!

ЕКАТЕРИНБУРГ

Надежда ЯНЬШИНА. НОВОЛУНИЕ. Рассказы. Новокуйбышевск-Екатеринбург, 1996. Без указания издательства. Тир. 600 экз.

Надежда ЯНЬШИНА. АНТРЕСОЛЬ. Невыдуманные рассказы. Новокуйбышевск-Екатеринбург: Издание газеты «Штерн», 1999. Тир. 200 экз.

О стихах Надежды Яньшиной я уже писал. Теперь она прислала прозу. Невыдуманные рассказы о своих знакомых, как правило, людях творческих профессий. Такие книги фиксируют «малую» историю страны. А если вспомнить идеи философа Николая Федорова, то можно прийти к «большим» обобщениям.

●

«...быть дочерью трудной матери»

ПИСЬМА АРИАДНЫ ЭФРОН МАРГАРИТЕ АЛИГЕР

Ариадна Сергеевна Эфрон обладала редким по нынешним временам эпистолярным даром. Ее письма к Б.Л. Пастернаку остались в истории литературы не только как свидетельства эпохи, но в большей степени как эпистолярная проза высочайшего уровня. Письма А.С. Эфрон предельно искренни, они так обнажают душу, что становится ясно: ни тюрьма, ни лагерь, ни ссылка не научили ее замыкаться в себе или закрываться от людей. Писем осталось очень много: уже опубликован объемистый том писем и воспоминаний (Ариадна Эфрон. Письма 1942-1975 гг. Воспоминания. М., 1996); в них – быть может, неявно даже для нее самой – реализовывался писательский дар Ариадны Сергеевны.

Предлагаемые вниманию читателей письма к Маргарите Алигер, хранящиеся в домашнем архиве Н.С. Коваленковой, относятся к 1962 – 1974 годам.

В жизни и поэзии Маргариты Иосифовны Алигер (1915 – 1992) отразились исторические парадоксы советского времени. Поэт государственного официоза, обласканная властью, лауреат Сталинской премии 1943 года, она была при этом одним из основателей «оттепельного» альманаха «Литературная Москва», членом комиссии по литературному наследию М.И. Цветаевой и горячо помогала Ариадне Эфрон в подготовке первых литературных вечеров и сборников поэзии Цветаевой. Алигер вообще была талантлива именно талантом ***дружбы****. С юности в ее дружеский круг входили Д. Данин, его школьный друг Е. Долматовский, Я. Смеляков, К. Симонов и старшие – П. Антокольский, В. Луговской. В разгар кампании против космополитизма Н. Грибачев тщетно требовал со страниц «Литературки», чтобы Алигер отреклась от «гнусного космополита» Данина.*

Ариадну Эфрон и Маргариту Алигер объединяла и дружба с Э.Г. Казакевичем, который остался в памяти современников и как интересный писатель, и как значительная личность на литературном небосклоне. В 1956 году он вместе с В. Кавериным и М. Алигер добился публикации альманаха «Литературная Москва», просуществовавшего только в двух выпусках. В нем были напечатаны произведения А. Ахматовой и М. Цветаевой, а также Л. Мартынова, Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, В. Шкловского и других писателей и поэтов, незаслуженно изъятых из литературы.

В. Каверин писал позднее: «Первый сборник вышел и был принят хорошо – он продавался с книжных прилавков в кулуарах Двадцатого съезда. <...> Второй сборник был значительно сильнее, чем первый. Мы напечатали большой цикл стихов Марины Цветаевой и хорошую статью Эренбурга о ней».

Главные темы переписки Ариадны Эфрон и Маргариты Алигер – работа над литературным наследием М. Цветаевой и трагическая скоротечная болезнь и смерть Э. Казакевича. Незаурядность этого человека побудила Ариадну Эфрон спустя некоторое время после его смерти написать воспоминания, в которых передано чувство ***удивления*** *и* ***восхищения*** *его живой душой.*

Она рассказывает о том, как, возвратившись из лагеря и ссылки, проведя восемнадцать лет в заключении, она бродила по разным издательствам, писательским организациям и просто дальним знакомым матери с единственной мольбой – помочь напечатать стихи М. Цветаевой. Одни шарахались от нее, другие смотрели с жалостью; вид у нее после Туруханского края был немосковский, а она – с «пеплом Клааса в сердце» – все ходила и ходила. Однажды Н. Вильмонт, сотрудник «Иностранной литературы», довоенный знакомый Цветаевой, кормил Ариадну Сергеевну завтраком в писа-

тельском буфете и округло объяснял ей «непроходимость» стихов матери. За соседним столиком общалась какая-то компания. Эпизод своего знакомства с Казакевичем А. Эфрон описала так же ярко, как умела это делать в мемуарной прозе М. Цветаева, и поэтому хотелось бы привести его полностью.

«– КАЗАКЕВИЧ! – крикнул он куда-то в сторону подвыпившей группы. – КАЗАКЕВИЧ! Подойдите на минутку!

Один из сидевших за столиком у входа нехотя обернулся, бросил: «Сейчас!» – и вновь, облокотясь, подавшись к сближенным головам собеседников, продолжал разговор. Мы ждали. Наконец тот встал и медленно приблизился к нам валкой неспешной походкой – весь несколько нечеткий и небрежный, даже неряшливый – и осанкой, и одеждой, и выражением лица. Среднего роста, неопределенно-светлый, в сонных губах – тлеющая папироска, за очками не видно глаз – какой-то набросок человека! Отодвинув стул, он тяжело, обстоятельно уселся, неторопливо и скучно обвел очками нас с Вильмонтом, и сердце стукнуло мне – не то, не тот!

– Познакомьтесь: Казакевич, – бодро протрубил Вильмонт, – это – А<риадна> С<ергеевна> Э<фрон> – дочь Марины Цветаевой, она...

И тут произошло поразительное. Всё, только что бывшее лицом Казакевича, мгновенно ***схлынуло****, как румянец, сменяющийся бледностью; словно кто-то дернул и сверху донизу, от лба до подбородка, сорвал вялую, лоснящуюся кожу сытно пообедавшего, мирно-равнодушного, чужого человека, и я увидела* ***лицо его души****.*

Это было чудо, и как таковое не поддается описанию; даже теперь, столько лет спустя, оно не стало воспоминанием, а продолжает жить во мне неугасающей ***вспышкой****, непреходящим* ***мгновением****, поборовшим само необоримое течение времени.*

Прекрасное, детское по незащищенности и мужское по железной собранности, по стремлению защитить, братское, отцовское, материнское, самое несказанно-близкое человеческое «я» рванулось навстречу моему – недоверчивому, изуродованному, искаженному – подняло его, обняло, вобрало в себя, уберегло, вознесло – единой вспышкой золотых проницательных грустных глаз.

Вот с этой-то секунды и началась моя истинная реабилитация».

23 апреля 1962
Таруса

Милая Маргарита Иосифовна, вот стих, о котором Вам говорила:

Школа стиха

Глыбами – лбу
Лавры похвал.
– Петь не могу!
– Будешь! – Пропал

(На толокно
Переводи!)
Как молоко –
Звук из груди.

Пусто. Суха.
В полную веснь –
Чувство сука.
Старая песнь!

Брось, не морочь!
– Лучше мне впредь
Камень толочь!
– Тут-то и петь!

Что я, снегирь,
Чтоб день-деньской
Петь?

– Не молчи,
Пташка, а пой!

Назло врагу!
– Коли двух строк
Свесть не могу!
– Кто тогда – мог?!

– Пытка! – Терпи!
– Скошенный луг –
Глотка! – Хрипи:
Тоже ведь – звук!

Львов, а не жен
Дело... – детей!
Распотрошен –
Пел же – Орфей!

– Так и в гробу?
– И под доской?
– Петь не могу!
– Это воспой!

4 июня 1928[1]

На днях Анна Александровна Саакянц[2], секретарь нашей комиссии[3], пришлет Вам протокол того, первого заседания, на к<отор>ом Вас вообще не было, (к<отор>ое не было «заседанием», поскольку происходило у Эренбурга)[4].

Всего Вам самого доброго и еще раз (еще раз, еще много-много раз!) спасибо Вам и Э.Г.[5] за все.

Ваша А.Э.

14 июня 1962
Лиепая

Дорогая Маргарита, много раз порывалась написать Вам и много раз рвала эти порывы и совала в печку. На то, о чем хочется сказать, нет слов, потому, очевидно, что не *говорить*, а *делать* нужно – а что *я* могу *сделать*?

Сюда приходят самые противоречивые сведения[6] – то будто бы не разрешили применять кондаковское лечение, то будто разрешили и т.д. Если найдете время написать мне вкратце, что там на самом деле, буду Вам очень благодарна.

А *так* – я все сама знаю. Знаю, как *Вы* боретесь за эту жизнь, знаю, *что* приходится перебарывать. Из-за того, что жизнь держала меня столько лет в отдалении от нее самой, мне ничего не оставалось, как стать дальнозоркой. Жизнь научила меня еще верить в чудеса; знаю, что *это* чудо свершится.

Вот пока и все, об остальном потом, когда время придет.

Тут тихо, только море шумит, да ветер со всех трех сторон. Пасмурно, но солнце иногда прорывается, и мелкие янтарики так и поблескивают на песке.

Городок хороший, старинный – перелистываю его улица за улицей, квартал за кварталом; соборы – как заставки к главам. Заставка к одной из интереснейших глав – домик Петра I; кажется, по всему здешнему побережью прошелся он в своих бронзовых сапогах, нет верфи, в которой не учился бы он судостроению, озера, в котором не пускал бы кораблей.

Приезжих здесь мало, курортного люда нет совсем – климат не располагает, и развлечений мало. Местное население к пришельцам относится индифферентно – так по крайней мере это выглядит.

Правда, некоторые (но их мало) смотрят иной раз *сквозь* нас, как Геринг сквозь еврея, но что поделаешь...

Напишите!

Обнимаю Вас.

Ваша А.Э.

28 июня 1962
Лиепая

Милая Маргарита, очень рада Вашему письму, очень ждала его и, получив, как бы «проникла» вместе с Вами к Э.Г. Именно *проникла* – сквозь преграды болезни, семьи, времени. Сперва я все «не успевала» повидать его, это были каверзы времени, всегда подсовывающего третьестепенное вместо насущного; семья – это тоже барьер, который надо брать с разбега, на это недостает дыхания и резвости ног, а может быть – тренировки; а потом – болезнь, это уже не барьер, а стена, сквозь которую можно разве что просочиться. Сейчас, топчась вокруг этих скудных определений, вспомнила вдруг, с какой гениальной простотой провидения молодой Пастернак назвал свою книгу «Поверх барьеров» и что самое *главное* не только в творчестве, но и в самой повседневной из повседневностей – именно *это*. Вот *тут-то* столь разные люди, как Казакевич и Пастернак – сродни, и это родство, только вот сейчас, сию минуту мною осознанное, научило меня – тоже «разную», любить их какой-то *одной* любовью, к<отор>ая, очевидно, тоже сплошное «поверх барьеров».

Был у меня когда-то в молодости муж[7], как у всех прочих, и, естественно, *не такой*, как у всех прочих, – лучше всех!

Я любила его вначале, очевидно, потому, что *он* меня любил. Потом потому, что сама не могла не любить. Потом нас «судьба разлучила» – любовь сделала свой первый шажок поверх барьеров вполне реальной колючей проволоки и выжила, но все это было еще – не то, и высота была не та; любила-то я *для себя*, чтобы выжить и дожить самой. А потом наступило самое главное: мне от человека нужно стало, *не* чтоб он любил *меня* – (ждал *меня*, сулил *мне*) – а просто, чтоб *он жил на свете*.

Какое же счастье, когда отношения *начинаются* на этой высоте и на том стоят, без нарастаний и регрессий, без аннексий и контрибуций! С самой первой встречи с Э.Г., о к<отор>ой я Вам рассказывала, *мне* от него надо было только одно: *чтобы он жил*, и ничего решительно больше – все на свете больше – меньше. Тем более это нужно сейчас, когда он болен. И он *будет* жить.

Сейчас уже надо собираться в обратный путь, а как не хочется от этой тишины, переменной облачности и родственной чужеродности природы и людей! На днях была в Паланге – боже ж мой, да ведь это настоящий европейский курорт красоты необычайной! И до краев наполнен евреями – гипертониками и просто. Именно так я представляю себе черту оседлости при коммунизме...

Простите мне всю неразбериху этой записки – как всегда пишу галопом. Обнимаю Вас. Обнимите за меня Э.Г., передайте сердечный привет Гале[8] и девочкам[9]. До свидания.

Ваша А.Э.

24 августа 1962
Тарусa

Дорогая Маргарита, прибыли в Тарусу весьма благополучно (есть теперь прямое автобусное сообщение с Москвой) – и даже день был солнечный; теперь опять привычная картина – дождь. Пришлось даже печку топить, чтобы возместить отсутствие солнца. С той квартирой все в порядке – прописалась, перевезли часть «мебелишки», сделали черновую уборку, до беловой еще не так близко, поскольку водопровод живет собственной жизнью и по своим законам (себе бы так!), и вода пока что предпочитает сочиться сквозь потолок, а не течь банально по трубам... Но все это суета сует и всяческая суета, обуздается и водопровод, и Скаррон[10], который пока что <нрзб.> на каждом повороте и обороте, и моему тяжеловесному русскому остроумию явно предпочитает свое исконное французское. На днях жду сюда Аню Саакянц на недельку, хочется хоть на немного отторгнуть ее от гослитовских и прочих «перегру-

зок», чтобы она могла поработать над маминой книгой в тишине и покое, да и отдохнуть, сколько удастся. Работает она самоотверженно, живет трудно (в одной комнате с родителями), а главное – не пищит и не жалуется ни на что и никогда. Очень хорошее и правильное дитё. И к тому же умненькое.

Но все это предисловие и присказки, а пишу Вам лишь, чтобы сказать, какой радостью стала для меня печальная встреча с Э.Г. Знаете, когда идешь к больному, то натягиваешь на физиономию оптимистическую улыбку, набираешь полный рот оптимистического пустословия – это обычно так бывает, часто даже неосознанно. А тут ни черта не требовалось из арсенала не очень Художественного театра, и вообще *ничего* не требовалось сверх и помимо настоящего. Я была потрясена, насколько (тьфу, тьфу, не сглазить) Э.Г. *хорошо* выглядит – это после операции, после лежания пластом и вообще после всего на свете! Не решилась сказать ему об этом, чтобы он, человек абсолютного слуха, не принял бы это за то самое «бодрячество», о к<отор>ом выше, просто из чувства такта смолчала! Мало, что *внешне* хорошо выглядит, *но и очень хороши глаза*, вот что важно чрезвычайно! *Чудесные* глаза, – хоть и заглянули за пределы человеку отпущенного, но вынесли оттуда все ту же *жизнь* без подмеса. Да, да, милая моя, я знаю все, не так уж я проста, чтобы не то что чувствовать, но досконально *знать*, почем фунт *этого* лиха; знаю я все, что передумано было без слов и что на слова не переводимо. Знаю также, какова была этому разведчику *эта* разведка, вплоть до Елисейских полей, но ничего не попишешь, *чудо* налицо. Таким врачам руки целовать надо, вот что я скажу, и всем иже с ними!

Обнимаю Вас, дорогая моя, напишите словечко, когда время будет и если желание будет. Очень прошу Вас передать Гале извинения мои за то, что ушла, не попрощавшись с ней, как во сне. И ничего не спросила ни про что, ни про кого, действительно, как во сне.

А Э.Г. передайте прилагаемую вырезку из местной газеты – она его позабавит. К сожалению, она, газета, носит следы того, что я на ней рыбу чистила. Это было кощунственно с моей стороны.

Будьте здоровы.

Ваша Аля

14 сентября 1962
Таруса

Милая моя Маргарита, что Вы, как Эммануил Генрихович? Думаю о вас каждый день – и это не слова. Я вообще тварь довольно бессловесная. Сейчас работаю – и работаю до обалдения полного – с 6 утра до 12 ночи двигаю перевод; без выходных – не то что дней, но и часов. Очень помогает приятельница, везущая на себе все хозяйственное. Она уедет на несколько дней в Москву после 20 сентября – опять же по моим делам, в основном квартирным, а в первых числах октября приеду на некоторое время в Москву я – сдавать работу, да и не только за этим. Самая беда, что работа эта, нужная для частичного покрытия долгов, прервала мою работу над маминым сборником (для Библиотеки Поэта). От шкуры до мозга костей чувствую каждый уходящий день и отчаиваюсь. Как-то в последнее время стала бояться уходящих дней, все кажется, что впустую, да, верно, и не только кажется. И самую *жизнь* переношу труднее, чем в куда более трудные времена.

И еще бедишка поменьше: когда гоню переводы, как кальсоны в конвейере, то, в смысле качества, кальсоны и получаются. Обидно да и стыдно. Я *могу* и *должна* хорошо...

Ну Вам мои заботы, наверно, кажутся ерундовскими. Простите за скулеж и *не забывайте*.

Обнимаю от всего сердца Вас и Э.Г.

Ваша А.Э.

Погода гадостная. Как Э.Г. ее переносит?

22.9.62
Москва

Милая Маргарита, очень неловко докучать Вам еще и своими просьбами, но без Вас не обойтись; Вы как-то говорили, что у Ваших знакомых, может быть, окажется свободный письменный стол в мою сборную – с мира по нитке – квартиру[11]. Сейчас едет в Москву на несколько дней моя приятельница, специально по моим квартирным делам, так как сама я напрочь пришита к работе; я прошу ее (приятельницу) позвонить Вам и узнать у Вас, как там стол: то есть можно ли на него рассчитывать, и если да, то кому можно позвонить, заехать и т.д. Надо будет перевезти в квартиру еще кое-какие вещи, брать машину и хорошо бы захватить и стол, если он (для меня) существует. А то на каждую отдельную вещь брать машину немыслимо (по деньгам). Так что, если не трудно, узнайте, пожалуйста, у Ваших знакомых, как и что, мы бы сделали это сами, но не знаем, к кому обратиться. Кроме того, пожалуйста, расскажите моей приятельнице (зовут ее Ада Александровна)[12], как связаться с Машей[13], то есть обратно же со столиком (Вашим) – чтобы перевезти его. И простите меня еще и за эти «нагрузки»; понимаю, как это Вам некстати. Сама я буду в Москве в начале октября; буду Вам звонить. Работаю с 6 утра до 12 ночи, каждый божий день. Даже сны рифмованные. Устала, чувствую себя погано. Уже столь многое *не под силу*, что и не спрашиваю себя, как же дальше будет и будет ли вообще это самое «дальше» – или только какое-то (непосильное) толчение воды в ступе заработка ради, бег на месте.

Ничего о Вас и Э.Г. не знаю толком, даже и Аня[14], мой связной с миром, – и та замолчала, собирается уезжать или уже уехала. Целую Вас, надеюсь скоро – в начале октября – увидеть или хоть услышать по телефону. Желаю вам обоим, чтобы было полегче.

Ваша А.Э.

Телеграмма
23.9.62
Тарусa

Только сейчас узнала[15] всем сердцем с вами навсегда спасибо за последнюю встречу

Аля

30 октября 1962
Тарусa

Дорогая моя Маргарита! Не удалось как следует повидать Вас перед отъездом и даже попрощаться, а поговорить хочется, вот и пишу. Во-первых, очень рада, что вечер[16] в Литературном музее состоялся; мало сказать «рада» – от всей души благодарна устроителям и участникам за *первую* в СССР попытку Цветаевой *вслух*. Лиха беда начало! Главное, что все сошло вполне чинно, никто стульев не сломал и окон не бил, по-моему, именно этого боялись – боятся – тормозящие предполагаемый вечер в Союзе. Может быть, теперь бояться перестанут? О несовершенствах же Цветаевского вечера в музее и говорить нечего – не в них суть. Эренбург мне очень понравился – он был какой-то насквозь *добрый*, что нечасто случается, по крайней мере с виду, и Слуцкий был хорош; Тагеровские[17] же молочные реки, кисельные берега, а также последующее «художественное» чтение одной из девушек чуть не довели меня до скоропостиженной кончины – не потому, что *они* плохи, потому, что *я* – скотина: как только что-нибудь касающееся мамы не по мне (а тем более не по маме) – теряю не только облик человеческий, но и суть человеческую. Представляете себе, сколько раз мне приходилось их терять за 21 год со дня маминой смерти! А уж тут-то, *зная*, сколько любви, терпения и мужества понадобилось лю-

дям, чтобы устроить первый посмертный вечер, надо было только *радоваться*. А я бесилась – и как! (Каково быть *матерью* трудной дочери, Вы знаете, но, кажется мне, одна я на целом свете знаю, каково быть *дочерью* трудной матери!)

Вообще, разменяв шестой десяток, я поняла, что: *умея* тысячу вещей – например, валить лес, шить бязевые подштанники и ватные телогрейки, иллюстрировать книги и писать лозунги и вывески, штукатурить дома и печь торты, дрессировать кошек и воспитывать малолетних преступников, вязать на спицах и штукатурить стены, чистить дымоходы и переводить с французского и с марсианского (туда и обратно), отличать шампиньоны от бледных поганок и старую курицу от «молодой», косить сено и ходить за плугом и т.д. и пр. – я совершенно не умею «жить», и чем дальше, тем хуже. «Счастливчиком Джимом» мило быть в юности, а на старости лет – какая гадость!

Тут льет дождь – как и в Москве, вероятно, но только здесь он виднее и слышнее и к тому же превращает твердую почву под ногами черт знает в какое тесто; но все равно красиво. Все в унылой, сонной дымке, и, казалось бы, навсегда, если бы не пронзительная зелень озими на том берегу – в ней большее, чем урожай будущего года.

Я начинаю «проникаться» своей неоплатной квартирой – там так тепло и просторно, не верится, что мое! Подключили, наконец, газ, и я важно выпила первую чашку чая с бубликом за красным, таким же, как у Вас, кухонным столиком. «Удобства» действуют на полный; из всех кранов льет крутой кипяток (холодной воды почему-то не наблюдается – не все сразу); выключатели щелкают, двери открываются и закрываются. Главное – закрываются. Я ходила по еще гулкой комнате и думала о том, что и это успел сделать для меня Э.Г. – Вашими руками, а руки у вас обоих похожие (не внешним видом, конечно!), и еще о том, что дай Бог мне хорошо *поработать* в *этой* квартире; как еще я смогла бы поблагодарить Казакевича, правда? Хотите, я запишу для Вас все то, что о нем помню? Мы так мало с ним виделись, что каждая встреча вбилась в память. Я его знала меньше, чем многие другие, и, может быть, потому в какой-то степени *лучше, ярче* видела. Странно, странно все: нет у меня чувства *смерти*, наверное, потому, что всю жизнь прожила так, что кто-то у меня был «за границей». То я – во Франции, а Россия – по ту сторону; то я – в России, а весь прочий мир – по ту сторону. То лагерь, ссылка – и опять все и вся – за чертой. И как-то подсознательно смешались понятия рубежей, вплоть до последнего, и многие ушедшие стали живее многих живущих... живущих ли?

Обнимаю Вас. Не забывайте меня. Будьте здоровы, крепче спите.

Ваша Аля.

Спасибо Вам за все, милая. Целую Вас. Спокойной ночи – здесь у нас ночь...

14 ноября 1962
Тарусa

Милая Маргарита, во-первых, простите за машинку – набила мозоль (от писания!) на пальце и не могу ручку держать. А во-вторых, «я к вам писала», но без взаимности. Так мне и надо. Как Вы, что с Вами? Ничего ни о Вас, ни о делах Ваших не знаю. Написать мне полтора слова Вам не хочется, а звонить по телефону в Тарусу через Калугу тем более. Отлично Вас понимаю. Мне самой мало кому хочется и можется писать или звонить. Тем не менее кому хочу, тому пишу, а они иногда отвечают... Главное, что хотелось бы о Вас знать, это – как Вы себя чувствуете физически? Остальное представляю себе. Я – довольно погано, сердце сдает, и особенно – дышать нечем. То ли легких не достает, то ли воздуха – хотя последнего дополна. Но голова прояснилась после переводческой перегрузки, и слава Богу. Ее-то мне и надо. Очень много работаю над книгой – чем больше делаю, тем больше остается несделанного. Задача – составление и комментарии – да еще вдвоем – казалось бы, не сложна, на самом деле сплошная головоломка. Все на пустом месте, все впервые, в том архиве, что у меня, сохранилось не все, а в прочих архивах, хранилищах и биб-

лиотеках – и вовсе ничего. Обнаруживаются страшные пробелы, которые пробелами оставлять нельзя. И т.д., и т.п., имя же им (этим «т.д.») – легион. Дай, дай Бог одолеть!

Аня Саакянц пишет, что Секретариат наконец разрешил мамин вечер в Союзе[18]. Очень прошу Вашей помощи в этом деле: Аня одна не справится, а то завалит книгу: в книге ее доля, пожалуй, еще тяжелее моей; к тому же она служит «от и до» и времени у нее мало – все «сверхурочно». Комиссия наша вообще не очень-то дееспособная. А что до меня, то до сдачи книги ни за что иное браться не могу, что бы там ни было, работа во имя покрытия (увы, оно будет только частичным!) квартирных долгов сожрала уйму времени и сил.

Главное и единственное мое пожелание и просьба, относящиеся к вечеру, – чтобы ни в коем случае не участвовал Асеев[19]. Остальное – на волю Божью и Вашу. По-моему, следовало бы попросить Журавлева[20], он уже, по-моему, начал готовить прозу. Антокольскому[21] я написала. Слуцкий мне понравился очень, хорошо, если бы он выступил. Эренбург, конечно. Кого-нибудь из молодых. Только бы не Вознесенского! И также Тагера бы вовсе не хотелось. У меня сохранилось слишком много маминых рукописных обид на него и на его Елену Ефимовну, чтобы я согласилась с мнением Слуцкого об абсолютной дружественности и самоотверженности этой четы по отношению к маме. Но главное зло все же в том, что он очень плохо говорит и так путается в словесных, пардон, соплях, что сил никаких нет. К чему это?

Вообще мне лучше не ввязываться. У меня – за маму – мания величия, все мои желания – чтобы все чистыми руками и устами – несбыточны, я это знаю. Надо довольствоваться малым – не могу. Господи, господи!

Простите мне эти мысли вслух. Боюсь, они Вам чужды. Главным образом потому, что не умею их выразить, а не умею не потому, что не умею, а потому, что и на мысли времени нет.

Обнимаю Вас. Хоть бы словечко написали!

Ваша Аля

21.11.62
Тарусa

Милая Маргарита, я просто ужаснулась, получив такое громадное письмо, – столько времени у Вас отняла! Мне *нужна* была только открытка типа «жива – здорова, того и Вам желаю», а это уж роскошь и расточительство.

Очень хорошо, что пересилили себя болгарина ради (имею в виду перевод), а то, знаю по себе, можно заржавить в себе что-то весьма профессионально необходимое, и потом – беда. Недаром мама *заставляла* себя работать, иной раз не только рассудку, но и сердцу вопреки. И на смерть своих наиближайших отзывалась писанием же и благодаря этому *воскресала* многих, ибо сейчас же, несомая волной *горя*, принималась со всей яростью любви воссоздавать то, на что посягнула смерть, тех – на которых. То, что Вы, друг мой, позаботились о могиле и укрыли ее лапником – так и вижу недреманым внутренним оком, как это все было, Вашу крохотную осиротевшую фигурку на *русском* кладбище («русском» подчеркнула, ибо в огромном большинстве памятники там только человеческому беспамятству поставлены) – то, что Вы все это сделали, конечно, важно и необходимо, а теперь *Вам* надо сесть и записать живого Казакевича. Потому что *все* (пишу о живых *мелочах*) испаряется из памяти, и чем дальше, тем глубже надо поднимать ее пласты в себе и, воскрешая, невольно искажать, невольно «обожествляя». Я тоже постараюсь написать, как только кончу книгу (которая трудна – тысячи тонн словесной руды маленькой даты ради – в комментариях, и т.д. Очень трудно стягивать концы и лепить целое из разрозненностей).

Интересно, что мамины реквиемы – *полемичны*, то есть она отстаивает ушедшего от «сегодняшнего дня», от врагов, оставшихся в живых (смердят, но живы!) – в этом отвоевании человека и от смерти, и от *враждебности* жизни (той доли ее, которая... и т.д.), пожалуй, и смысл и необходимость, насущность

и для нее и для «ушедших, отошедших, в горний лагерь перешедших» – этих реквиемов. Так вот, *Вам* надо писать, покуда сегодняшние дни (всегда *вчерашние*!) Вашу память не закидали лапником, пока образ живой не ушел *вглубь*. Впрочем, Вы, верно, это уже и делаете.

О делах: может быть, Антокольского попросить «вести» вечер? Принять участие он согласен, я ему писала, он очень сердечно отозвался. Сейчас в Москве поэт Вадим Леонидович Андреев[22] (сын Леонида) – он работник ООН (*наш*, естественно, но обретается по работе в Швейцарии); мне думается, он хорошо бы мог сказать; он и маму хорошо знал, и помнит, и любит, и человек он *хороший* (чем больше хороших на таком вечере, чем меньше случайных, тем лучше). Я немного опасаюсь радиоактивности Вики Швейцер[23], к<отор>ая это все организует, она может по простоте душевной наприглашать такого дерьма, что лопатой не огребешь (pardon за версальский стиль).

Насчет Андреева – если Вы «за» – можно позвонить Н.И. Столяровой[24], она все устроит. Конечно, хорошо, чтобы *поэты* читали на вечере *свои* стихи. Чудесно, если стол (мой!) переедет на «Аэропорт», если это без особых для Вас хлопот.

Обнимаю.

Ваша А.Э.

18.4.66
Москва

Милая Маргарита! Вы на меня вчера зарычали по поводу казакевичева вечера; я Вам вот что хочу объяснить: я потеряла всех своих по-настоящему родных и по-настоящему друзей; их было мало (*их всегда* – мало!), и они – незаменимы и невосстановимы. Я – разумом – знаю, что их нет в живых, а душой – не знаю и знать не хочу (это без всякой «мистики», само собой разумеется). Мое последнее богатство – оставлять их *для себя* в числе живых и не заставлять себя *физически* верить в то, что их *физически* в этом числе нет. Поэтому я никогда (сколько возможно) не хожу на похороны, не бываю на гражданских панихидах и вечерах памяти, где все доказывает, как дважды два, что человек *был* и что его больше *нет*. Мало что *был*, но и еще, как каждый ушедший, и «недосостоялся». Не дожил, не дописал, не додышал и т.д. Главное – не додрался!

Я знаю, что вечера памяти – нужны и что про «бывшего живого» человека нужно рассказывать нынешним живым, что это забота о его – хотя бы на срок – бессмертии, и прочее; но я этого не могу: на это у меня нет сил (их у меня вообще в обрез); я могу только записывать – и то не в меру *тех* людей, а в свою ограниченную.

Я только однажды была на одном мамином памятном вечере (мы вместе с Вами были) и, наслышавшись, как очень хорошие люди с очень благими намерениями умиленно «несли» на нее, как на покойницу, пришла раз и навсегда в ужас. Я тогда было поняла, что ее *действительно* нет в живых; правда, потом опять перестала понимать.

Навряд ли все это внятно и вряд ли для Вас – логично и убедительно. Да и для меня самой никакой *логики* в этом нет; как ее нет и в самой жизни. И, тем паче, в самой смерти. Просто я не хочу ни слышать, ни говорить о том, что (в данном случае) Казакевич – *был*.

Я Вас обнимаю. Не фырчите на меня – я и так вся зафырканная и затурканная.

Ваша А.Э.

1 октября 1966
Тарусa

Милая Маргарита, тысячу лет ничего о Вас не знаю, но все же надеюсь скоро узнать, так как в этом месяце все-таки выберусь в Москву. Тут лето было

довольно ужасное из-за хорошей погоды: все время осаждали гости и все питьесть просили; моя серенькая тарусская нора превратилась в пансионат, а я – в некий робот обслуживающий; не успевала готовить на двух керосинках, стирать простыни – наволочки – полотенца, мыть и убирать. Мне от жизни сейчас надо одного: тишины; без нее ослабевают все внутренние винты-гайки, все бренчит, скрипит, распадается, отказывается служить. Но не ради этого интересного сообщения пишу Вам, а опять же по цветаевским делам.

Совершенно случайно узнала, что Литфонд, не говоря худого слова, решил заменить поставленный нами в Елабуге (в 1960 г.) крест на предполагаемом месте погребения мамы иным монументом. Оно бы хорошо, так как крест (установленный теткой Асей, маминой сестрой, туда ездившей) не ахти как хорош, хоть и следят за ним там и подновляют краску. Но, никого не спросясь, они (Литфонд) доверили и изготовление проекта и самого памятника елабужскому горсовету, а это – форменная чушь, так как такие дела можно поручать только специалистам (скульпторам или хотя бы мастерам из специализированной мастерской). Елабужцы предложили Литфонду взять с чужой могилы, заброшенной, некий купеческий монумент с колонками – Бог знает что! – подновить и перетащить на мамину (предполагаемую, ибо место погребения не сохранилось) могилу. Литфонд, соблазнившись дешевизной, согласился. Тут и только тут я обо всем узнала случайно и, естественно, «встряла»; заявила протест, что такое дело решается в обход и комиссии, и семьи, да еще и таким странным образом. Тогда Арий Давыдович (чудесный вообще-то человек) быстро сбегал к Эренбургу, к<отор>ый, побледнев при виде Ария – да еще с проектом надгробия в руках, – дрогнул и... проект одобрил, ни во что не вникнув. Таким образом литфондовско-купеческий монумент оброс еще и эренбургским одобрением; но ведь такой монумент годится разве что для кого-нибудь из героев «13 трубок», но никак для М.Ц. – это же немыслимо!

Короче говоря, Литфонд решил: или тот, купеческий, монумент, или – с их стороны – ничего; мы, родственники, перед таким ультиматумом решили: пусть пока стоит тот (наш) крест, а потом соберемся с силами и сами закажем что-нибудь пристойное. Конечно, нам, по маминому желанию, хотелось бы большой каменный крест, совершенно простой, но ведь это в наше антирелигиозное время (хотя – *причем тут религия!*), вероятно, просто невозможно осуществить; ну тогда – или *высокую* (ибо будет стоять в заброшенной части кладбища, где много травы) каменную плиту (стоячую) с маленьким (горельефом) крестиком и надписью, или – очень хотелось бы – дикий камень, глыбу, валун, и на одном боку – крестик и надпись. Пишу Вам обо всем этом и посылаю копию письма к Елинсону, чтобы Вы знали, как обстоят дела; а то я могу Вам показаться ниспровергательницей цветаевских монументов *вообще*. Ну и – Вы ведь член комиссии.

Вообще-то *мы* денег у Литфонда на это не просили, а просили на реставрацию цветаевского домика в Тарусе, к<отор>ый, пока суд да дело, растаскивают по бревнышку.

От всего этого на душе – сплошная окись.

Тетка Валерия[25] померла – та, что род свой ведет от Иловайских. Дописана последняя глава «Дома у старого Пимена», но об этом – при встрече.

Обнимаю Вас. Сердечный привет всем троим детям.

Ваша Аля

27 января 1967
(Без конверта)

Милая Маргарита, как-то Вы там живете, во стольном граде Париже[26]? Ужели и там ухитрились тратить себя без остатка и ходить на собрания? Надеюсь, что отдыхаете не слишком интенсивно, хотя не очень в это верю. Что до меня, то настолько кручусь-верчусь во всяких повседневностях, что до сих пор ни разу просто не успела позавидовать Вам – что вот, мол, Вы просто взяли и уехали в Париж. А позавидовать есть чему!

Относительно маминых писем: Саломея[27] передала их своей гостившей у нее приятельнице; та передала их Саломеиной дочери Ирине; та должна была передать их Александре Захаровне[28]; а та должна была вручить их Вам; дедка за бабку, внучка за дедку, Жучка за внучку; почему-то проще не получилось; ну – дай Бог! Может быть, они уже у Вас, и вытянется репка. Сама Саломея, может быть, и успеет повидать Вас, но пока что врач ее не пускает в поездку: у нее рука сломана и только срастается (ведь ей – и руке, и хозяйке руки – без малого 80 лет. «Когда, Соломинка, ты спишь в огромной спальне» – Господи, как все проходит! Но стихи остаются...).

Вчера навестила Любовь Михайловну Эр<енбург>[29] – она, тьфу, тьфу, не сглазить, дивно выглядит, tiree a quatre epingles[30] и светски оживлена – это ли не героизм после двух инфарктов! Чудная собака бродит по квартире – с профилем хризантемы; и цветут белые крокусы, со стен глядят просто разные Модильяни и Пикассо; и Наталья Столярова сидит за машинкой вся такая заграничная и неувядаемая; я почувствовала себя несколько слоном в посудной лавке и быстро ушла, несколько оробев, вдруг почувствовав кандальный вес своего старого свитера, своей вытянутой на заду юбки и суконных мальчиковых бот. Боже мой, оказывается, я еще подвластна подростковым ощущениям – почему?

Был у меня на днях Каверин[31], к<отор>ый пишет повесть о давних моих знакомых, давно уже умерших; расспросил меня о них – и вдруг все мои внутри окаменевшие пласты памяти ожили, и возникла маленькая, рано состарившаяся голубоглазая художница и ее мрачноватый, цыганистый муж, тоже художник, и их домик – развалюшка под огромной старой черешней, и мама, читающая стихи в комнатке, пахнущей псиной и осиной (псиной – потому что был большой рыжий сеттер, осиной – потому что дрова были осиновые сложены возле печурки). И-и-и...

Скоро должны выйти мамины книжечки – стихотворные переводы и «Мой Пушкин»; сейчас готовим сборник пьес для «Искусства»; и ведем переговоры о томике статей; и о гослитовском двухтомнике. Много, много всего надо успеть сделать; заедают *второстепенности*; боюсь, что успеваю справиться только с ними; а уж они-то со мною справятся.

Обнимаю Вас, милая Маргарита. Пожалуйста, хоть сколько-нибудь отдохните! В частности – от второстепенностей. До скорого – уже – свидания!

Ваша Аля.

Дни все прибывают, морозы все держатся – солнце на лето, зима на мороз...

(Без даты)
(Без конверта)

Милая Маргарита! Адрес Саломеи Николаевны Гальперн: Mrs. Salome Halpern, 39 Chelsea Park Gdus, London SW 3. Она собиралась в начале года приехать в Париж и привезти мамины письма; я написала ей о том, что и Вы будете там в январе и сможете письма взять, но ответа на это свое письмо не успела получить. Может быть, имело бы смысл, чтобы Вы по приезде написали ей открытку с указанием своего адреса в Париже и телефона; открытка Ваша, может быть, ее застала бы еще, и Вы смогли бы связаться непосредственно.

Адрес Александры Захаровны Туржанской, старого друга моих родителей, к<отор>ая должна будет получить эти письма от Саломеи Николаевны в случае, если Вы с С.Н. не совпадете, не спишетесь, то есть если С.Н. уже приехала в Париж: madame A. Tourjansky,10, rue Herault, Meudon 92.

Адрес и телефон ее сына, Олега Вячеславовича Туржанского: Mr. O.Tourjansky, 20, B-d Barbes, Paris 17, тел. Mon. 53-34

Он говорит по-русски. Если его не будет дома, то можно говорить с его женой Жаклиной (она француженка, по-русски немного понимает). Она в кур-

се всего и ему передаст; тогда он Вам позвонит, и, если нужно будет, или, может быть, Вам просто захочется повидаться с *чудесной* Александрой Захаровной, он сможет Вас отвезти в Медон к ней. Вообще-то было бы время и охота, в Медоне и соседнем с ним Бельвю стоило бы побывать, и не только потому, что это мамины места. И А.З. стоит посмотреть и послушать, так как таких людей больше нет и вряд ли когда народятся.

Олег Туржанский, сын А.З., киношник; мой друг детства. На всякий случай повторяю адрес К.Б.[32]: Mr. C. Rodzevith, 26, rue Lacretelle, Paris 15, тел. Blo 13-05.

Очень было бы хорошо, если бы Вы уговорили эту пару поехать в качестве туристов, тогда они были бы всем обеспечены и все бы посмотрели, чего я при всем желании не смогу им показать; я *очень* боюсь не суметь обеспечить их тем минимумом комфорта, к к<оторо>му они привыкли, если они отважатся приехать в Тарусу; боюсь, что «холодный», pardon, сортир, умывание на улице, отсутствие того-сего пятого-десятого и т.д., и т.п. произведут на них контрвпечатление, да и просто заболеть с непривычки могут... Главное же – меня жутко *не* вдохновляет мадам; все, как один, о ней преотвратного мнения; боюсь, *мне* она будет не под силу... С К.Б. хотелось бы о многом поговорить и многое узнать, но, боюсь, кроме мадам ничего не узнаю. Ну ладно. Что Бог даст...

То, что Вы просили записать Вам для памяти: у мамы есть на французском языке 15 переведенных ею стихотворений Пушкина, из которых было опубликовано всего, кажется, три. Есть переведенная ею поэма – сказка «Молодец»; (иллюстрации, которые сделала Гончарова[33] к предполагавшемуся, но не состоявшемуся французскому изданию, очевидно, увы, утрачены; следов их *отсюда* мне разыскать не удалось).

Есть подготовленная в печать вещь: «9 lettres ecrites et 1 recue» – девять женских любовных писем и один ответ (мужской, естественно!).

А теперь – bon voyage et bon retour[34], и пусть все будет хорошо!

6 февраля 1967
(Без конверта)

Милая Маргарита, наконец j' ai de vos nouvelles[35] и от Саши, и от Маши, и сегодня получила письмецо от Александры Захаровны, где она очень нежно пишет о Вас. Рада была узнать, что Ваши недомогания как будто бы оставили Вас в покое, что Вам хорошо отдыхается. Главное же – надеюсь, что Вам захочется и сможется написать о Париже 1967 года.

Морозы, слава Богу, сменили гнев на милость, и нынче всего минус десять; после всех минус двадцать с хвостиком – легче дышится; все на свете переболели разными гриппами и простудами; я тоже не отстала; всегда готова поболеть.

Маргарита, милая, если будете в Лувре, купите мне, пожалуйста, самую дешевую репродукцию Самофракийской победы (victoire de Samophrace)[36], она мне очень нужна; конечно, если не трудно; об этом же просила и Александру Захаровну, но, может быть, она не сумеет, так как совсем не говорит по-французски, а Лувр не на ее путях, а сын и внук заняты другим и т.д. *Пожалуйста*, попросите И.Г. захватить для меня Саломеин подарочек, это, надеюсь, его не затруднит. Он будет в Париже с 9-го по 13-е (или 14-е) февраля в гостинице Pont Royal rue Montalembert, тел. (гостиницы) Littre 42-50, Вы с ним, верно, увидитесь.

Получила большое письмо от К.Б., они с Идой[37], видимо, *железно* собираются посетить Тарусу и погостить в сельской обстановке. Постараюсь явить истинно русское гостеприимство с довольно-таки негодными средствами и заранее чувствую, что Ида меня доконает. Надеюсь, что они в Москве обойдутся без моих услуг, так как быть сразу и там, и тут я не смогу, будучи одна как перст. Ну я еще раз напишу ему обо всем подробно. Надеюсь, что хотя бы дождь не будет свирепствовать во время этого визита дружбы, а то бедные гости и до, pardon, сортира не добредут.

Ой, ой, как я устала, милая Маргарита, еле ноги таскаю; хочется «забыться и заснуть» – и проснуться молодой и здоровой, и, главное, беспечной. Работаю я без всякого аппетита, вот в чем беда, а работа все нагромождается, обязанностей все прибавляется, и, главное, *все* превращается от усталости в сплошную обязанность, даже в театр иду, будто долг выполняю. Кстати, о театре – видела у Станиславского ануевскую «Антигону» – просто *изумительно* хорошо. Вот приедете – непременно посмотрите, если еще не видели. Чудо что такое. *Все* хорошо играют, и нигде ни одной «белой нитки», которыми так часто спектакли бывают шиты.

«Прометей» берет мамину прозу «Наталья Гончарова» – я очень рада; а «Москва» в апрельском № собирается печатать «Пленный дух» об Андрее Белом. С книжечкой «Мой Пушкин» все в порядке, но выйдет ли сейчас или в будущем году – неясно; и тираж невелик, всего 20 тысяч, и объем невелик, но, может быть, бумага потребуется на более актуальные нужды... Обнимаю Вас.

Ваша Аля

16 марта 1974
Москва

Дорогая моя Маргарита, на такую беду *слов* нет; что ими передашь! Но я все о Вас знаю без слов, внутри себя, изнутри того бессловесного логова страдания и великого *со*страдания, в которое превращается наша душа на склоне жизни. Я крепко-крепко и молча-молча обнимаю Вас, моя родная. *Высоких* сил Вам во имя остающихся и остающегося.

Я хорошо и светло помню Вашего ушедшего ребенка[38], ее удивительную – добиблейскую! – красоту, ее российскую открытость, ее талантливые руки, ту одаренность, которой она была проникнута. Другой я ее не знала и не узнаю никогда. Все *иное* было Вашей материнской ношей, а «матери каждая пытка впору», как сказала моя мать, знавшая толк в пытках...

Спокойного сна ребенку, дорогая моя Маргарита.

Обнимаю Вас, целую.

Ваша Аля

Комментарии

[1] Цитируемое А.Эфрон стихотворение М. Цветаевой называется «Разговор с гением», датировано 4 июня 1928 года. Медон. Опубликовано в «Библиотеке поэта» (Л.-М., 1965).

[2] Анна Александровна Саакянц (1932 – 2002), в то время редактор ГИХЛ, готовила первый в СССР сборник стихов М. Цветаевой «Избранное» (М., 1961); секретарь комиссии по литературному наследию Цветаевой, автор нескольких книг о ее творчестве. Подробнее о работе комиссии и отношениях с А.С. Эфрон в книге «Спасибо вам!» (М., 1998).

[3] Имеется в виду комиссия по литературному наследию М. Цветаевой.

[4] И.Г. Эренбург был членом комиссии по литературному наследию Цветаевой.

[5] Речь идет об Эммануиле Генриховиче Казакевиче (1913 – 1962).

[6] Казакевич был в то время тяжело болен.

[7] Самуил Давыдович Гуревич (1904-1952), журналист. Работал секретарем правления Жургазобъединения, а затем заведовал редакцией журнала «За рубежом». Был арестован в 1950 году, расстрелян в 1952-м.

[8] Галина Осиповна Казакевич, жена писателя.

[9] Дочери Маргариты Алигер.

[10] А. Эфрон работала над переводами стихов французского поэта Поля Скаррона (1610-1660).

[11] После возвращения из ссылки у А. Эфрон не было своего угла в Москве. Только в 1962 году ей удалось (хлопотами Э. Казакевича в Союзе писателей, набрав в долг денег) выплатить первый взнос и получить кооперативную квартиру у метро «Аэропорт».

(Ср. письмо Вл. Орлову от 7 августа 1962 года: «Приехав в Москву, получила ордер на квартиру; поскольку это первый в моей жизни ордер не на арест, пришла в смятение; вот тебе квартира с недоделками по дефектной ведомости, с великолепным видом на соседний корпус, с масляными пятнами на обоях, со стенным шкафом, с 19 метрами «жилой» и 10 — «полезной» площади, и пр. и пр. В квартире, кармане и голове — одинаковая гулкая пустота; всё нуждается в меблировке; больше всего — голова, ибо без нее не наполнишь карман, а без него — не «обставишь» квартиру. Друзья, недруги, знакомые и чужие наперебой принимают во мне участие, каждый норовит утешить сироту колченогим стулом, ржавым кроватным остовом или прелестным бабушкиным, прилично сохранившимся, гардеробиком размером в небольшую синагогу. Отбрыкиваясь, рискую прослыть неблагодарным нищим, принимая дары (бойтесь данайцев!), рискую стать обладателем лавки весьма сомнительных древностей, к тому же разномастных, пегих и в яблоках до невозможности; словом, уже тошнит от радости, а как подумаю о частных и государственных (Литфонд ведь государство в государстве? а ссуда возвратная?!) — долгах в почти 2 новых тысячи, то и вовсе шарахаюсь от инфаркта к инсульту, не видя пока что иного выхода из «интересного положения». А. Эфрон. Письма 1942-1975 гг. Воспоминания. М., 1996).

[12] Ада Александровна Шкодина-Федерольф (1901-1996), подруга Ариадны Эфрон по туруханской ссылке.

[13] Речь идет о дочери Маргариты Алигер.

[14] Анна Саакянц.

[15] Телеграмма отправлена в связи со смертью Казакевича, последовавшей 22 сентября 1962 года.

[16] 25 октября 1962 года прошел первый вечер М.И. Цветаевой в Литературном музее.

[17] Евгений Борисович Тагер (1906-1984), литературовед, знакомый Цветаевой, автор эссе «Из воспоминаний о Марине Цветаевой»; в письмах также упомянута его жена, Елена Ефимовна Тагер (1909-1981), искусствовед.

[18] Имеется в виду вечер Цветаевой в Союзе писателей.

[19] Николай Николаевич Асеев (1889-1963), поэт. Ариадна Сергеевна считала его виноватым в том, что он не выполнил посмертную волю матери, которая «завещала» ему, находящемуся в то время в эвакуации в Чистополе, своего сына Георгия (Мура) Эфрона, погибшего в 1944 году на Западном фронте.

[20] Дмитрий Николаевич Журавлев (1900-1991), артист, чтец, знакомый Цветаевой.

[21] Павел Григорьевич Антокольский (1896-1978), друг юности М. Цветаевой.

[22] Вадим Леонидович Андреев, сын писателя Л. Андреева. Жил за границей, оставил интересные мемуары.

[23] В. Швейцер – исследовательница творчества М. Цветаевой.

[24] Н.И. Столярова – литературный секретарь И. Эренбурга.

[25] Валерия Ивановна Цветаева (1883-1966), сводная сестра Марины и Анастасии; ее мать, первая жена И.В. Цветаева Варвара Дмитриевна, была дочерью историка Дмитрия Ивановича Иловайского, героя мемуарного очерка Марины Цветаевой «Дом у старого Пимена».

[26] В 1967 году Маргарита Алигер около месяца жила в Париже.

[27] Саломея Николаевна Андроникова-Гальперн (1888-1982) с 1919 года жила в Париже, а в 1937 году переехала в Лондон. Познакомилась с М. Цветаевой в 1926 году в Париже. Сохранилось свыше ста двадцати писем М. Цветаевой к С. Андрониковой. (См. письмо Вл. Орлову от 20 марта 1967 года: «Выцарапала из Лондона 120 маминых писем — труд был огромный, письма шли из рук в руки через 6 инстанций-дистанций по маршруту: Лондон-Медон-Париж-Прага-Москва. Сколько было волнений — передать невозможно! Я их перепечатаю для архива, а подлинники сдам в ЦГАЛИ (по желанию доверительницы)».

[28] Александра Захаровна Туржанская (ум. в 1974-м), актриса, жена кинорежиссера Туржанского. М. Цветаева и Туржанская познакомились в Чехословакии и вскоре подружились.

[29] Любовь Михайловна Эренбург-Козинцева, жена Ильи Григорьевича Эренбурга.

[30] tiree a quatre epingles – одета с иголочки (*франц.*).

[31] Скорее всего речь идет о романе Каверина «Перед зеркалом» (1965-1970), где рассказана история русской художницы, оказавшейся в эмиграции.

[32] Константин Болеславович Родзевич(1895-1988), друг С.Я. Эфрона и М.И. Цветаевой в эмиграции, адресат «Поэмы конца». (О приезде Родзевича в СССР ср. письмо к А. Саакянц от 30 июля 1967 года в кн.: А. Саакянц «Спасибо вам!», М., 1998. «К.Б. с супругой прибыли 28-го, конечно, сунули их в «Останкино», это заведение на уровне

той красноярской гостиницы, где мы останавливались, но хуже: номера без ванн, и сама гостиница так же далеко от Москвы, как вышеуказанный Красноярск, и к тому же гораздо больший бардак, чем там... Встретились мы бесконечно трогательно; К.Б. ужасно плакал, вспоминая папу и маму, и для него при всей мотыльковости его сущности (но при железобетонности судьбы) – единственно-настоящее, что было в жизни: встреча с этими двумя людьми: мама – душа, отец – действие и умение жертвовать собой. Пока что из всех встреченных мною их современников (друзей, знакомых) – он единственный, приблизившийся к пониманию их и пониманию утраты...».

[33] Наталья Сергеевна Гончарова (1881-1962), художница; познакомилась с М. Цветаевой в Париже в 1928 году, иллюстрировала поэму-сказку «Молодец». О ней – очерк М. Цветаевой «Наталья Гончарова», 1929.

[34] bon voyage et bon retour – счастливого пути и счастливого возвращения (*франц.*).

[35] J' ai de vos nouvelles – я знаю ваши новости (*франц.*).

[36] А. Эфрон писала очерк «Самофракийская победа» – воспоминания о М. Цветаевой и А. Исаакяне, опубликованные в журнале «Литературная Армения» (1967, № 8).

[37] Жена К.Б. Родзевича.

[38] Речь идет о смерти Татьяны Макаровой (1940-1974), поэтессы и детской писательницы, дочери Маргариты Алигер, умершей от лейкоза крови.

Вступление, публикация и комментарии
Натальи ГРОМОВОЙ

●

Уважаемые читатели!

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

можно оформить в любом почтовом отделении России
по Объединенному каталогу «Пресса России» зеленого цвета.

Индекс для Российской Федерации –
73293
для подписчиков Москвы – стр.282
для остальных регионов – стр.242.

В странах СНГ подписка оформляется
по местным подписным каталогам.
Подписной индекс –
79209.

По льготной цене в редакции
(ул.Правды, 11/13)
можно:
– подписаться на журнал с очередного номера,
– купить отдельные номера текущего года,
– подобрать заинтересовавшие вас номера
прошлых лет.

Справки по тел. (095) 214 31 23

В розницу наш журнал продается:
в сети книжных магазинов «Букбери»,
в магазине «Проект О.Г.И.» – Потаповский пер., 8/12, стр.2.

За рубежом журнал «Октябрь» распространяет
американская фирма «Ист Вью Пабликейшенс» (East View Publications, Inc.3020
Harbor Lane, North Minneapolis, MN 55447 USA.
Tel. (612) 550 09 61, fax (612) 559 29 31.
В Москве тел. (095) 777 65 58, факс (095) 318 08 81.

Павел Филонов. *Две головы*. 1925

читайте в третьем номере новый

роман Михаила Левитина

БРАТ И БЛАГОДЕТЕЛЬ

Я рассчитываю на взаимность читателя больше, чем на взаимность зрителя. У меня есть основания надеяться в прозе на бо̀льшую аудиторию. Проза моя по многим причинам проще, ясней моих спектаклей.

Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 2004. № 2. 1-192
Отпечатано в ОАО "Типография "Новости"